

# МАРК ХАРИТОНОВ

ИЗБРАННАЯ ПРОЗА



1  
ТОМ

**МАРК ХАРИТОНОВ**

**Том 1**

# 1

**Родившийся в тридцать седьмом**

**Линии судьбы,  
или Сундучок Милашевича**

# МАРК ХАРИТОНОВ

ИЗБРАННАЯ ПРОЗА



Московский рабочий

1994

ББК 84Р7  
Х20

Художник **Марат Ким**

**Харитонов М. С.**  
**Х20** Избранная проза: В 2 т. Т. 1. М.: Моск. рабочий, 1994.— 383 с.

В декабре 1992 года впервые в истории авторитетнейшая в мире Букеровская премия по литературе присуждена русскому роману. И первым букеровским лауреатом в России стал Марк Харитонов, автор романа «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича». Своеобразная форма трехслойного романа дает читателю возможность увидеть историю России XX века с разных ракурсов, проследить начало захватывающих событий, уже зная их неотвратимые последствия.

Х  $\frac{4702010201-110}{M172(03)-94}$  119—93

ББК 84Р7

Книга издается совместно с издательством «ФАЙЯР» (Париж)

ISBN 5—239—01860—X © М. С. Харитонов, 1994

# Родившийся в тридцать седьмом

*Памяти отца*

## Гороскоп

Год моего рождения — 1937 — вызывает у многих моих соотечественников чувства особые. Это был год, когда террор достиг вершины, год арестов, пыток, расстрелов, год общего страха.

Этот страх погнал мою маму из Москвы: когда пришла пора меня рожать, она уехала подальше от столицы, в Житомир, к тете.

Я порой думаю: не сказалось ли это на мне, не вошло ли что-то из тогдашнего воздуха в мою душу и кровь? Есть ведь такое ненаучное мнение, что впечатления, полученные женщиной при беременности, сказываются на потомстве. Нечто подобное экспериментально подтвердил библейский Иосиф, добываясь пестроты овечьего стада.

Во всяком случае, состояние земных дел в день рождения влияет на судьбу новорожденного не меньше, чем расположение звезд. Известен вид гороскопа: восстановить хотя бы по газетным сообщениям, что происходило в этот день — 31 августа 1937 года.

По-украински — 31 серпня. Вторник. В этот день в Москву вернулись стратонавты Я. Украинский и В. Алексеев, совершившие полет на субстратогостате. Летчик Задков вылетел с мыса Барроу к ледоколу «Красин». По местному радио — передача для домохозяек — передовая газеты «Правда» («Прогрессирующими, невиданно быстрыми темпами растет культурный уровень многочисленных трудящихся масс Советского Союза»), концерт из произведений Чайковского и Танеева. А накануне покончил жизнь самоубийством председатель украинского Совнаркома Любченко — «запутавшись в своих антисоветских связях и, очевидно, боясь ответственности перед советс-

ким народом за предательство интересов Украины». В тот же день назначен его преемник Бондаренко. В Испании мятежники атаковали Эль Прадо и Университетский городок. В Китае японские войска заняли крепость Усун. В Подвысоцком районе разоблачена контрреволюционная организация во главе с секретарем райкома. В этот день произведено 200 штук грузовых и 5 штук легковых автомобилей ЗИС. Академик Лысенко объявил о получении новой формы пшеницы, «равной которой нет во всей мировой коллекции». Продолжался разбор Страстного монастыря в Москве. В деревне Златополье на Украине арестован священник Сергей Ивахнюк, восхвалявший немецких фашистов и троцкистов. Тухачевская Марья Николаевна, 1907 г. р., решила поменять свою фамилию на Юрьеву. В театре Вахтангова шла комедия «Много шума из ничего».

Я выделял для себя эту дату, 31 августа 1937 года, в чужих воспоминаниях, дневниках и рассказах, пытаюсь представить одновременное состояние жизни разных людей в разных местах.

В этот день генетик Владимир Павлович Эфроимсон был выгнан с волчьим билетом «за бесполезность работы», а подготовленный им материал по генетике шелководства уничтожен. Томас Манн в швейцарском городке Кюснахт работал над очередной главой «Лотты в Веймаре», потом гулял с женой в лесу. Было ветрено. В. Н. Горбачева, жена поэта С. Клычкова, получила в этот день телеграфное уведомление о том, что поэт Н. Клюева нет больше в Томске — возможно, перевели в тюрьму. Но был ли он вообще к тому времени жив?

О чем думал 31 августа 1937 года Д. Хармс? Я знаю, что он писал 12 августа:

Я плавно думать не могу —  
мешает страх.

Может, в тот день им было написано вот это, с непроставленной датой:

Как страшно тают наши силы,  
Как страшно тают наши силы...

Или вот это: август 1937-го, без числа:

Довольно ныть. И горю есть предел.  
Но ты не прав. Напрасно ноешь.  
Ты жизни ходы проглядел,  
Ты сам себе могилу роешь...

## Дом

Едва оправившись, мама вернулась со мной в Москву. Так что на своей родине, в Житомире, я, собственно, никогда не бывал — если не считать нескольких недель после рождения. Но этого я не могу помнить, как не могу гордиться великими земляками. Кажется, их и не было — черта оседлости, не более.

Мы жили в общежитии при деревообделочной фабрике, на улице Сайкина. Это был барак в виде буквы П: в одном крыле шестнадцать дверей, в другом шестнадцать, посредине туалет. Вот этот туалет, метров шесть, родителям разрешили приспособить под жилье. А кухня была в особом бараке: огромная плита с двумя топками, не то что на тридцать две — на сто кастрюль. Но мама готовила у себя, на плитке — и вот ведь свойство молодости: это время вспоминалось им потом как счастливое.

А в 1938 году дед купил у цыганского табора халупу в Нижних Котлах и позвал построиться рядом любимого сына, моего папу. Папа сумел раздобыть у себя, на деревообделочной фабрике, стройматериалы по государственной цене — по тем временам (как и по нынешним, впрочем) это было большое дело. Деньги дал родственник, вошедший в долю. Дедушка выхлопотал разрешение на постройку сарая — дом в таком месте строить никто бы не разрешил. Нашли плотников, и они за воскресенье и две ночи подвели дом под крышу. Более того, в этом едва готовом доме печник тут же сложил печь. А существовало, оказывается, правило, не знаю, писаное или неписаное: если в доме есть печь, то это уже жилье, и сносить его нельзя. В понедельник в этот едва готовый дом въехала вся семья вместе со мной. Потом были долгие конфликты с пожарной охраной и разными другими инстанциями, дело разбиралось в суде, родителей оштрафовали за самовольное строительство на 25 рублей, но дом уже стоял, и тот же суд внес его в реестр жилых владений Москвы под номером 5а.

Знаменитые москвичи любят в интервью вспоминать Москву своего детства — существенный элемент самой начальной духовной пищи; это запечатлевается на всю жизнь. «Что значит для вас Москва? — спрашивают их. — Какое место памятно вам больше всего?»



И те вспоминают арбатские дворы, Чистые пруды или, допустим, Хамовники. Я этой Москвы в детстве почти не видел. Места моего детства даже трущобами не назовешь.

Сейчас таких домов в Москве, пожалуй, и не осталось. Я вспоминаю его, когда вижу некоторые старые фотографии, вид сверху с какого-то высокого этажа: скопище деревянной убогой рухляди. Или когда в кино инсценируют кадры тогдашней жизни. Это воспринимается уже как этнография, как про индейцев Амазонки. Что утварь, что жилище, что одежда. А речи, разговоры! А газетные статьи, а эстрадные шутки по радио! Морок, ужас.

Но это была наша жизнь. И мы вовсе не считали ее плохой.

Дом с трех сторон был окружен стенами и заборами заводов: эмалекрасочного и шлакобетонного. А может, только одного эмалекрасочного, а шлакобетонный располагался напротив, уже не уверен. На ближней свалке постоянно валялась бракованная продукция вроде эмалированных металлических табличек для домовых номеров и названий улиц; здесь же можно было подобрать и гвардейские значки, и, говорят, даже ордена. Орден я не видел, а гвардейских значков у меня было несколько: игрушки военных лет. Повешенное для просушки белье здесь чернело от копоти, когда начинала дымить труба. Еще одну металлическую трубу поставили уже при мне вне заводских стен, прямо у спуска к нашим домам. Она была горячая, и от нее всегда пахло испарениями горячей мочи, поскольку проходим, особенно мальчишкам, интересно было наблюдать, как с шипением испаряется, прикоснувшись к трубе, ароматная струя.

Я сказал: у спуска к нашим домам. Они действительно стояли как бы в яме, и от дороги к ним надо было спускаться. Поэтому их часто заливало. Иногда проступали подпочвенные воды. Как-то мама вымыла пол, отошла к керосинке, где жарилась рыба, смотрит: на полу лужа. Она решила, что плохо вытерла, сделала это тщательней, но вода проступила опять, а потом поднялась так, что пришлось ходить по доскам, положенным на кирпичи.

За водой мы ходили «на гору», к колонке у Вар-

шавского шоссе. Смутно помню еще, как в самом начале войны мы туда же, на гору, карабкались в бомбоубежище. Подъем был скользкий, кругом темень. И само бомбоубежище помню: тусклый свет, лица, ощущение пыли, земли над головой...

Зато внизу, в другую сторону, была Москва-река, речной порт, песок на берегу, не природный, сгруженный с барж. Купаться там было нельзя — вода в нефтяных разводах; но, помнится, купались. А самые памятные впечатления — когда спускали и поднимали водолазов, привинчивали и отвинчивали шлемы скафандров. Я часто туда бегал...

Черт побери, и это город моего детства? Пожалуй... Редко доезжал я на трамвае дальше Даниловского рынка или Большой Полянки, где был Дом пионеров. Помню в окрестностях целые кварталы разрушенных в войну домов. Если и видел что-то еще — это в память не запало.

Но в том-то и дело: и дымящуюся черную трубу, и пустырь напротив, и трехцветную речку Вонючку (о которой чуть дальше) я вспоминаю с тем же добрым чувством, с каким Эрих Кестнер, допустим, вспоминал волшебно-прекрасный Дрезден своего детства: «Если я действительно обладаю даром распознавать не только дурное и безобразное, но также и прекрасное, то потому лишь, что я вырос в Дрездене. Не из книг узнавал я, что такое красота. Мне дано было дышать красотой, как детям лесника — напоенным сосной воздухом».

Снова и снова вглядываюсь в себя, стриженного под нуль, тощего, дышавшего многие годы детства запахом горячей мочи от черной трубы, копотью от уродливых заводов, вонью реки Вонючки... Как это отпечаталось на моем человеческом устройстве, вкусах, характере? Что-то тут не так просто. Надо подумать.

## Пейзажи моего детства

Что было для меня в детстве природой? Откос окружной железной дороги, поросший выюнками; мы называли их граммофончиками (сюда приходили, чтобы помахать рукой машинисту). Пустырь напротив; цветы и травы, прораставшие там среди камней и му-

сора, до сих пор знаю лучше, чем всю флору последующих лет: подорожник, белый клевер, который мы называли кашкой, куриная слепота (было известно: если сок попадет в глаз — ослепнешь; никто, впрочем, не проверял), ромашка, полынь; в канавах лебеда, лопухи, крапива. А во дворе событием стал однажды проросток картофеля у заводского забора: белый, мертвенный, хрупкий.

Недалеко от наших домов в Москву-реку впадала река Вонючка. Я видел это название и на одной городской карте, на всех других река звалась Котловка; сейчас она упрятана в трубу. Эта река действительно благоухала изрядно и каждый день меняла свой цвет: буро-зеленый, буро-желтый, буро-красный. Воду красил кожевенный завод, стоявший повыше.

И все же это была природа, такая же значительная, как настоящие леса, луга, сады и реки, в которых можно было купаться.

Да, удивительней всего, пожалуй, убеждаться, что это тоже, оказывается, могло питать душу, что качество этой духовной, так сказать, пищи вовсе не однозначно сказывается на свойствах организма.

Мне вспомнились рисунки детей из концлагеря Терезин. Даже сейчас, когда он превращен в музей, там, кажется, можно сойти с ума. А они рисовали цветы, и солнце, и игры — все, что рисуют дети в другой, нормальной для человека жизни. Воспитатели, поощрявшие их рисовать, надеялись, что они, если выживут, смогут стать полноценными, неискаленными людьми. И, может, не зря надеялись <sup>1</sup>.

Решает все-таки способность души усваивать и перерабатывать внешние впечатления, как перерабатывает организм по своим законам во что-то полноценное

---

<sup>1</sup> Совсем недавно я еще раз увидел эти рисунки в Пражском еврейском музее и впервые обратил внимание на возраст рисовавших. Иные 12—14-летние рисовали, как рисуют 6—7-летние. Может быть, они (не все, но некоторые) оказались задержаны в развитии, и солнце, травы, цветы на их рисунках были попыткой вернуться, остаться в утраченной жизни? Может, правильнее было не приспосабливаться к ужасу, а взбунтоваться, даже ценой жизни?.. Нет, это вопрос не к детям концлагеря, они и взбунтоваться не могли; перед их памятью можно только склониться горестно. Это о нас. Наше развитие в самом деле оказалось, пожалуй, задержано или искажено как-то иначе. В каком-то смысле мы долго еще оставались незрелыми.

даже скудную телесную пищу. Здесь нет прямой зависимости: чем питаешься, то из тебя выйдет. Если, конечно, не доводить до крайности, за которой начинается рахит, цинга, чахотка и психозы.

Ведь и духовный пейзаж тех лет никак не назовешь полноценным. Мы просто не знали многого и важнейшего в своей культуре. Для детей той поры не существовало даже Достоевского, Есенина, не существовало иконописи и мировой живописи, Пастернака и Мандельштама, Цветаевой и Булгакова, Платонова и Бабеля. Ахматову мы знали только по характеристикам ждановского доклада: «полумонахиня, полублудница», Зощенко присоседился там же какой-то полубезьяной; моему тогдашнему пионерскому разумению не совсем было понятно, почему оба оставлены в живых (врагов полагалось расстреливать). Зато в пятом классе мы должны были проходить по учебнику Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» (при всем своем добронравии отличника я этой книги, правда, не прочел до сих пор. Но что-то читал, и почище). Помню, учительница демонстрировала нам образец потешного символизма: «И перья страуса склоненные в моем качаются мозгу». Мы от души ржали, учительница грустно улыбалась: она когда-то любила это. В Музей изобразительных искусств я ходил однажды на выставку подарков Сталину: запомнился бисерный кошелек, изделие безрукой женщины, она вышила его пальцами ног; портрет Сталина, выгравированный на зернышке риса,— его надо было смотреть в микроскоп... Боже, Боже! А песни из репродукторов, а карикатуры в журнале «Крокодил»! А незабываемая первая учительница Мавра Алексеевна — та, что била первоклашек линейкой по пальцам и по «кумполу» (меня, впрочем, не била, я был добронравный).

Что мне запомнилось из ее науки? Два рассказа. Один — про то, как какой-то ее знакомый поднял своего сынишку за голову — и оборвал шейные позвонки, так что мальчик умер. Это засело как практическое знание: нельзя поднимать человека за голову. А второй: как евреи едят лапшу. Она у них длинная-длинная, так что они наматывают ее на что-то вроде колодезного ворота, только поменьше (так я понял), и затягивают постепенно в рот. Этот рассказ, помнится, меня смутил. Потому что про евреев я все-таки

немного знал, но никогда не видел ни такой длинной лапши, ни таких приспособлений. Позже я подумал, что так в ее мозгу преобразился слух об итальянских спагетти.

Но вот ведь выучился, кое-что знал даже после нее. Сейчас этому в пору удивляться. Насколько мы все-таки зависим в своем развитии от внешних условий.

(Вот сейчас уже появляются воспоминания людей, которые выросли при телевизоре, которым доступна стала литература, культура, не существовавшая для нас. Но она не затронула и их: новые времена — новая бездуховность.)

Конечно, развитие многих из нас оказалось задержано. Интеллигенты в первом поколении, мы не имели наследственных библиотек — свою первую этажерку я заполнил сам. У прежних аристократов, у интеллигентов потомственных сословная и семейная традиция облегчала личный поиск — основные, первоначальные понятия, вкусы, правила были заданы едва ли не от рождения; отсюда ранняя зрелость и Пушкина, и Пастернака. Мне все это пришлось вырабатывать долго, непоследовательно, порой мучительно, все подвергая переоценке.

Но может, эта потребность в усилении значила для души не меньше, чем доступность пищи? Может, главное было в этом усилении, в этом душевном труде? А вот готовность к нему, способность к нему, наверное, задается отчасти природным устройством, отчасти воспитанием. В семье нам все же привили понятия о честности, совестливости, доброте, труде. И была в конце концов классика — первостепенная духовная пища. Были Пушкин и Лермонтов, Толстой и Чехов, и по репродуктору звучала великая музыка.

## Поколение

Я поздно осознал свою принадлежность к поколению, даже как бы сопротивлялся чувству этой принадлежности, как сопротивлялся духу времени, моде. В этом сопротивлении есть, наверно, что-то «неблагодарное» (слово, которым Томас Манн обозначал позицию священнослужителей, не откликнувшихся на потребность времени в религиозном обновлении).

Впрочем, время само, помимо моего желания, лепило и лепит меня, мой образ мира.

Поколение — это, между прочим, те, чье сердце откликнется на песенки Утесова или Шульженко, для кого «Под звездами балканскими» или «В лесу прифронтовом» пахнут воспоминаниями, талым снегом, керосиновой лампой, вкусом лекарств, первой влюбленностью. Любители нынешних певцов и ансамблей поймут друг друга через много лет лучше, чем я их.

Или вот это: в 1946—1947 годах мальчишки начинали во множестве болеть за «Динамо», самую популярную — после сенсационных гастролей в Англии — футбольную команду; годом позже — за ЦДКА. Болельщиков «Спартака» и «Торпедо» среди моих одноклассников были единицы, их время пришло еще лет через пять. По этой примете можно определять если не возраст, то болельщический стаж.

Я помню, как впервые услышал о баскетболе, — в Белоруссии, в городке Добруш, куда моего отца послали после войны работать на бумажную фабрику. Приятель Марик Веберов, сын портного, приехал из большого города — из Гомеля и рассказывал про необычную игру, где мяч забрасывают в корзину, висящую на столбе. Я мог понять все, кроме одной подробности: почему у этой корзины не было дна? Уж если забросили — так чтоб не вываливалось, чтоб видно было.

В волейбол у нас уже играли, а баскетбола не видели никогда.

Я помню фантастические рассказы про телевидение. В одном из таких рассказов человек заметил, что за ним следят с помощью телевидения, и разбил подглядывающий объектив. Представление об этом объективе (или экране) было неожиданным, мне казалось, что телевидение — это способность видеть на расстоянии как-то просто так... не знаю. О приборах я не думал.

(Дивный сон о книге с движущимися картинками — он обернулся нынешним ящиком.)

Как будут вспоминать мои дети свой нынешний дом — с телевизором, но без закутков, чердаков, чуланов, крылечек? Квартиру без печки, окна без морозных узоров на стеклах, без ваты и обломков елочных шаров между рамами? Воздушные шары, уже не способные взлетать, — предмет восторгов и переживаний,

тема фольклора и поэзии. «Девочка плачет: шарик улетел». Теперь это из кино — почему-то нынешние шары у нас не летают.

Может быть, какое-то следующее поколение, поколение бескнижной, электронно-компьютерной цивилизации уже вообще не сможет нас понять. Да мы будем ему и не очень интересны.

Возможно, наше поколение останется последним, которое пережило войну и застало конечную фазу кровавой диктатуры.

Помните, сверстники, как прятались в бомбоубежище, как по военным московским улицам женщины вели огромные колбасы-баллоны с газом для аэростатов воздушного заграждения? Этих аэростатов было много в вечернем небе над химзаводом имени Карпова. Помните газеты, которыми оклеены были стены? Те, что над кроватью, читаны-перечитаны, прямо и вверх ногами: поздравления товарищу Сталину с 70-летием, речь товарища Вышинского на Генеральной ассамблее ООН, военные действия в Корее, футбольный матч «Динамо» — ЦДКА — здесь нижний край был оборван, открывалась грязно-желтая, в клопичных точках, фанера... с каким же счетом закончился матч?..

Помните хлебные карточки, очереди, хлеб с довесками? Как-то Марик Веберов, придя ко мне, упал в обморок — от голода. Мы-то сами не голодали.

Я помню, как к нашему дому приходили нищие — не те нищие, которых встречаешь теперь в электричке, пухлые от запоя инвалиды, а настоящие, они благодарили за горбушку хлеба; я видел, как они потом перебирали, вынув из мешка, черствые, заплесневелые сухари. Это была настоящая нужда, настоящий голод. Иногда находилось для них и что-нибудь из вещей. Остаток рубахи, тряпицу, годную к употреблению, — все брали с благодарностью. Слава Богу, теперь не побираются ради куска.

В Добруше был лагерь для военнопленных немцев, их водили на работы. Они раскрасили фабричную Доску почета под мрамор — не отличишь от настоящего, и, как рассказывали, умели делать замечательные кольца из тюбиков для зубной пасты. Я иногда смотрел, как они под охраной играли в футбол на фабричном стадионе. Это была потеха: стукнет по мячу — и сам падает. От слабости, как я понял потом.

Однажды я столкнулся с ними по пути из магазина, где только что выстоял с карточками долгую очередь за хлебом. Группу вела низкорослая женщина с винтовкой, пленные шли нестройной толпой, и такой у них был жалкий вид, что помню свою презрительную мальчишескую мысль: «Вояки! А весь мир покорить хотели!» Один, поравнявшись со мной, жалобно попросил: «Брот, брот! Хлеба!» И я ему кинул маленький довесочек.

Я-то под немцами не жил, враги были для меня абстракцией, и ненависть к ним была отвлеченной.

А несколько лет спустя на станции Лосиноостровская, куда мы к тому времени переселились, я видел других заключенных: на путях остановился состав с зарешеченными товарными вагонами. Из-за решеток смотрели лица, и я смотрел на них с любопытством. Преступники. Уголовники. Представление о иных заключенных тех лет в моем сознании отсутствовало начисто — родители сумели отгородить меня от этого знания. Сейчас даже удивительно, как это удалось — им, школе, обществу.

Наша ностальгия по детству отравлена нечистой совестью. Когда мои сверстники, а тем более люди постарше перебирают сладостные московские впечатления о первом послевоенном мороженом или о «микояновских» творожках в лубяных коробках, пионерские восторги и мечты о полюсе — трудно теперь отвлечься от мысли, что в то же время, в те же дни, часы и ночи почти по соседству люди страдали и умирали от пыток, истощения, голода, издевательств.

Я помню, как с удовольствием принял известие об аресте врачей. «Берия взялся за дело», — сказал я, мальчик, читавший газеты и знавший, что Берия только что объединил под своей властью МГБ и МВД. Я не понял тревоги мамы — она только покачала головой и проговорила: «Что теперь будет?»

Мне было пятнадцать с небольшим, и я мог бы сказать с полным правом, что ничего не знал, ничего не понимал. Даже в семьях, где были арестованные, ухитрялись держать детей в неведении. В каком же смысле можно говорить сейчас о своей вине, об ответственности поколения за происходившее при нас?

Ссылка на неведение в таком возрасте вряд ли может все объяснить. Чтобы настолько ничего не замечать и ни о чем не задумываться, нужны были



какие-то личные качества: несмелость ума, податливость совести, бессердечность, жестокость, трусость; тут уж не отвертеться. Разве не бессердечным (по меньшей мере) было мое удовлетворение арестом врачей? И постыдней незнания — что при виде арестантов не шевельнулось у меня ни жалости, ни сочувствия; любопытство, с каким я на них смотрел, было холодным, отчасти брезгливым; было жестокое чувство справедливости происходящего и своего превосходства: я-то был не преступник...

Не говорю о старших своих современниках, которым стоило бы глубже копнуть подоплеку своей бесспорно имевшей место искренности и убежденной веры. Не говорю о варианте откровенной подлости, лживости, трусости, шкурничества. Но с какого-то возраста и наше детское алиби перестает срабатывать.

Однажды ночью в нервном отделении Морозовской больницы, где я лежал с туберкулезным менингитом, поднялся необычный переполох, от которого я проснулся. Мимо наших стеклянных боксов проносили новенького мальчика. Его сопровождала мать, молодая яркая дама, и отец, особенно мне запомнившийся: очень маленький, в мундире серо-стального или мышинного цвета, с безжизненно-серым, каким-то ночным при свете включившихся ламп, ничего не выражающим и в то же время пугающим лицом. Такое лицо я видел единственный раз, но потом не раз представлял его, когда слышал о лицах ночных людей из МГБ. Он был оттуда. Мальчика срочно привезли с подозрением на серозный менингит. Диагноз не подтвердился, на другое утро его от нас перевели. Все очень хвалили спокойствие и достоинство, с каким держалась наш дежурный врач Вера Васильевна.

Это был 1949 год. Я написал в больничную стенгазету стихи к 70-летию Сталина. Спасибо Вам, товарищ Сталин, за то, что каждый день и час всегда Вы думаете и всегда заботитесь о нас.

В соседнем боксе лежала тринадцатилетняя девочка, больная хореей. Во время припадков она раздевалась догола — я смотрел на нее через стеклянную перегородку, на ее начавшую развиваться грудь, новое непонятное любопытство томило меня...

Но тут уже другая тема.

# Линии судьбы, или Сундучок Милашевича



Роман

## 1. В потемках

### 1

«Подплывая к калитке, я испытал вдруг укол странного, смещенного чувства, какое бывает, когда в пути спросонья не можешь понять места. Словно ты оказался перенесен на чужую планету: звон прозрачный в ушах, в воздухе серый свет, пахнет уксусом. В древесных коробчатых оболочках прячутся от сырости местные существа, через трубу на темени выходит дым внутренней жизни, в глазницах попарно горшки с цветами, уставленные через водную гладь на своих визави, на заборы цвета заноз со следами меловых знаков: вроде бы латинские буквы икс, игрек, но дальше вместо зета черт знает что — не прочтешь».

### 2

Так начинается один из самых странных рассказов Симеона Милашевича «Откровение», занятной судьбе которого Антон Андреевич Лизавин посвятил наиболее заинтересованные страницы своей кандидатской диссертации о земляках-литераторах 20-х годов. Для его темы, правда, это была предыстория: появился рассказ еще в 1912 году, в первом и единственном номере петербургского альманаха «Дали», но он объясняет многое в дальнейшем, а потому и нам удобно с него начать. Обрывистые эпизоды не связаны здесь переходами и объяснениями, так что несколько растерянный поначалу читатель лишь задним умом берет в толк, по каким это бредовым водам подплывает к своему жилищу рассказчик, словно по венецианскому каналу. Речь идет всего-навсего о луже, что разливалась весной и осенью в городе Столбенце ниже торговых рядов, на скрещенье Лебедянской, Псаревской

и Солдатской улиц, подходя вплотную к заборам и покрывая пешеходные мостки. Лужа не пересыхала вполне и летом, она казалась такой же вечной, естественной частью пейзажа, как близлежащее Столбенецкое озеро, и Милашевич в другом рассказе обсуждал гипотезу, не составляла ли она когда-то с озером одно целое, обособясь лишь в результате геологических процессов. Чтобы в разлив добраться с этой стороны к рядам и Базарной площади, приходилось делать крюк через Аптекарскую горку, пока предприимчивые мальчишки не приспособились перевозить желающих за пятак на самодельном плоту. Юмористическую сценку перевоза Милашевич опубликовал однажды в столичном журнале «Сверчок», и в «Откровении» мальчик с шестом тоже незримо присутствует за спиной плывущего.

### 3

А в следующем эпизоде укол невнятной тревоги, как бы предчувствие, получает объяснение: нечаянный гость поджидал рассказчика в доме, товарищ прежних лет, университетский однокашник, проездом оказавшийся в городке. Они пьют чай. На оттоманке в углу, поджав под себя ноги и зябко укутав плечи румынской коричневой шалью, молча пристроилась Шурочка, жена хозяина. Гость представлен не по имени, а студенческим прозвищем Агасфер, которое, впрочем, можно счесть и нелегальной кличкой. (Тонкое насмешливое лицо с нервным вырезом ноздрей, возбужденный блеск глаз, дорожная щетина). Лизавин по некоторым намекам предположил, что этот человек добирается откуда-то из ссыльных глубин к Столбенецкой железнодорожной станции. При нем сундучок, столь драгоценный, что он даже не доверяет его прихожей, держит все время при себе, у ножки стула. Этот многозначительный сундучок то и дело навязывается нашему взгляду: величиной с футляр от швейной машинки «Зингер», только поплоче, описанный, в манере Милашевича, до обшарпанных уголков, деревянной ручки и позеленелых латунных гвоздиков — недаром оттиснется его объемный вид в памяти Антона Андреевича. Так иногда в кино монтируют кадр, все более укрупняя, под тиканье часов, наводящее на мысль о взрывном механизме, во всяком

случае намекая, что в этом тикающем предмете кроется нечто существенное. Но в кино такой предмет рано или поздно должен взорваться или хотя бы раскрыться, ублажив душу зрителя музыкальным разрешением, осуществлением догадки. Увы, Милашевич нам такого естественного удовольствия не доставляет.

4

Свою роль сундучок, впрочем, сыграет: по ходу рассказа становится ясно, что пришелец болен, романтический блеск глаз оборачивается вполне материальным жаром, ему нельзя дальше идти, как он ни уверяет в обратном (сундучок где-то ждут), и бывлой товарищ, чтобы успокоить его, сам вызывается доставить нетерпеливую ношу на место. Он воспринимает этот неожиданный поворот с несколько даже комичным облегчением — до сих пор все ждал и не знал, какой тревогой обернется это вторжение. Дело в том, что всех троих, как нам исподволь открывается, связывает давняя история. Когда-то заезжий студент подбил юную девушку бежать из родительского дома в Москву, но сам вскоре исчез, поручив беглянку заботам приятеля; теперь после долгого отсутствия он нашел обоих на столбенецких берегах, и новоиспеченный супруг не зря озабочен душевным покоем женщины. Хотя бы потому, что этот Агасфер, сам о том не стараясь, распространяет вокруг себя дух смущающей, насмешливой трезвости, от него жухнут на подоконнике листы отцветшей герани, проступает в углах плесень, оголяется взгляд... Но пересказ тут мало что даст, лучше прочесть Милашевича. У него существен всегда не сюжет — он, считай, уже весь изложен, — а тот самый «укол смещенного чувства», который, заставляет разбирать по-латыни заборную надпись, над собой же при этом посмеиваясь, существен сухой полумрак за спинами сидящих, свет керосиновой лампы, игра вполношенных теней, причудливых мыслей — зыбкий воздух повествования. Весь мотив неуверенности, тревоги, сомнения в ценностях утренней жизни, а может, и затаенного соперничества, мотив скорей музыкальный, чем сюжетный, передан через обращение к домашней туфле с мятым помпоном, с отошедшей, как губа, подошвой; трогательным пугливым зверьком она выглядит-

ваает из-под кровати (где край свесившегося покрывала оказывается грязноват и обтрепан до бахромы), замороженная и смущенная чужеродным присутствием, близостью элегантно, несмотря на грязь, ботинка (грязь элегантно эту даже усилила), загадочностью сундучка, который все рвется куда-то дальше, в непогоду, под ветреные небеса. Ничего, ничего, время от времени ободряет герой взглядом робкое существо. Мы знаем свое, они — свое. Они знают вовсе не больше нас. Этот запах уксусный — от тоски; я вас от него избавлю. Я всех вас, бедненьких, не оставлю, я вам вас самих объясню. Совсем без защиты, под голыми-то небесами — так трудно, так страшно! Попробуй выдержи. Нам ли не знать! Только начали согреваться, куда же еще? Отовсюду потянет вернуться, я знаю заранее, да ведь силы не у всех одинаковы... Занятно, что разговора вслух мы по сути не слышим, какой-то спор (похоже, не сейчас начатый), совершается как бы сам собой — взять хотя бы эпизод, где герой, как к мысленному доводу, обращается к ощущениям детства, «когда нам дано ведь было обитать среди комнатных вещей, словно в дебрях мироздания, между ножек столов и стульев, в пыльной пещере под кроватью, за одеяльной завесой, за крепостной стеной из подушек». Но что-то происходит с милыми предметами на наших глазах, содержимое жилья начинает заполнять пространство, пухнет, отнимая воздух у дыхания, самовар горит во лбу, лезет остьями пух сквозь ситец наперников, набивается в глотку, тикает что-то в висках, в сундучке, в воздухе — нам передается жар болевающего человека, и тут уж не о доводах речь, надо что-то по-человечески сделать, облегчить общее состояние.

## 5

Он выходит на улицу, в сапогах с галошами, в одной руке зонт, в другой сундучок. В прихожей зеркало проводило его попутным насмешливым отражением — единственный раз мы видим этого человека со стороны: «Мордочка печальной обезьяны в пенсне, перышки растительности вокруг увеличенных губ». К ночи прояснело, взошедшая луна освещает лужу,

плот, брошенный у берега,— нелепый путник кое-как утверждает на нем, пристроив сундучок между ступней, чтобы не соскользнул. Он берет в руки шест и плывет по отражениям звезд, освещенных окон, плывет долго, как бывает во сне. Берега размыты, стены домов растворяются в темноте. Там, в драгоценных светящихся ореолах вокруг ламп сидят у самоваров люди, они набирают ложечкой малиновое варенье, колют ножом на столешнице голубой сахар, тянут с блюдечка чай выпяченными губами. Там пьяный маляр, лежа на низком топчане и пристроив на полу лампу, метит разноцветной масляной краской выползающих на свет тараканов, чтобы, дав затем каждому имя и даже отчество, наблюдать в суетливой их жизни, передвижениях и встречах смысл и сюжет. Там приезжий мужик, член загадочной секты дыромолов, просверлив в перегородке отверстие, а может, использовав пустой глазок в древесном узоре, молится шепотом, разносящимся под небесами: «Дыра моя, изба моя, спаси меня!» Боже, думает плывущий на плоту, сколько веры, силы души и мысли нужно для такой молитвы, которую не поддерживает ни дивное искусство иконы, ни музыка псалмов, ни роскошное убранство церкви! — достаточно внутреннего убеждения, чтобы наделить скважину божественным слухом. На кровати, освещенной багровым пламенем из печи, никак не может разродиться женщина, ее уже поили мыльной водой и совали в рот собственные потные волосы, чтобы рвотой ускорить схватки,— по-животному измученная, она сама не способна почувствовать того великого, что совершается с ней, простой бабой, а вернее, через нее, думает плывущий. Ибо все мы бываем божественны, никто не прост, но этого не понять со стороны, вот в чем дело. «С инопланетных-то чужеродных высот как увидеть — ну, хоть безумие любовников Клеопатры? Существо некое вставляет отросточек тела своего в отверстие другого тела, дабы об него потереться, после чего оказывается лишено головы, а с ней — признаков жизни. Изнутри — любовь, потрясение, тоска и смерть, с высот — насекомое копошение... Я понял, я все вдруг понял,— бормочет повествователь.— Вся философию. Только так сразу не скажешь. Ничего. Подождите. Вернусь, чайку попьем, вместе выйдем на берег. Я объясню».

Критик Феноменов, единственный, кто удостоил малоизвестного новичка упоминания в своем ежемесячном обзоре, не без оснований отметил в рассказе невнятность, претендующую на многозначительность. Кто таков герой, как и зачем попал из университета в захолустье, чем здесь занимается, чем живет, куда, черт возьми, нужно так спешно доставить сундучок и что все-таки в нем? Бессмысленно задавать столь реалистические вопросы. Здесь все намеки, обиняки, модная недоговоренность, декадентское шевеление пятен, туманный символизм — ведь и сундучок этот, и туфля с помпоном конечно же не столько реальные предметы, сколько символы, призванные выразить идею рассказа: столкновение неких жизненных сил или позиций. Но опять же: считать ли всерьез идеей эту апологию убогого, косного и все же милого прозябания в противовес стремлению покончить с ним, изменить и улучшить жизнь, пусть даже что-то разрушив, кому-то причинив боль? Все здесь сомнительно. Причем отдельные частности свидетельствуют о явном таланте автора — может быть, потому, независимо от его намерений, именно в этой невнятице, порой чуть ли не бредовой вязкости, в этой невыявленности мысли и формы, как в невольном зеркале, отразились не случайные черты времени. Тут следовали рассуждения Феноменова о симптомах неблагополучия, и не только литературного, об отказе от строгости, духовной и внешней, как проявлении распада, о соблазне саморазрушения, о тяге современного сознания вспять от цивилизации к мутной, женственной, болотистой стихии. Похоже, умному критику рассказ дал повод высказать заветные соображения, и весьма, кстати, серьезные, только Симеону Кондратьевичу они оказывали, пожалуй, слишком много чести.

Все предстало в свете куда более заурядном, когда в «Русском утре» появился фельетон известного Корионского «Литературные перепродажи», где неопровержимо, с попарной подборкой цитат, целых кусков,



показывалось, что сюжет попросту украден Милашевичем у провинциального автора Богданова. У того рассказ назывался «Пришелец» и напечатан был тремя годами раньше в мало кому известном городке Нечайске, в типографии Ганшина, домашним тиражом 20 экземпляров — при таких обстоятельствах плагиатор, а по-русски, что жеманничать, — вор мог надеяться, что его не схватят за руку. Тем более что он, как у этой братии водится, позаботился о перекраске и перелицовке: изменил заглавие, подсунул пришельцу сомнительный сундучок вместо чемодана заграничной работы, нарезал помельче и переставил куски, что-то убрал, а кое-что и подшил из собственного материала, особенно по части философствований — лишь бы запудрить мозги. У Богданова звучит все реалистичней, серьезнее, проще, а некоторую недоговоренность, непроясненность намеков вполне можно объяснить осторожностью известного рода. Герой, недоучившийся студент, увез из Москвы любимую женщину (здесь ее зовут Верочкой), чтобы хоть на время укрыть ее от опасностей и тревог, которые вновь вторгаются в дом вместе с полубольным гостем: их связывало не простое знакомство, тут нелегальщиной попахивает куда явственней; в калейдоскопе мысленных картинок мелькает однажды воспоминание героя об уличной стычке: на мостовой студенческая зеленая фуражка и шляпка женщины, у нее выпали шпильки, распустились светлые волосы, а близорукий герой не видит ничего, у него сшибли с носа очки, он на ощупь, по стеночке, поднимается на ноги и лицом упирается в шинель городского... И мотив всколыхнувшейся ревнивой неуверенности здесь куда отчетливей, и сомнение в своей способности составить действительное счастье любимой; но главное, в порыве помочь обессилевшему другу сказывается, помимо всего, чувство возобновленного долга, а может, и попытка нового самоутверждения перед женщиной. Да вот хотя бы мелочь: свое отражение с увеличенной областью вокруг губ герой видит не в зеркале, а в усмешливом самоваре — не правда ли, такой портрет выглядит по-другому?

Но обо всех подробностях, вплоть до характерных исправлений языка, желающие могут посмотреть в кандидатской диссертации Лизавина, который многое в этой истории объяснил. Он прежде всего установил, что никакого плагиата на самом деле не было, перед нами авторская переделка собственного рассказа. Богданов была настоящая фамилия Милашевича, обычная фамилия незаконнорожденных (отчество таким дается по крестному отцу, а имя захолустные батюшки любят прописать помудренее — отсюда Симеон вместе Семен). Вымышленным же именем он впервые назвался, видимо, при аресте, а потом оставил себе как псевдоним. Да, был за ним и арест; Лизавин даже сумел отыскать в московском архиве следственное дело, по которому тот проходил, — «о заговоре с целью покушения на железной дороге». Это было и впрямь как будто о другом, неожиданном человеке — если не держать в уме обстоятельств злосчастного рассказа. Там фигурировала засада на раскрытой московской явке и чемодан с двойным дном (все-таки чемодан), где кроме револьвера и бумаг нелегального центра оказался взрывной механизм (все-таки тикало). При аресте Симеон Кондратьич, не имея при себе документов, назвался и был записан Милашевичем, «из мещан Пензенской губернии», родившимся 16 мая 1884 года. Без малого неделю он твердил, что чемодан был ему ненароком подменен в буфете Николаевского вокзала, на вопрос, каким же образом он явился с ним точно по адресу и даже произнес заветное словцо, сочинил нечто уж вовсе неубедительное о подслушанном разговоре за соседним столом и что по этому адресу он, дескать, думал найти хозяина чемодана. Его сочли за столь важную птицу, что поместили в одиночку для особо опасных террористов с окном, замазанным посеребристыми белилами, — Симеон Кондратьич ее потом поминал. На шестой день родилось собственноручное признание, которое можно считать первым наброском рассказа о нежданном госте, только здесь дело происходило в московских номерах Ильина, женщина отсутствовала, а вместо гостя был заболевший сосед, просьбу которого пришлось уважить из невольного человеческого сочувствия. Он назвал также свою

настоящую фамилию, запирательство же объяснил отчасти испугом, отчасти глупой романтической фантазией. Эта история, видимо, имела некоторый успех, во всяком случае временный, поскольку пребывание Богданова в ильинских номерах подтвердилось и даже найден был оставленный там паспорт. Протокол последующего допроса напоминал Лизавину игру, знакомую по литературоведческому опыту: следователь добивался подробностей, слишком зная, каких именно хочет, а чуткий арестант с готовностью их поставлял. Он постепенно вспомнил внешность постояльца, с усиками, узкой бородкой; на вопрос, не было ли над переносицей родимого пятна, вспомнил и родимое пятно; даже поделился, наконец, догадкой, не была ли болезнь этого человека притворной. На этом допросе том следственного дела обрывается, в следующем Милашевич-Богданов уже почему-то отсутствовал. Возможно, он был выделен в особое производство, которого разыскать не удалось, так что о приговоре мы узнаем лишь косвенно от самого Симеона Кондратьича: неизвестно, какое осталось за ним обвинение, но обошелся он трехлетней административной ссылкой в Нечайск, родной город Лизавина, где в 1909 году напечатан был рассказ Богданова, а затем перебрался поближе к железной дороге, в уже упомянутый Столбенец.

9

Сопоставление этих обстоятельств с рассказом конечно же поощряло воображение, которым Антон Андреевич был, надо сказать, не обижен. Он задавался, например, вопросом: не означало ли пятидневное запирательство, что именно этот срок недоучившийся медик рассчитанно выжидал, пока выздоровеет и исчезнет из его дома (или номера) заболевший человек? Возникали и другие попутные мысли, их, возможно, еще будет случай упомянуть. Но если вернуться к делам литературным, тут озадачивало другое: почему Симеон Кондратьич тотчас не поспешил объяснить возникшее недоразумение? Никто в столице не мог и не обязан был знать его обстоятельств. Он только перебрался сюда после ссылки, перебивался фельетонами, жанровыми картинками и «провинциальными

фантазиями», печатая их в журнальчиках разного пошиба. Что мешало ему хотя бы показать обвинителям свое лицо, с которого, судя по единственной дошедшей фотографии (тюремный фас, профиля в деле почему-то не оказалось), довольно правдиво срисовано было насмешливое отражение? (В первоначальной попытке приписать его самовару есть какая-то грустная самозащита, от которой автор потом гордо отказался.) Между тем скандал, видно, всерьез подорвал для него возможность литературного заработка — многие редакционные двери, как можно понять, оказались закрыты перед сомнительным типом. Смущал, возможно, не просто сам факт воровства, но еще привкус непонятого вызова. Не имея других средств к существованию, Милашевич одно время бедствовал не на шутку. Именно в тот год была нажита им язва желудка, которую он с таким знанием дела живописал в одном позднейшем рассказе: прижигание ляписом по тогдашней методе, вкус обволакивающей овсянки и черничного киселя — единственной дозволенной пищи. Герой рассказа, кассир, из-за своей неосторожной, неверно истолкованной шутки оказывается заподозрен в растрате, отстранен до проверки от должности, да потом так и не восстановлен. Знакомые от него отворачиваются, прислуга разговаривает через цепочку, он закладывает вещи в ломбарде и пестует свою язву, но сам объяснять невинность свою не желает — отчасти из самолюбия, отчасти из вязкого, как во сне, чувства, что проще жизнь изменить, подогнать под однажды сказанное слово, нежели от этого слова отказаться, — больше того, он даже испытывает анекдотическое удовлетворение шутника, удачно всех разыгравшего.

## 10

Разумеется, беллетристика — не документ, пользоваться ею для суждений об авторе можно лишь с понятными оговорками. Беда в том, что надежных документов о Милашевиче почти не дошло. О целых периодах его жизни можно судить лишь по косвенным отголоскам. Взять то же следственное дело. Вот, казалось бы, документ — но много ли извлечешь из него положительного? Не больше, чем из рассказа.

Хорошо, нашлась фотография, подтверждающая достоверность отраженного портрета, но разве и объектив не балуется иногда самоварным эффектом? Он ведь тоже выпуклый. Как и глаз, впрочем. Особенно глаз художника. К началу работы все сведения Антона Андреевича о Милашевиче исчерпывались единственным мемуарным свидетельством, о котором еще будет речь, да незавершенным автобиографическим наброском 1926 года. Ну, этот документ стоил показаний в следственном деле. Дата рождения здесь указывалась уже иная: 14 мая 1886 года. По ошибке ли перепутаны цифры, а если Милашевич умышленно соврал, то где именно? Остается гадать. Да, может, и сам точно не знал — поди доберись до церковно-приходских книг, где это могло быть записано. По поводу незаконного своего происхождения и бесприютного детства автор лишь мимоходом роняет фразу о родственном чувстве ко всем, «выпавшим из связи, общности, нигде не своим». Затем, не в порядке хронологии, а по случайному ходу мысли, сообщается факт недолгой учебы в Московском университете, сперва на естественном, затем на медицинском отделении. Тягу к естественным наукам Милашевич объясняет воспоминанием о детском чуде — увеличительном стекле и туманной мечтой о микроскопе. Здесь автобиография превращается в некую хвалу оптическим приборам. «Они ведь не только укрупняют предмет, но выделяют его из суетного пространства и фокусируют на нем взгляд. Обычно-то жизнь не воспринимаешь, вплотную, как не воспринимаешь иной раз книгу, хотя водишь глазами по строчкам. И вдруг — волосатое брюшко мухи в цветочном раструбе, граненые угольные глазища, крупички пыльцы на точеной выделке тычинках, уходящих в нежную сказочную глубину». Далее, однако, читаем о разочаровании микроскопом, который скорее смутил, чем обогатил взгляд; можно подумать, что из-за этого именно разочарования автор не закончил даже второго курса, а не из-за участия в студенческих беспорядках. «Я все больше убеждался, что дело именно в обособлении, а не в укрупнении». И тут, после отступа, как это любит Милашевич, неожиданным эпизодом возникает описание странного дерева с перепончатым стволом и травянистыми листьями, похожего на растение доисторических болот;

оно покачивается на ветру. Если смотреть, не отрываясь, можно увидеть, как оно растет, наслаждается влагой, как съеживается от похолодания, вздрагивает от упавшей тени, от каких-то внутренних чувств, как потрясает его туша летучей чудовищной твари, от тяжести которой наклоняется ствол — и лишь тогда, не выдержав, наблюдатель предпочитает признать в твари навозную муху, а в дереве — травинку, выросшую на подоконнике, перед щелью, верхней царапиной в белме замазанного краской оконца. Мы, наконец, понимаем, что Симеон Кондратьевич описывает впечатления камеры-одиночки — важный урок обособленного взгляда, который и впрямь не нуждается в микроскопе, даже противопоставляет себя миру точных наук и положительного знания. Ему важнее другое. «На лугу вы бы этой травинки и не увидели. Можно ведь и луг пройти, не увидев». О самой же истории говорится скороговоркой в придаточном предложении: «когда я сидел здесь по делу о политическом покушении». И той же скороговоркой, под конец, сообщается о ссылке в Нечайск: «Так я впервые попал в родные места моей жены Александры Флегонтовны. Им суждено было со временем стать и моей второй родиной. Здесь мы после разлуки воссоединились окончательно с подругой моей жизни, здесь я пишу эти строки, прислушиваясь к ее дыханию за занавеской». Кстати, имя и отчество — единственное, что мы знаем об этой женщине, остальное приходится домысливать по рассказам, где безмолвное присутствие Шурочки ощущается не столько прямо, сколько во всяческом рукоделии, салфеточках, занавесках, наспинных подушечках, равно как в вареньях, масленичных блинах и прочих радостях провинциального быта, которые так любовно вставляет в свои описания Милашевич.

Здесь, между прочим, задевает вот что: оказывается, героине рассказа, явно не лишенного автобиографического звучания, оставлено было подлинное имя любимой женщины. Конечно, жены художников, как говорится, особ статья, им обычна и роль натурщиц, и все же — не так это, знаете ли, просто. Как не просто у Милашевича и с автобиографизмом. В одном рассказе у него есть рассуждения о литературе как способе сказать про себя именно глубочайшую

правду, не разоблачаясь перед публикой. Саморазделение недопустимо, предельная исповедь по многим причинам сомнительна — попробовал бы Достоевский, да любой из нас, исповедаться от своего лица наподобие Ставрогина! Порой возникает впечатление, что сам Симеон Кондратьевич больше всего старается не выдать что-то действительно задушевное, оттого все фокусничает, сочиняет — примерно как в разговорах со следователем — вплоть до совершенной фантастики. А как проговорится взаправду, уже не всегда и уловишь. Притом он постоянно сбивает с толку пристрастием к повествованию от первого лица. Занята одна его миниатюра, этакий юмористический этюд про человека, который вел одновременно пять дневников от пяти разных лиц, и каждый был о себе. Или взять концепцию «переносного глаза», как это называл Милашевич. Речь идет о стремлении воспринимать мир изнутри других существ, проникаясь их внутренней правдой; как, например, в рассказе про тополь, срубленный, чтобы не заслонял свет фикусу на окошке, вернее, про фикус, которому застил свет тополь, тут существен именно его, фикусов, взгляд. Без предуведомления не сразу поймешь, кто это жалуется, требует сочувствия, тоскует, укоряет — и вдруг полный вздох, восторг освобождения: да здравствует солнце, да здравствует свет, богатство и радость жизни! Вот улица видна и братья-лопухи на ней, вот собака подходит к забору задрать лапку. Под конец фикус начинает даже изъясняться стихами: «Свобода, блаженство, и дали открыты для нас!»

## 12

Нет, в выходке с подлинным именем есть что-то для Милашевича необычное. (Да еще в рассказе, где как раз очерчивается стремление освободиться от гнета строгой реальности.) Как бы ее ни объяснять, думал Лизавин, позволить себе такое можно было лишь в совершенно чужом Петербурге. В Нечайске или Столбенце, где тебя могли узнать, Симеон Кондратьич старался ограждать семейную жизнь от нескромных взглядов. Тем более что Александра Флегонтовна и родом была откуда-то из этих краев. Но тут интересно еще вот что. Оказывается, в Сто-

лбенец Милашевич впервые попал лишь после событий, нашедших отзвук в рассказе, перед арестом он еще проживал в Москве. Стало быть, провинциальный оттенок привнесен в тему уже задним числом, причем именно в петербургском варианте это звучит по-настоящему вызывающе. Очевидно, как раз к той поре стали оформляться черты того, что Лизавин называл провинциальной философией Милашевича. Идеи ее нигде не изложены систематически, а приписаны разным беллетристическим персонажам. Она вообще чужда всяким системам и не нуждается в доказательствах. Ее правда — в способности обеспечить внутреннюю гармонию и наделить чувством счастья независимо от внешнего устройства жизни. Она не претендует на величие, ее сила — именно в общедоступности. «Все философии создаются для нас великими людьми,— рассуждает у него один персонаж,— а кем же еще? — по своей мерке, вот начало несоответствия. Они, эти великие, могут искренне заботиться о нас и звать куда-то к привидевшейся им истине, только меркой своей не поступятся, вот исток разочарования, тоски, неприкаянности». Важно сразу подчеркнуть, что провинция у Милашевича — не географическое понятие, а категория духовная, способ существования, она коренится в душе человека независимо от места жительства. И все-таки в этой поэзии незамысловатого мещанского уюта, печного тепла, летней пыли, весенней грязи, вечернего мытья ног, чаепитий в саду под яблонькой слишком много связано с миром Нечайска и Столбенца; когда их певец сам пытается обосноваться на правах литератора в столице, это, согласимся, придает несколько отвлеченный оттенок провозглашенному как будто в «Откровении» обещанию вернуться. Лизавин позволил себе на сей счет кое-какие психологические домыслы. Возможно, именно петербургский эпизод положил конец каким-то колебаниям Милашевича. Только представить себе этого природного провинциала, близорукого, путаного, нескладного, в белом летнем картузе, горячих пыльных сапогах, потной косоворотке или толстовке позднейших времен... нет, не мог он себя почувствовать своим среди отутюженной столичной публики. Возможно, в литературном недоразумении он увидел



подсказку, этакий направляющий шлепок судьбы, который убедил преодолеть малодушный соблазн, самолюбиво и гордо вернуться к себе в Столбенец, где можно было без оглядки на чужой вкус выстраивать вокруг себя мир непритязательного счастья и доступной, как в детстве, гениальности.

13

Конечно, домыслы есть домыслы; тут законен вопрос: не подгонял ли отчасти Антон Андреевич под собственное свое понимание автора, к которому с первого же знакомства ощутил душевную симпатию, даже родственную близость? Не станем сразу возмущенно это опровергать. Не занимаемся ли мы все чем-то подобным, когда толкуем книгу всякий на свой лад? — ведь она говорит нам то, что мы предрасположены или склонны услышать. Лизавин в душе не чужд был даже и сочинительству. Порой ему мерещилось нечто совсем уж рискованное. Например, что вынужденная разлука с Шурочкой оказалась для Милашевича более долгой, чем он сам дает понять, что нотка ревнивого соперничества, особенно в первом варианте рассказа, выдает уязвленные чувства, однако уже петербургский вариант свидетельствует о новом самоутверждении, и подлинное имя вновь обретенной женщины вставлено как сигнал торжества, тайно обращенный куда-то в пространство... Но это уже, как говорится, вовсе литература. Заметим лишь, что не случайно, видимо, в юмористических философствованиях Милашевича такое место занимает тема судьбы, которая осуществляется через самые невероятные случайности. Как причудливо складывается до поры собственная жизнь этого человека (насколько мы о ней можем судить): необязательная учеба, неточные, пробные увлечения, и вот однажды нежданный гость, его непредвиденная болезнь, вынужденный уход из дома, поневоле затянувшееся отсутствие, ссылка и возвращение, недоразумение с плагиатом, как будто нарочно придуманное — а в результате он приходит к тому, для чего, как теперь кажется, был создан и предназначен по устройству души и ума.

Как бы там ни было, после недолгой отлучки, вынужденный искать средства пропитания вне литературы, Милашевич снова оказывается, теперь уже добровольно, в месте своей былой ссылки. Лизавину Столбенец был хорошо знаком: здесь он пересаживался с электрички на автобус по пути в Нечайск. По неизвестным причинам железную дорогу проложили когда-то в трех верстах от города и там учредили станцию. У Милашевича есть забавная сценка, где подвыпивший пассажир, высадясь в Столбенеце и не обнаружив окрест города, пугается, что не там сошел. С годами город и станция постарались подтянуться друг к другу, растеклись вдоль дороги жиденькими строениями — как амебы, что ли, подтягивающие друг к другу отростки, — пока не слились. Благо место было пологое, дававшее простор, не то что в Нечайске. Столбенец распластался почти вровень с озером, климат тут считался нездоровым, особенно в жару, когда вода зацветала. Зато на озерном донном иле и лыве — земле из перегнивших водорослей — выращивали редкостные урожаи знаменитых «белолобых» огурцов: полсотни таких вот громадных из одного семечка. Близость железной дороги делала Столбенец по сравнению с Нечайском центром городской цивилизации. Здесь раньше появилось электричество, было даже кино — электротеатр «Грезы» (нынешний кинотеатр «Прогресс»), а среди промышленности, обычной для мелких городков, то есть дубления кож, обжига кирпичей да извести-кипелки, выделялась карамельная фабрика Ганшина, снабжавшая сладким товаром всю губернию.

В краеведческой книге о Столбенеце, изданной в 1922 году, есть фотография тогдашнего города: скопление серых, как сараюшки, построек (вспоминается «цвет заноз» у Милашевича) вдоль такого же серого озерного пятна. Тусклость отчасти надо, конечно, отнести за счет ужасной печати; тот же Милашевич свидетельствует, что лучшие дома, во всяком случае, были когда-то окрашены в модные «съедобные» цвета;

а именно шоколадный, крем-брюле или сливочного мороженого. Да и главы трех видных на снимке церквей наверняка были нарядней (одна до сих пор уцелела), и озеро отражало же небеса, а в благодатное время года разливалась и зелень, и сады цвели. Можно, конечно, считать, что листва, а тем более цветы, как слова поэзии, прикрывают и несколько приукрашивают скудную основу жизни — но кто сказал, что в оголенном пейзаже больше правды? Сделан краеведческий снимок ранней весной или осенью, по всему судя, с холма, где сохранились остатки укрепленного городища с земляными валами. Городище называлось «столпье» и дало имя городу. Когда-то валы были излюбленным местом прогулок, на памяти Лизавина заняты больше картофельными огородами и грядками, они подступали даже к фигуре солдата — памятнику погибшим в последней войне. Солдат был гипсовый, крашенный серебрянкой — цвет провинциальной монументальности. Постаментом же ему служил гранитный, из земли росший камень, на нем различимы были замазанные цементом стилизованные славянские буквы: «Герою Отечества — благодарные Столбенчане». Надпись по содержанию подходила, но предназначалась, очевидно, не солдату. Лизавин еще застал на камне вождя с бронзовыми усами и в сапогах того же материала — но и он лишь занял опустевшее место. Тот, кому посвящена была надпись, сохранился лишь неясным силуэтом в левом углу устаревшей фотографии — столбенецкий купец Степан Колтунов, который будто бы соперничал в подвиге с самим Иваном Сусаниным.

## 16

На эту историю стоит слегка отвлечься, чтобы еще раз показать, в каких непростых отношениях с истиной бывают даже свидетельства документальные. В 1912 году местной ревнитель древностей учитель Семиглазов обнаружил в бумагах Воскресенского мужского монастыря челобитную колтуновского зятя «Ивашки Кваши со чады, Игнашкой да Фомкою». В челобитной, меченной мартом 7128, то есть 1620 года, говорилось про мученическую смерть Колтунова от руки поляков семь лет назад, зимой 1613 года, когда купец забирал

поташ в окрестностях Костромы и был захвачен в проводники отрядом, искавшим царственного отрока Михаила Романова. Сводилась же челобитная к просьбе освободить в честь такого подвига от непосильных пошлин наследников убиенного. Подлинность бумаги сомнений не вызывала, но по каким-то причинам до Москвы она не дошла, застряла в монастыре, и потому имя героя оставалось в забвении без малого триста лет. находка счастливо совпала с близким юбилеем царского дома и слухами о возможном приезде в Столбенец государя; наконец сам камень, служивший, наверно, еще язычникам для жертвоприношений, давно требовал над собой монумента. Сбор средств объявили тотчас, но пока чугунная фигура купца отливалась в Саратове, о подвиге его завязался спор. Костромской историк Погорелов, явно раздраженный явлением конкурента своему земляку, заметил в печати, что челобитная, даже если она не поддельная, еще не свидетельствует ни о чем, кроме попытки родственников пропавшего без вести купца получить для себя льготы. Откуда известно, что погиб он от поляков, а не от воровских людей, коими кишели тогдашние дороги? Семиглазов отпарировал мгновенно: не такие ли точно сомнения высказывали разные Соловьевы и Костома-ровы о подвиге самого Сусанина? Они требовали доказательств, что под Костромой вообще появлялись поляки. Но такие вещи надо принимать душой, как приняла царица Марфа челобитную сусанинских родственников. Погорелов, сердчая все больше, ответил, что, возможно, слух об успехе этой челобитной и побудил Квашу два года спустя к попытке самозванства, что одно дело местный крестьянин, другое — заезжий купец, который лесов здешних не знал и заблудиться, если уж на то пошло, мог безо всякого героического умысла... Тем временем памятник установили, но государь до Столбенца так и не добрался, ученый же спор через несколько лет утратил смысл из-за нагрянувших событий.

Милашевич вспоминал об этом эпизоде провинциальных умственных кипений в годы, когда древний камень уже опять пустовал — но вовсе не потому, что

колтуновский соперник сумел доказать свои исключительные права. Нет, на какой-то срок соперник сам заколебался, словно в зыбком мареве; оба показались не нужны для обновленной истории, где спасение царя уже не считалось заслугой, даже наоборот, и почти растворились, растаяли в воздухе, причем Колтунов растаял, можно сказать, непоправимей, не имея за собой устоявшегося предания, со стихами и операми, да вдобавок отягощенный неудачным купеческим происхождением. Так что когда история вновь заинтересовалась духом государственного патриотизма, к бытию вернулся лишь один из них, более привычный. Его в конце концов вполне хватало. В рассказе Милашевича об этом философствуют разные персонажи. Важна идея, говорит один, а образ так или иначе сгустится из нее, используя для воплощения любой пригодный материал, обретет имя, черты, возвышенную речь и даже чугунную весомость. Со временем он перестанет нуждаться в доказательствах достоверности, наоборот, сам будет важнейшим и достаточным доказательством. Другой заявляет, что механический факт ничуть не ближе к истине, чем смутное чувство, слух, видение. Мы-то знаем лучше других, как молва и сон могут превратиться в плотное — да еще какое весомое! — вещество жизни. Факты могут присутствовать в слухах и версиях, как в жидкой глине камушки, но когда вместе засохнут, у них общая прочность. Если не подвергать эту прочность чрезмерным испытаниям, можно, в конце концов, обойтись одной глиной — из нее удобней лепить. Мы умеем жить музыкой, а не евклидовой геометрией, — предлагает свой образ третий. Быть может, провинция своим пониманием вообще предвосхитила мироощущение века, из которого уже возникает и новое искусство, и новая мораль, даже новое понятие о реальности и новая теология. Похоже было, что Милашевичу хотелось связать с провинциальной идеей собственную художественную неосновательность. В финальном эпизоде слышится как бы стон самого исчезающего Колтунова: «Помогите же! Дайте посуществовать!» А опустевший камень уже томится по новой тяжести, уже предчувствует ее над собой, до зуда — из этого зуда она вот-вот и сгустится.

(Поздней в бумагах Милашевича Лизавин нашел одну странную, задевшую его запись:

*«Что было со мной, пока я не умер? Не помню. Это и есть смерть».*

Черновой вариант, развитие колтуновской темы? Кто знает.)

Да, с историческими свидетельствами тоже не всегда выходило просто. Что семнадцатый век! В той же краеведческой брошюре Антон Андреевич встретил имя некоего А. Н. Ганшина, местного социалистического деятеля и пропагандиста. В его доме, рассказывал автор, собирались на тайные совещания революционеры из ссыльных окрестностей, находили пристанище беглецы, даже центральные вожди. Девятью страницами раньше упоминался без инициалов другой Ганшин, пресловутый здешний фабрикант, помещик и меценат, отпрыск княжеского рода Ногтевых-Звенигородских. Совпадение не могло не заинтересовать Лизавина еще и потому, что с фабрикантом Милашевич был знаком; в нечайской типографии Ганшина, как мы помним, напечатан был первый его рассказ, в столбенецкой публиковались другие дореволюционные его сочинения. Но, лишь занявшись темой вплотную, Антон Андреевич уяснил то, чего не мог бы понять читатель брошюры, а возможно, не знал уже и автор: владелец обеих типографий, а заодно карамельной фабрики и электротeatра «Грезы», помещик, старательно разорявший наследственные лесные угодья, аристократ, покровитель искусств, и социалист, проповедник революции, был одно и то же лицо, Ангел Николаевич Ганшин, а нелегальные совещания происходили в его усадьбе, в двенадцати верстах от Столбена. Случай, как известно, отнюдь не исключительный для России.

В поздней прозе Симеона Кондратьевича возникает под разными именами отяжелевший атлет со щеками в курчавой бороде: «Она производила впечатление

окладистой, хотя на самом деле окладисты были щеки. Где-то внутри них прорисовывалось другое лицо, тонкое, нервное. Казалось, будто стремительный живой человек обложен сырым трясущимся слоем и движется, преодолевая его тяжесть». Описание лучше известных фотографий позволяет увидеть этого усталого отпрыска аристократии и эксцентричного фабриканта; он бродит по страницам Милашевича походкой больного слона, в зарослях одичавшей сирени, сплошь о пяти лепестках — «лилово-зеленый цвет эпохи, пережившей свой век на четырнадцать болезненных лет». Глазки заплыли, краснеет воспаленная кайма по низу белка; левую половину груди и толстое плечо стягивает кожаный фехтовальный доспех на ремешках, штаны обвисли на задугу. В кадке с бронзовыми фигурными обручами растет родословное дерево без листьев, со множеством засохших отростков. Его болезненно тяготит неподвижность, особенно летом, он тоскует от невозможности существенной новизны и не находит облегчения даже на рулетке в Карлсбаде, где ему противоестественно везет. Мебель в его доме то год от года растет, надеясь хоть грандиозностью пронять увядшие чувства хозяина, то заменяется легкими составными устройствами, которые специально придумывал некий опередивший время гений, так что их можно было разбирать на части и переиначивать. Усадьба постоянно перестраивается, подвижные зеркала ненадолго обновляют пространство, в саду устроен грот с эхом, которое не повторяет звуков, а живет самостоятельной прихотливой жизнью, так что его можно толковать и употреблять для гаданий; призрачные фигуры из проволоки и жести перекатываются на ветру, меняя при этом вид и наводя суеверный страх на окрестных жителей, а в оранжерее высеяны семена экзотических растений, чьих названий хозяин не хочет даже знать, надеясь на сюрприз.

## 21

Милашевич долгое время жил в усадьбе на правах то ли друга, то ли приживала-развлекателя; он, впрочем, занимал место садовода, возился в ганшинской оранжерее, а также придумывал для его карамельной фабрики конфетные обертки, или фантики, как их на-

зывают дети. Эту фабрику Ганшин поставил как будто наобум, не позаботясь об отдаленности сахарного сырья. Однако выписанный из Вильны инженер-управляющий, немец Фиге сверх ожиданий наладил вполне доходное производство на местной картофельной патоке, начинки фруктовые и медовые обогатил ликером из трав, коим издавна славился Воскресенский монастырь, агар-агар для обеспечения прозрачности получался из местных водорослей, — так что ганшинская продукция уже и в обеих столицах бросала вызов братьям Эйнем, Абрикосовым и Сиу. Милашевич успех предприятия объяснял отчасти популярностью фантиков. Эти бумажки занимали его как феномен провинциальной культуры, как средство просвещения и воздействия на умы. Кроме рисунка (в два-три цвета) и названия на них печатались полезные советы, сельскохозяйственные рекомендации, мудрые изречения, приметы погоды и предсказания на год. Была карамель «Гадательная» с изображением карточных мастей: «Туз бубен означает, что задуманная тобой особа честна, благородна. Предвещает перемену жизни к приятному». Была карамель «Опохмельная» с добавкой секретного травяного экстракта и увещательными виршами:

Если голова трещит,  
Пососи вот это.  
Лучше зелье не глуши,  
Покупай конфеты.

Карамель «Именинная» выпускалась на разные имена, преимущественно женские, с изображением белокурой или черноволосой красавицы (впрочем, на одно и то же лицо), выпиской из святцев, а иногда и поздравительным стишком. Трудно предположить, что каждому виду фантиков соответствовал свой сорт продукции — слишком их выходило много. После революции, когда фабрика надолго остановилась, оказалось, что их напечатано впрямь на несколько лет. Было время, когда обратная сторона этих неразрезанных полос оставалась в окрестностях единственной бумагой. Ее использовали для писем, листовок, мандатов и продовольственных карточек. На крупных листах в 1920 году было напечатано несколько номеров столбенецкой газеты «Поводырь» (справа от заголовка,



поясняя его, мускулистый рабочий в фартуке вел за руку к восходящему солнцу крестьянина с запрокинутой головой слепца). Лизавин держал в руках даже денежные боны из фантиков, предназначенные для некой «Лесной коммуны»: на обертках «Шоколадного лебедя», «Крестьянской» и «Красной розы» соответственно типографские надпечатки: «Пятьсот рублей», «Тысяча рублей» и «Три тысячи рублей» с печатью и роскошной подписью некоего А. Комара.

«Провинциальный вкус может меняться, — проповедует у Милашевича в одном из рассказов перед богачом-меценатом человек, называющий себя «придумыватель картин». — Но во все времена большинство людей будет от рождения знать наизусть «У попа была собака», и эта собака будет занимать в их душе место рядышком с Пушкиным. Не стоит ею свысока пренебрегать, иначе мы не поймем внутренней жизни нового сиротского слоя, что все больше заменяет прежнее крестьянство, не поймем тот народ будущего, который восторгается при любом повороте истории. Не поймем, наконец, чего-то существенного в самих себе». «Верно ли стыдиться общих мест? — продолжает он время спустя. — Есть смысл и прелесть в открытии известного еще египтянам. Музыка выражает то, чего не смогут выразить слова. Как глубоко, как прекрасно замечено! Это вы сами придумали? В том-то и дело, что сами, впервые, и не имеет никакого значения, что это уже тысячекратно прозвучало до вас. Поверьте. Открытие каждый раз гениально, как любовь, когда всякий заново уверен, что ничего подобного еще не было до него за века человеческой истории. Умирали тоже миллионы до нас, но вы-то умрете впервые и единственный раз, прочувствуйте это». И в другом месте: «Именно первоосновы жизни банальны. В искусстве человек жаждет узнавать знакомое, себя самого, за то и гениев ценит: как верно подмечено, Господи! Вот и у нас так же, и мы все это испытывали. Мы ценим в гениях, по сути, то же, что и в цыганском романсе: совпадение с собственной душой, оправданность ожиданий — ну, конечно, обновленных складностью, даже изяществом выражения, нам не всегда доступными».

Постоянное обновление чувств — вот главная забота этого персонажа. Ему смешны механические приспособления, меняющиеся с помощью пружин и ветра; он предлагает свои рецепты. Больной меценат в «Сказках для Ангела» готов отречься от изысканных вкусов, от привычных ценностей, французских книг; он покупает расписные коврики у местного живописца Босого, из неудавшихся маляров, и вешает их по стенам; он собирает коллекцию кустарных поделок, бумажных пустяков, на мраморном постаменте для скульптуры водружается голова из парикмахерской витрины, мужской башмак в соседстве с женским высоким ботинком, а вдохновенный рассказчик предлагает ему в музей все новые экспонаты: косой луч солнца в туманном лесу, птичий щебет, вздох на скамейке, гармошку, играющую «Расставанье» на столбенецком вокзале, каталог самоценных мгновений, изъятых из времени и истории. «Счастье доступней людям без родословной, не отягощенным виной предков и даже чувством первоуродного греха». — «Да прочь все, — нетерпеливо откликается слушатель. — Забыть себя, от всего отказаться. Пусть будет как у них»; он согласен даже на вшей, даже на гибель, только бы поскорей.

Ганшин явно впадал иногда в своеобразное и уже старомодное народничество; но революционные томления его, видно, порождались не столько идеями, сколько все той же психологической потребностью в переменах. Он писал некий трактат «Утраченный сад, или О неизбежности революций» и предлагал заезжим конспираторам средства и оружие, чтобы объявить социальную республику в двух ближних уездах, не дожидаясь столиц; даже при неудаче глухость и отдаленность мест позволила бы здесь продержаться изрядно. (Спустя всего несколько лет как эпитафия над его прахом возникла недолговечная и загадочная Нечайская республика.) Он готов был превратить в крепость собственную усадьбу и уже начинал обносить ее каменной стеной, но выстроенная часть внезапно провалилась в землю, где обнаружились полые

пространства: остатки хранилищ или подземных ходов, устроенных кем-то из предков, может, еще разбойным князем времен Ивана Грозного. Обвал случился в день смерти Ангела Николаевича; оба события оказались отмечены в одном и том же номере газеты «Столбенчанин» от 1 июля 1914 года.

25

Сообщение о смерти Ганшина было озаглавлено в духе провинциальной сенсации: «Самоубийство, убийство или несчастный случай?» Тело нашли 28 июня в оранжерее с выбитыми стеклами и завядшими растениями. В револьвере, выпавшем из руки, не хватало пули; загадка была, однако, в том, что самой пули не нашли ни в теле, ни около. На виске имелся синяк размером с копейку, но ни орудия смертельного удара, ни посторонних следов также не было обнаружено. Револьвер наводил на мысль о задуманном (и как будто осуществленном же!) самоубийстве. Тем более что на письменном столе осталась записка, которую можно было расценить как предсмертную: «Завещание в ящике», но больше не прояснялось ничего. Если существовали другие подробности, их затоптали неумелые провинциальные следователи, а может, переврали увлеченные газетчики, и не дело литературоведа, в конце концов, было доискиваться полвека спустя до упущенной ими загадки. Но с этой темой для Антона Лизавина оказался связан один непроясненный намек — обрывочная запись в бумагах Симеона Кондратьевича.

26

*«Это произошло не только в один день, но даже час в час с выстрелом Гаврилы Принципа. В чем мне себя винить? Бессмысленно видеть во всем причину и связь. Просто совпало: обострение кризиса, вынужденное отсутствие, созревание плодов, обвал. И все-таки, все-таки... Можно было понять, почувствовать сразу. Я не уловил. Безобидный экспромт, розыгрыш на привычную тему. Его это иногда встряхивало. Дескать, в народ нынче не ходят, но как вы отнесетесь к идее взять народ на дом? Смотрите, какой со мной славный сирот-*

*ка, не приютим ли на время? Я ждал, что запах заставит его поморщиться, тут уже наготове была шутка. Нет, он даже ничего не заметил. И как было не залюбоваться мальшом, этими кудрями, личиком херувимским. Так было все хорошо, я не спешил с объяснением. Единственная несчастная возможность просто прошла мимо моего понимания. Пришлось объясниться, вот и все. Но эта дрогнувшая улыбка, эти страдальческие глаза...»*

Что это? набросок очередного сюжета? Упоминание о сараевском выстреле прямо связывало запись с датой смерти Ганшина, только разобраться в этом не было никакой возможности. Поздней Антону Андреевичу случалось возвращаться мыслью к проступавшим здесь намекам. Воображению начинало что-то мерещиться, но эти фантазии были уж так произвольны, что и упоминать их не стоит. Больше об этом периоде жизни Симеона Кондратьевича мы ничего не знаем; между тем он еще сравнительно ясен. С 1914 по 1926 год идут почти сплошные потемки. Известно лишь, что перед самой революцией он служил писмоводителем в Столбенецкой управе, потом был недолгое время хранителем в Музее старой жизни, который устроили в бывшей ганшинской усадьбе. Кстати, о наследстве покойного долго шла тяжба между родственниками, завещание его оказалось оспорено; тяжба длилась до самой революции, а там потеряла смысл. Но это уже к теме Лизавина не относилось. Усадьба потом горела, от нее сохранилась лишь фотография. Во времена лизавинского детства ее бывшие окрестности назывались «запретной зоной», и до сих пор Антон Андреевич, вообще неплохо знавший свой район, не побывал в местах, куда приезжал отходить от депрессии этот злополучный «отяжелевший ребенок», как любовно называл его Милашевич. Рассказы ганшинского цикла почти все остались в рукописи, напечатаны были между февралем и октябрём 1917 года только два. Это были тоненькие, как всегда, для немногих изданные брошюры на хрусткой фантичной бумаге с фантичными же картинками посреди белой обложки: на одной — красавица с лейкой, на другой — мальчик

с кудрями и личиком херувима (таким невольно представлял себе Антон упомянутого в обрывке малыша; впрочем, и у женщины было точно такое же лицо — сказывался то ли вкус, то ли неумение местного художника рисовать иначе). Эти две картинки, словно знак домашнего издательства, присутствовали на всех книжках, выпущенных Милашевичем, очевидно, в Столбенецкой типографии. «Очевидно», потому что ни типография, ни место издания на большинстве из них не указаны; это были публикации из рода тех, что не предназначаются для продажи и не посылаются обязательными экземплярами в библиотеки. Блаженные времена, когда автор мог утром оставить рукопись знакомому наборщику, а вечером, скромно расплатившись, унести под мышкой весь свой тираж. Вряд ли Симеон Кондратьич подозревал, что его изящные курьезы станут со временем букинистической ценностью; у любителей эти издания получили впоследствии название «конфетных» — именно они, книжники, а не литературоведы, помогли сохранить о Милашевиче память.

28

Так уж получилось, что попытка придерживаться в рассказе хоть какой-то хронологической последовательности лишь теперь позволяет нам упомянуть давно обещанный мемуар, из которого Антон Андреевич, собственно, впервые узнал о существовании Милашевича и с которого начались все его дальнейшие разыскания. В 1965 году в Москве вышли воспоминания известного библиофила Василия Платоновича Семеки, к тому времени уже покойного. Он начинал до революции как критик, перед самым февралем основал издательство «Домино», продержавшееся девять лет, а когда оно потом влилось в государственное объединение, остался при нем же на неопределенной должности «консультанта». Но знаменит он был больше своим собранием книг, которое после его смерти составило целый фонд в Ленинской библиотеке. Особенно славились его раритеты; он был из числа тех коллекционеров, которых книга привлекала тем больше, чем она безвестнее. Не меньше древнего апокрифа могло заинтересовать его пособие для кар-

точных шулеров, изданное в Одессе в 1893 году и известное в единственном экземпляре. Ни у кого в Москве так полно не был представлен раздел, который на языке библиофилов называется «Idiotika». Хотя как бывший издатель и тем более критик он отнюдь не был равнодушен и к литературе. Совмещение в одном лице таких ипостасей порождало разные толки; злословили, например, что иные диковины Семека у себя же в издательстве и фабриковал, выпуская при надобности в единственном экземпляре и разыскивая по провинции творения неизвестных чудачков; что именно букинистический доход окупал, и с лихвой, издательские убытки. Рассказывали также, что особенно пополнилась его коллекция в тридцатые годы, когда Семека усиленно рыскал по осиротевшим домам... Но это уже опять, как говорится, не наша тема; просто — к характеристике источника. На фотографиях в книге — круглое лицо с актерскими брыльцами, пятнышко усов под носом, купеческий пробор; пахнет бриолином, свежим бельем, словами «расстегай» и «балык». Он и рассказывает вкусно, может, слегка присочиняя — даже наверняка присочиняя и даже не слегка: подозрительно новенькими выходят из его памяти целые страницы диалогов, да еще с особенностями речи, попутными деталями. Перед нами проза, не без таланта, но к достоверности ее не стоит предъявлять чрезмерных претензий. Так вот, одна из глав его «Записок книжника» повествует, как попали в его собрание «конфетные» брошюрки Милашевича — не такие ли истории, им самим рассказанные, порождали толки о его провинциальных аферах? Семека наведалься в Столбенец, прослышав об апокрифах, которые будто бы видели в окрестностях здешнего разоренного монастыря, а также ганшинского имения, где как раз перед тем был ликвидирован музей. Сосредоточась на этих надеждах, он как-то и не думал о Милашевиче; лишь задним числом дошло до него, почему казались такими знакомыми эти крики торговки на станции («А вот лещ копченый, с дымком! Бери, гражданин, шука жареная, еще горячая!»), и пыльная дорога к городу мимо приземистых складов, и осевший земляной вал, даже лужа, по которой, как по озеру, шла крупная рябь. Словно уже здесь бывал и все это видел; впрочем,

не возникает ли подобное чувство в любом провинциальном городке? Лишь после того, как он убедился, что с апокрифами его кто-то опередил, вид заведующего местной читальней напомнил ему о Милашевиче, вдохновив неунывающего книжника возможностью другой, попутной удачи.

Надо отдать Василию Платонычу должное, он выразительно описывает персонаж, как будто сошедший со знакомых страниц: пенсне, обвязанное у переносицы ниткой грязного цвета, свежестираную толстовку с подмышками, испорченными потом, плетеный шнурок вместо галстука, жестяной наконечник, оберегавший грифель карандаша, который торчал из оттопыренного нагрудного кармана, седеющие перышки вокруг большого рта, облезлую шевелюру. Нам ценны здесь все подробности: голые стены в лиловых чернильных пятнах, стриженный мальчик — единственный посетитель, листавший подшивку «Красной газеты», жестяной бак для кипяченой воды с кружкой на цепочке, самодельный плакат, призывающий к подписке: «Газета — твоя мать! Она ждет от тебя поддержки!» В библиотеки и читальни Семека везде наведывался непременно, здесь нередко и торговлишка книжная велась, а уж разговор о книгах возникал сам собой. Имя Милашевича он упомянул сперва просто так, для завязки: дескать, был когда-то и у здешних мест свой поэт — но тотчас уловил, как что-то дрогнуло при этих словах за блеснувшими стеклами, хотя самой темы собеседник не поддержал. Инстинкт книжника приучил Семеку не выдавать подлинного интереса, он лишь вспомнил к слову сюжет-другой из Милашевича, и можно поверить ему, со вкусом — несколько брошюрок не просто имелись в его коллекции, но читались и были ценны. Мы так и видим, как библиотекарь слушает его недоверчиво и напряженно, наклонив голову и глядя снизу, из-под стекол, как потом он снял пенсне, чтобы протереть, и незащищенные глаза его с выпуклыми красноватыми веками оказались растерянными, беспомощными. «Странно,— проговорил он и откашлялся.— Странно увидеть вдруг собствен-

ного читателя». Тремя вопросительными знаками передает Семека свою немую реакцию, на которую последовало объяснение: «Я, видите ли, и есть Милашевич».

«Он сказал это, понизив голос и почему-то покосившись на мальчика в углу, как будто опасался свидетелей такого признания», — замечает не без юмора Василий Платоныч. Эта доверительность голоса (дескать, между нами, не выдавайте), этот воспаленный взгляд произвели на него в первый миг впечатление, будто сказано было: «Я и есть Наполеон». Психологически можно понять перекокс восприятия: к 1926 году Семека уже не представлял автора «конфетных» брошюр живым человеком. Почему же исчез так наглухо? Не печатал ли новых книжек? — этот вопрос прозвучал теперь естественно и бескорыстно. Нет, книжек не появлялось уже много лет. «Неужели больше не пишете?» — «Как не писать! — Он усмехнулся и почему-то похлопал себя по оттопыренному карману с карандашом в наконечнике. — Все время, каждый день. Без этого нет жизни». И вот тут Семека нашел (или, если верить молве, применил очередной раз) тот поворот разговора, который отчасти и породил двусмысленные толки: он завел речь о необходимости попытаться издание сборника в Москве, может, совместно из новых и старых вещей (в упоминании «старых» был, конечно, уже намек и на «конфетные» книжки), дал понять и свою причастность к издательскому миру. Собеседник отвечал на это пожиманием плеч; неожиданную идею надо было сперва переварить. Они договорились встретиться после шести в чайной — Симеон Кондратьич сконфуженно извинился, что домой пригласить не может, сославшись на нездоровье жены и вообще беспорядок. Ах, как нам это досадно! Хотелось бы, право, взглянуть посторонним взглядом на Александру Флегонтовну, на обстановку жилья — увы, приходится довольствоваться чем есть.



С тем бóльшим вниманием примечаем мы подробности разговора в чайной: несвежий прокуренный воздух, в меру замызганные скатерти, но на возвышении балалаечник в русской косоворотке, и подают в сметане знаменитых здешних карасей, и водочка довоенной, сорокаградусной крепости, есть даже коньячок — время нэпа. Жадно разглядываем мы Симеона Кондратьевича, который явился в белом картузе, начищенных сапогах и ради новой встречи сменил плетеный шнурок на короткий широкий галстук с заплаткой. Эта заплатка, признаться, настораживает, нищенская аккуратность провинциала как-то анекдотически здесь демонстрируется, и если Семека эту подробность не присочинил, возникает вопрос, не представлялся ли перед ним слегка Милашевич. Он, кстати, отказался не только от вышивки, но от колбасы и даже от рыбы, подтвердив достоверность своего провозглашаемого в прозе вегетарианства. Но существенней всего для Семеки был, конечно, газетный, перевязанный бечевкой сверток, который принес с собой Симеон Кондратьич. Кроме двух рукописных тетрадок, в нём оказался десяток книжек, в том числе шесть никому не известных в Москве; зато многих известных, к удивлению коллекционера, у самого автора не нашлось. Более того, автор не всегда мог понять, какие имелись в виду, и когда собеседник напомнил ему названия и даже содержание некоторых, всерьез удивился: разве у меня про это есть? Семека упоминает, например, рассказ о человеке, который на вершине счастливого чувства снял с часов стрелки и не вернул, хотя часы продолжал заводить регулярно: «Трудно передать очарование этой метафизической шутки». Среди книг Симеона Кондратьевича Лизавину действительно такой разыскать не удалось — не напутал ли чего-то, в самом деле, Семека, приписав Милашевичу чужой сюжет? — так, похоже, готов был считать сам Симеон Кондратьич. Он как будто давно перестал думать о публикациях и о читателях. «Которые были, тех нет!» — «Но вы говорите, что пишете все время, — напомнил Семека. — Для кого же?» — «А есть для кого, — оживился в ответ Милашевич и даже повторил, многозначительно подняв палец: — Конечно, есть. Не для себя же». Где-то

с этого момента мы начинаем чувствовать, что столичный гость несколько разочарован личностью, в которую, так сказать, воплотилось имя, куда более привлекательное на типографской обложке, что он относится к собеседнику скорей снисходительно. Тем более что непосредственная цель достигнута, желанные книжки в руках. (Искренность Семеки при этом вне сомнений — сборничек «Провинциальных фантазий» вскоре вышел в Москве его стараниями, мало того, с небольшим его предисловием, возможно даже снизив цену букинистических диковин, хотя — при тираже в 180 экземпляров, — вряд ли сильно.) Свой человек в литературных кругах, запечатленный на фотографиях в белых брюках, иногда в касторовой шляпе, иногда в панаме, в бархатной художнической куртке, с фуляровым бантом или галстуком-бабочкой, он теперь подмечает, что картуз аборигена можно назвать белым лишь условно, что запах его стираной толстовки все же не совсем свежий, что пальцы его грубы и черны от копания в земле, что речь его полна мнимозначительных намеков, которые любят именно провинциалы, как интуитивный способ самоутверждения: дескать, и мы здесь не так просты, мы у себя в библиотеке даже от мировых проблем не отстаем. Хотя если начнешь вникать, что за этими намеками — только головой покачаешь. «Что же вы такое пишете? — продолжал интересоваться Василий Платоныч уже больше из вежливости. — Небось что-то большое?» — «Не знаю, как и сказать. Это само растет, как живое, в разные стороны. Только следы». — «Но писать, не печатаясь, без широкого читателя — все-таки противоестественно». — «Это если о литературе думать. Я же не для нее пишу», — отвечал Симеон Кондратьич, и можно бы решить, что он этак прибедняется: где уж нам! — если бы тут же не дал понять, что знает про себя нечто поважнее печатанья. «Бывает, только подумаешь слово, а оно уже существует, да еще как!» Здесь Семека, правда, признается, что украдкой успел все же плеснуть собеседнику в чай немножко коньячку — для оживленья беседы; может, уже сказывалось. Пошла уже совсем подозрительная речь про научные опыты восприятия мысли, а там — про чуткость растений, про индийского ученого Бозе, который при пересадке усыплял саженцы хлороформом, как людей или живо-

тных, чтоб безболезненной приживались, и даже про то, зависят ли свойства навоза, используемого для удобрений, от свойств лошадей. Лишь когда Симеон Кондратьич стал толковать про бразильца Сикейроса, который придумал кормить коров листьями кофейного дерева, чтобы получать сразу кофе с молоком, Семека что-то заподозрил и догадался расхохотаться — собеседник, довольный, рассмеялся с ним вместе. Как знакомо было Лизавину это забавное, а впрочем, двусмысленное смущение, которое Милашевич мог вызвать в самый неожиданный момент и самым простодушным манером — это двойственное, близкое к замешательству чувство, возникающее, когда ты закрывал последнюю страницу или, как Семека, прощался с ним. «Мы вышли на светлую еще улицу. Перед забором, обклеенным объявлениями, стояла коза. Край одной бумаги отстал, но она и не думала его жевать, смотрела долго, внимательно. «Что-то нашла», — сказал Симеон Кондратьич. Я засмеялся и подошел к забору; коза не испугалась, лишь посторонилась, чтобы я тоже мог прочесть: «Козам и мелкому скоту произвести прививки до субботы под угрозой штрафа»».

Лизавину мемуары Семеки попались на глаза, когда он уже писал свою диссертацию о земляках, губернских и областных литераторах, не подозревая о существовании Милашевича. Стоит ли говорить, что он тотчас поспешил разыскать не только «Провинциальные фантазии» неведомого ему прежде автора и все дореволюционные его книжицы, перешедшие к тому времени в библиотеку из собрания Василия Платоновича, но просмотрел в московском литературном архиве и фонд покойного Семеки. Там оказались в сохранности рукописи еще нескольких неопубликованных рассказов Милашевича (среди них почти все «Сказки для Ангела» — видно, не ко времени пришелся этот причудливый персонаж), а сверх того — неопубликованный же автобиографический набросок, здесь уже упомянутый. Набросок и еще два-три текста были присланы по просьбе Семеки позднее, издатель хотел предварить сборник сведениями об авторе, но для

печати и это, видимо, не подошло. Та встреча с Милашевичем была единственной, больше, пишет Василий Платонович, он об этом человеке не слышал. Он не откликнулся даже на присылку вышедших книг — видимо, умер, заключает автор. Выяснить это подробней не дошли руки. Лизавин грешным делом подозревал, что Семека не очень и старался выяснить, отсутствие отклика уже в ту пору было неприятным знаком. Самому Антону Андреевичу удалось узнать несколько больше. Он откопал кое-какие журнальные публикации Милашевича, в том числе злополучное «Откровение», наконец, следственное дело, а в нем единственное изображение Милашевича, тот самый фас, переснятая копия которого с тех пор стояла в деревянной рамочке у него на столе. И этим его находки исчерпались. К смущению Лизавина выходило, что после всех его стараний, полуслучайных удач и даже восторгов ему оставались неизвестны целые полосы в жизни писателя, о котором он толковал, даже дата и обстоятельства его смерти. Домовые книги тех лет не сохранились, в гражданских архивах, в кладбищенских записях ни Милашевича, ни Богданова Симеона Кондратьевича обнаружить не удалось. Он ухитрился остаться не запечатленным ни в каких долговечных бумагах, скажем, в дореволюционном столбенецком «Адрес-календаре» — поскольку, видимо, не состоял на казенной службе. Не возникало его тихое имя даже в местных газетах, которые, правда, и сохранились не полностью, по большей части в Москве (иные — в виде оттисков для военной цензуры, сплошь исчерканные красным карандашом). Архивы здешние многократно пострадали, особенно от разных послереволюционных упразднений, не говоря уже о том, что они и в Столбенеце, и в Нечайске горели по меньшей мере дважды при больших городских пожарах, причем второй раз одновременно, засушливым летом 1928 года, и эта одновременность породила громкий, несколько загадочный процесс о поджоге. Более же мелкие пожары возникали тут едва ли не ежегодно — оба городка могли предъявить целую коллекцию. Если даже не считать постоянных пожаров в лесных окрестностях: то сам собой загорался торф, то дрова, заготовленные к вывозке, — но уже не сами собой, тут подозрение падало на крестьян, уклонявшихся от гужевой повинности. Был год,

когда пожары объяснялись началом польского наступления и деятельностью антантовских агентов, год, когда пожарная бочка ввиду засухи все лето простояла для поливки в огороде начальника Столбенецкой милиции, но пожар начался именно с его дома, как выяснило следствие, от самогонного аппарата; был пожар, который возник, когда вся столбенецкая команда ловила в городском парке сбежавшего быка... Но стоит ли продолжать? Эта тема достойна особой увлекательной хроники.

33

Деревянная страна,— меланхолично думал иногда Антон Андреевич,— ненадежная память. В каком-нибудь каменном европейском монастыре можно по бумагам восстановить каждый день жизни за несколько столетий: кто обитал да кто приезжал, что покупали и продавали, что ели и пили, с кем переписывались и вели тяжбы, о чем рассуждали и спорили на диспутах, сколько извести, камней и позолоты пошло на храм... да что говорить! В Столбенце, впрочем, Воскресенский монастырь тоже был каменный и от пожаров не пострадал, но тут прошлись другие опустошения. И времена-то вроде близкие... впрочем, с ними иногда бывает хуже, чем с давними.

34

Но можно еще захватить живых свидетелей, расспросить,— уже спешит подсказать кто-то. Да уж, не сомневайтесь, Антон Андреевич и этого не упустил, но энтузиазма для таких поисков ненадолго хватило. Начать с того, что старожилов и в Столбенце и в Нечайске осталось немного, и люди это были обычно не из числа тех, кто мог в дореволюционное время читать Милашевича. Пропали, переселились куда-то бывшие гимназисты, их родители и учителя, и ревнивый историк Семиглазов, первым попытавшийся создать в Столбенце краеведческий музей, и директор гимназии Стратонович, тот, что написал «Курс всемирного языка воляпюк» с хрестоматией и словарем, но успел издать лишь первую часть, исчез детский врач Левинсон, основавший здесь знаменитый приют-пансион

с передовым методом взаимовоспитания и баллотированный после революции по эсеровскому списку, растворились бесследно бывшие заседатели, акцизные, телеграфисты, инспектора и прокуроры, все, кто ходил когда-то в Общественное собрание на вечера с фантами, не говоря уже о лицах духовного звания, монахах, монашках и тому подобных. Если кого-то из них можно было разыскать, то скорее в столицах. Антон Андреевич однажды поместил в областной газете небольшую статейку с упоминанием Милашевича и просьбой сообщить, если кто о нем что знает, — откликов не было. Новое население прибыло в городки больше из деревень — среди них была и мама Антона, она переселилась в Нечайск уже после большого пожара, а отец и того позже. Да и спрашивать старожилов было немного толку. Не в том была беда, что старички эти морщили лбы и качали головами, когда им говорили про Богданова или Милашевича, местного писателя, садовода и вегетарианца. Хуже, если вдруг начинали вспоминать — как однажды однорукий Хворостинин, бывший печник. «Кондратьич, что ли? Так я его знал. Ну как же! Его колдуном звали». — «Почему колдуном?» — «А он вроде из сареевских, что-то такое умел. Знаешь Сареево? Там раньше колдунов считалось полдеревни, да и сейчас. Самый суеверный район был наш, уезд по-старому. Колдуны, сектанты. Он там у кладбища жил, в бывшем поповском доме. Поп тоже расстригой оказался, табаки выращивал». — «Постойте, у какого кладбища?» — спрашивал Антон, уже заранее тоскуя; действительно, выяснялось, что Хворостинин говорит о Нечайске, а не о Столбенце, он жил там года с двадцать четвертого, в Столбенец попал уже лишь после войны. Но Милашевич-то после революции в Нечайске не жил, печник его с кем-то путал. «Потом говорили, с макарьевцами связался». — «С кем?» — «Макарьевцы, секта жила такая в лесах. Целый город, говорят, земляной построили, их с самолета нашли. И этот Макарий, поп, то есть расстрига, у них был за главного. Они в голод, когда все тут горело, что делали? Собирались на кладбище, вырывали из могил мертвецов, которые еще свежие, варили как мясо, а потом от этой еды дурели, ну, знаешь, допьяна, и плясать пускались,

вытворяли всякие безобразия, пока сами не падали мертвые. Дикость была... А поп, говорят, в Америку сбежал, еще сейчас по радио выступает».

35

Нет, не стоит упрекать Лизавина, что он с этими попытками не слишком усердствовал. Право. Где мог, покопал и понемногу продолжал копаться — не потому, что был склонен к таким архивным разысканиям, просто из добросовестности. В нем архивной этой жилки как раз не было, он по природе предпочитал домысливать и даже к сочинительству с некоторых пор примеривался. В уме у него сложился образ захоластного самоучки-философа, проповедовавшего незамысловатую гармонию, ценившего фантазию, юмор, снисходительность и доброту, и в образе этом было столько близкого, приятного, что если уж на то пошло, не очень даже хотелось осложнять и замутнять его добавочными, да скорей всего лишними подробностями. Он даже вздрагивал, когда на печатных страницах или в документе попадалась фамилия Богданова (не такая уж редкая), и, убедившись, что это не Милашевич, испытывал облегчение. Однажды посмертно возник сразу Милашевич-Богданов, да еще в каком контексте! Лизавин увидел эту двойную фамилию (правда, без инициалов) в столбенецкой газете «Путь вперед» от 2 ноября 1930 года, которую просматривал случайно, по другой надобности; от совпадения екнуло сердце. И хорошо, если это было лишь совпадение. Статья была подписана К. Диалектический и называлась «Когти Пуанкаре в заволжских лесах». В ней говорилось про обострение классово-борьбы в уезде, поминались осужденные поджигатели 1928 года Свербеев и Фиге, а также «те, кто с помощью религиозного дурмана пытались саботировать великую борьбу по ликвидации кулачества как класса», и среди них — Милашевич-Богданов. Нет, конечно, совпадение (но двойное, надо же!). Во-первых, религиозная тематика никогда его всерьез не интересовала, тут он был (как и во многом другом) далек от модных увлечений эпохи. Во-вторых, невозможно и представить себе, каким образом Симеон Кондратьич мог иметь отношение к деревенским делам. Хотя Столбенец окружен был дерев-

нями и жизнь в нем, особенно в слободах, была полудеревенской, Милашевич крестьянской теме был принципиально чужд. В-третьих... значит, и в-третьих был ни при чем. Не стоило даже об этом думать. Разве что проверить, посмотреть соответствующие дела. Но добраться до них было посложней, чем до следственных жандармских документов. Лизавин и не пытался. После той статьи он, честно сказать, уже и вовсе не усердствовал с поисками новых обстоятельств. Лучше не надо. Не обязательно. Не монастырской историей воспитаны. Смиримся, как с данным условием, что нет больше документов. Не знаем же мы до сих пор, кем был, скажем, на самом деле Шекспир, хоть целая армия исследователей кормится этой проблемой. И ничего. Для диссертации ему, в общем, хватало; даже того, что нашел, было, по чести, достаточно, чтобы успокоить научную совесть.

36

В конце концов не об одном Милашевиче, как уже было сказано, шла в диссертации речь. Более того, Милашевич занимал там заслуженно скромное место, несравненно более знамениты были другие местные уроженцы и деятели. Например, Иван Исполатов (тот самый, которому Максим Горький писал: «Роман ваш — крепко сделан и — гордость вызывает за людей наших»), или Федоров Дмитрий, Федоров Василий (не нынешний, конечно, а тогдашний), или патриарх местный, Фомин, единственный (кроме еще Федько), который не переехал в столицу, похоронен был на своей родине в областном центре, за что и была названа его именем улица, а также школа. Об этих и материалов хватало, и сами они рассказывали о себе охотно, порой даже слишком охотно; у них оказалось в достатке времени, чтобы с годами, как это бывает, даже обогащать свою память все новыми фактами, и фактам этим вовсе не обязательно было искать подтверждения в документах (например, выяснять, каким образом Дмитрий Федоров мог участвовать в гражданской войне, оставаясь все годы сотрудником губернского Пролеткульта), но при надобности и подтверждения бы нашлись. Другое дело, что Милашевич из всех оказался Антону Андреевичу по-родственному близок, наука



тут ни при чем. Но, как постоянно напоминал Лизавину его научный руководитель Спартак Афанасьевич Голуб, кроме чистого разума есть еще разум практический. Милашевич был, как говорят на ученом жаргоне, фигурой не шибко диссертательной; не откопай Антон в его биографии революционного эпизода, может, стоило его вовсе исключить. Зато он не был обычной диссертационной темой, из тех, кого, получив диплом, больше не перечитывают, так они успевают обрыднуть. Другие были как попутчики в купе, с ними проводишь время, по возможности приятное и полезное, а все же необязательное. Симеон Кондратьич лег на душу. Некоторая невыявленность его образа не только не мешала, но была приятна воображению. Может, и наша история влечет тем же? — подумал как-то Антон Андреевич. — В других-то, каменных, сохранных, все слишком очерчено, только выписывай, к ним другой интерес; наша до сих пор не изжита, в ней провалы дразнят.

37

И надо же было случиться: когда диссертация была почти готова, Лизавина угораздило найти в областном архиве, среди бумаг, актированных за отсутствием ценности и предназначенных, судя по всему, к сожжению или, скорей, к сдаче в макулатуру, целый сундучок с бумагами Милашевича. Верней сказать, бумажками: беспорядочный набор тех самых фантиков, использованных на обороте, в них разбираться можно было не один год — хоть откладывая защиту. Теперь-то уже не грех признаться, что в первый момент Лизавин ощутил, кроме радости первооткрывателя, еще и смущение, и досаду, и странную тревогу. Эти противоречивые чувства усугублялись сомнительными обстоятельствами, при которых фантики попали в его собственность; как тут ни объясняйся и ни крути, он их, мягко говоря, похитил из хранилища — но об этом лучше рассказать особо. А тогда Антон Андреевич всерьез терзался проблемой: сообщить ли ему о своей находке хотя бы тому же Голубу. Решил пока подождать и, наверно, правильно сделал. Хотя бы потому, что уже при первом просмотре выяснилось, что никакой принципиальной информации листочки прибавить

к его диссертации не могут. Это были в основном всевозможные черновые заметки, наброски, а то и отдельные словечки, мысли, выписки и тому подобная, не всегда удобопонятная всячина, а документа — ни одного. Их можно было считать особой темой, которой стоило вплотную заняться потом, да и времени уже не было. Так он и поступил.

38

А потом чем дальше, тем больше возня с фантиками стала вытеснять другие его научные занятия, может быть, более ценные и плодотворные. И чем больше он зарывался в оберточный ворох, тем меньше в Милашевиче понимал. А главное, чем дальше, тем больше нарастало чувство неясной поначалу тревоги, неудобства какого-то внутреннего. Правда, для смуты душевной у Лизавина прибавлялось причин и помимо ученых занятий, однако ему порой казалось, что ход этой работы и обстоятельства собственной жизни связаны какой-то неслучайной зависимостью.

39

А может, эта тревога была порождена несколькими странными записями, на которые Лизавин наткнулся то при одном, то при другом разборе; непонятные, смутные, они однажды составились под его руками в нечаянную связь — и слова вдруг кольнули, будто обращенные к нему:

*Что со мной было, пока я не умер? Не помню. Это и есть смерть.*

*перемена памяти*

*зрячие, подробные пальцы слепца ощупывают темноту, выявляя в ней очертания*

*вот, вот, ты уже близко. Я чувствую, я слышу. Господи! Каждый шаг отдается во мне дрожью*

*сближает, сводит с разных концов, все ближе, все ближе... ах, только бы не пронесло!*

*столько ждать, беззвучно, не шелохнувшись*

*Так больно, так тяжело. Неужто не слышишь? Ну*

57

*вот же я, вот! Ты трогаешь пальцами вещество моей души, моего ума.*

*да не оглядывайтесь же, Господи, это я вам!*

## **2. Линии судьбы, или Сундучок Милашевича**

### **1**

Как вы хорошо в одном месте сказали, Симеон Кондратьевич: зря мы, люди пишущие, стесняемся совпадений, которые могут показаться подстроенными и слишком многозначительными. Мы сразу начинаем оправдываться, ссылаться на жизнь, где таких совпадений куда больше, ведь в самом же деле, сплошь и рядом. Да еще не на все мы обращаем внимание, они там для нас ничего не значат, бессмысленные, тогда как в литературе нагляден замысел и умысел. Но ведь, оборачиваясь на прожитое, мы и в переплетениях судеб можем выявить будто бы некий узор, оформленный, как оформлено все в живой и неживой природе, заставляющий думать: не сходятся ли доступные нам представления о смысле и красоте в некоей изначальной общей точке? Другой вопрос, существует ли он взаправду, этот узор. Для кого как, — отвечают некоторые. Быть может, совпадение вознаграждает способность уловить среди мировых шумов обращенный к тебе голос, даже если ты сам не понял этого? Бываем же мы гениальны в любви, когда единственное слово или даже движение порождает необъяснимый отклик, но если он не состоялся, значит, слово не угадано и любви нет, развеялась в воздухе. Чтобы удостоиться отношений с судьбой, надо, быть может, верить в нее. И если у тебя из-под носа ушел трамвай, будь внимателен: не без умысла ли подсунут тебе следующий; хорошо, если душа окажется в нужный момент чуткой и напряженной. Впрочем, это хорошо в любом трамвае, да только быть чутким все время не хватает сил. И тогда с трезвой усмешкой мы признаемся, что смысл и узор вообще лишь привиделись нам задним числом, что связный сюжет жизни — уловка малодушного ума, а на деле есть навал обрывков, есть бред умирающей старухи, которая лишь думает, будто объ-

ясняет что-то, и женщина, которой ты в единственный миг не заметил, дожидается не тебя — почему? стоит ли в самом деле искать смысл, причину, вину, возвращаясь вспять по цепочке нелепиц и совпадений, которая изменила твою жизнь, может быть, уже тогда, когда ты по ошибке сунулся не в ту дверь и набрел на сундучок, сгустившийся из литературного сна?

2

Искал тогда Антон Андреевич в областном архиве совсем другое: сведения о столбенецком поэте-самоучке Ионе Свербееве, деятеле Нечайской республики. Про эту республику Лизавин тоже не знал ничего, кроме названия, но в каталоге ему случайно попалось упоминание о папке с относящимися к ней документами (1918—1919 годов), он захотел ее посмотреть — и почему-то ему ее сразу не выдали. Главное, хоть объяснили бы толком причину — нет, как всегда, нужна была многозначительная уклончивость: дескать, подождите, там кое-что сперва надо посмотреть, выяснить. И вот что еще интересно: он ведь без этой папки мог вполне обойтись, прямого отношения к его теме она скорее всего не имела, — но поди ж ты, настаивал, хотя всей кожей неприятно ощущал уже настороженность хранителей местного исторического сырья к постороннему, который зачем-то вздумал лично коснуться необработанных и возможно небезвредных для здоровья залежей. Зачем? для какого умысла? не проще ли обратиться к уже извлеченной, обезвреженной и даже полезной продукции на искомую тему, продукции, которую поставляют профессионалы, имеющие проверенный иммунитет для работы с сырым веществом? Впрочем, может, все это ему и почудилось. Воспитание Антона Андреевича, увы, начиналось в годы, когда и газеты старые выдавали в библиотеках не сразу, требуя объяснений и письменных подтверждений. И хотя сейчас Антон имел, что предъявить — на бланке, подкрепленном официальными печатями и подписями, с этой последней папкой его мурыжили полтора месяца, а он все не решался потребовать объяснений более внятных.

Какое там требовать! Лизавин испытывал в этом здании необъяснимую робость. Она начиналась уже в прихожей бывшего особняка с фанерной стенкой между ободранными колоннами, где всегда дежурила женщина-милиционер пугающей гренадерской комплекции. То есть, конечно, не одна, их там сменялось несколько, может быть, взвод кариатид, но все, как на подбор, таких же стáтей, с могучими бюстами под синим форменным сукном, сержантскими лычками на ватных плечах, яркими, в общий цвет крашенными губами. Эта одинаковость породы и помады, портупейная сбруя, блеск хромовых сапог вызывали почему-то мысль о казарме ампирно-конюшенной архитектуры. Ему было совестно за это ничем не обоснованное видение, но духи их пахли лошадиным потом, волосы уложены были у всех в сетки по моде сороковых годов — как будто с тех пор и несли они неженскую свою стражу, не старея, не рожая детей, лишь разбухая и раздаваясь. Годы спустя, когда милицейская кариатида явилась страшилищем его снов, одно детское воспоминание объяснило Антону исток этого страха. Душный запах обволакивал его, предьявлявшего пропуск и раскрывавшего для проверки папку; он не проходил, а протискивался мимо, весь как-то уменьшаясь, съеживаясь, с чувством, будто великанша может всего его при надобности промять, прощупать и только пока пренебрегает его ничтожеством.

Кто хочет, волен конечно же посмеяться над пугливым воображением провинциала, воспитанного для занятий скромных и непритязательных. В оправдание свое Лизавин мог бы сказать, что в других хранилищах он подобных чувств не испытывал. От себя добавим, что такого рода пугливость родственна воображению, она им рождается и его поощряет, так что может иногда обернуться художественным достоинством. Но вообще — что говорить! Антон принадлежал к разряду людей, которые, постучав в дверь и даже легонько, но безуспешно толкнув ее, поворачивают обратно или ищут другой проход. Особенно если на двери

висит какая-нибудь строгая табличка. Хотя дверь надо было просто потянуть на себя, а табличку эту, может, повесили временно Бог знает когда, да так и не позаботились снять — она вроде ископаемой надписи, предупреждающей богатырей о запретной, но потому и соблазнительной дороге. Где те богатыри? а новые сами знают, куда и как сунуться. То-то и оно — Лизавин к их числу явно не принадлежал, такие, глядишь, и влезают в дурацкие приключения. Будто вдруг припекло, вот ведь что интересно. Все-таки о диссертации шла речь, о кандидатской степени, а значит, о хлебе насущном — так он распался сам себя, презирая собственную слабость, и эта взвинченность стыда, пожалуй, больше сомнительных доводов о хлебе способствовала дальнейшему. Словом, он толкнул, наконец, плечом указанную ему служебную дверь с запретной скрижалю — и то ли в самом деле ошибся, то ли не дослышал дальнейших объяснений, но очутился не в кабинете, а в неопределенном коридорчике или предбаннике, из которого вели две другие двери. Постучал в левую — оказалась заперта, открыл правую, по инерции спустился с трех ступенек... Вот тут бы ему надо было, конечно, вернуться, переспросить, но он прошел ещё в надежде встретить живую душу, а когда надумал вернуться, за спиной, как теперь помнится, оказалось сразу три двери, и он не был уверен, в какую лучше идти... — ах, как выходило неловко, досадно, нехорошо, одна теперь забота была — выбраться, но, увидев на горизонте фигуру местного служителя, окликать постеснялся, не хотелось объяснять, как сюда попал, не стоило привлекать слуха кариатид, как-нибудь сам... вот три ступеньки вверх...

5

*вот, вот, ты уже близко. Я чувствую, я слышу. Господи! Каждый шаг отдается во мне дрожью... сближает, сводит с разных концов, все ближе, все ближе... ах, только бы не пронесло!*

6

Да, теперь-то, Симеон Кондратьич, когда заранее знаешь, что вы друг друга нашли, в самом деле

представляешь себе, как некий воспетый вами глаз с красными сырыми прожилками следит за блужданиями нелепой фигуры по запущенному лабиринту: вот не туда было подался... но нет, вернулся... еще немного, Антон Андреевич, уже теплей, теплей... и даже дверь, спружинив, с грубоватой бесцеремонностью подталкивает заколебавшегося было странника в спину. По темным служебным внутренностям, как будто вглубь. Грязные окна по брови уходят в асфальт, на голых кишках, на отопительных сосудах набухают капли. Под ногами хрустит осыпавшаяся известка. Может, кто-то даже и заметил его, но не обратил внимания, такой у него был интеллигентный, свой вид. Курточка, галстук, борода, папка в руках... Нет, папки, помнится, не было. Но не оставил же он ее в читальном помещении? Ничего не оставил, ничего у него там не пропало. А и прийти без папки не мог. Или мог? Вот ведь, Симеон Кондратьич, поди суди о достоверности чужих свидетельств, если сам спустя всего лишь несколько лет не можешь твердо сказать, была ли у тебя тогда в руках папка. Да и борода вроде еще не было... но это можно уточнить по датам. А вот чувство свежо: стоит и сейчас прикрыть глаза — будто во сне. Хруст шагов отдается эхом. Лицу неприятно ощущение липкой паутины — она была прозрачна, как здешний воздух, и зарастала тотчас же за спиной. От стеллажей сбоку пахнет карболкой тифозных бараков. Залежи папок, сплюсненные черепа. Вдруг что-то скребнуло в плечо, споткнулся, вздрогнув, о банную шайку, подставленную на полу под капель — теперь осталось сделать еще несколько неверных шагов, чтобы увидеть перед самым носом такую же шайку в медвежьих когтистых лапах и услышать недовольный голос:

— Явился, наконец!

7

Медведь стоял на задних лапах, облезлый, похожий на дворника, в островерхом матерчатом шлеме на голове и с козьей ножкой в пасти; шайку он держал перед собой, как блюдо старинного гостеприимства. Окна в полукруглой зале на треть забиты фанерой. За спиной медведя высился громадный глухой шкаф

с приклепленной к дверце афишей: «Волшебный фонарь. Вечер удивительных сенсаций и иллюзий в натуральную величину». На шкафу был виден сам этот фонарь, а еще пыльный стеклянный цилиндр с рукописной надписью на бумажке: «Человеческий мозг в спирту». Ни того, ни другого в банке, однако, не осталось, только усохший комок неопределенного цвета прилип к стеклу. Остальное пространство было загромождено кипами бумаг, папок, газет, перевязанных бечевками и сваленных одна поверх другой прямо на полу, как в пункте приема макулатуры. Спрессованное собственной тяжестью, это слоистое вещество слипалось в одну неразделимую первобытную массу, кое-где оно оползло, как тесто. Зеленый налет был на всем. Прозрачные мокрицы слизывали следы выдавленных чернил, имена незнатных жителей земли, от которых не оставалось теперь даже голосов; копошились внутри трупные черви, превращая в труху остатки жизни и загадки смертей, шепотки доносов, задушенные вопли, объяснения в любви — все исчезало бесследно, как не исчезают даже людские тела, а разве что гриб, не оставляющий после себя и твердой косточки. Подгнившим временем пахло здесь, заплесневелой порченной памятью, мышинным пометом и отсырелым водочным перегаром. Не эти ли запахи чуял Экклезиаст, говоря о земной тщете?

8

Но все это мы ощутим потом, когда немного придем в себя. Вначале же Антон увидел лишь плохо выбритое болезненное лицо служителя в сером рабочем халате.

— Почему один? — спросил тот. Красные глаза его были подернуты мутной пленкой служебного безумия. Лизавин открыл рот, чтобы ответить, но на служителя напал вдруг неудержимый чих. Должно быть, мучился, бедняга, аллергией от несовместимости со здешним воздухом. Где-то вдали насторожилась, наострила уши кариатида. — Пр-р-так, — мотнул головой служитель, избавляясь от последнего приступа и вытирая нос полой халата. — Каждый раз одно и то же. Как хочешь, начинай пока один, ждать некогда. Да тут немного.



И прежде чем Лизавин успел осмыслить его слова, он продемонстрировал будущему кандидату наук всю бредовую простоту ситуации — безо всякого ключа открыл высокую дверь, выходящую прямо во двор, как анальное отверстие, которое есть ведь и у кариатид наряду с недремлющим скульптурным зрачком. Впри-тык к дверям, задом стояла телега. Возница равнодушно сидел спиной, ожидая погрузки.

— Вон из того угла носи, — сказал человек в халате, и Лизавин, представьте себе, принялся таскать пачки, заменяя или оттягивая этой нетрудной помощью объяснение, даже с глупым, почти благодарным чувством, что эта деятельность как-то оправдывает его проникновение в запретные места и зачтется в случае чего.

9

Как он углядел среди этих оползней свой сундучок? Теперь даже не вспомнить, что его потянуло в ту сторону. И он сам поначалу не понял даже, что узнал этот футляр от швейной машинки «Зингер», только поплотще, эти зеленые от плесени гвоздики и латунные уголки, будто виденные во сне, в беспамятном младенчестве или еще до рождения — ложное воспоминание о не виденном никогда. Замка на сундучке не было, деревянная ручка полуоторвана. Стенки с двух сторон как будто испачканы черным — обгорели. Из-под крышки высвободился нездешний запах, хранившийся Бог весть сколько лет: запах лампового керосина, гари, клопов, запах болезни, забвения, прели, сухих, но уже подгнивших трав — проба воздуха, нечаянно попавшего сюда на хранение, вздох исчезнувших времен, а может, и частица дыхания того, кто наклонился над сундучком последний раз, закрывая его наглухо... — приготовиться бы заранее, уловить в пробирку, чтобы потом вникать в состав, способный много сказать душе... Неужели и это прибавило воображение после, когда он, сидя над бумажками, вспоминал, как увидел их впервые? — трезвый ум требовал предположить, что сундучок уже открывали, должны были открыть хотя бы для того, чтобы решить судьбу содержимого. Но либо здесь неуместен трезвый ум, либо остатки запаха все же держались, как держалась в углах пово-

лока седой паутины, в ней невесомые мумии двух паучков — верные до конца стражи уцененных сокровищ. Несколько фантиков были перевернуты исподом вверх, и почерк заставил сердце Лизавина вздрогнуть.

10

Когда он обернул к служителю растерянный взгляд, тот пил лекарство из медицинской мензурки с делениями. Щетина на его щеках успела стать заметнее.

— Чего нашел? — неустойчивые кроличьи глаза восприняли наконец Антона. Взял из медвежьей пасти сигарку, пососал, не закуривая, и вернул обратно. Запах спирта, испарившегося, должно быть, из цилиндра и уже испорченного в перегар, понемногу перебивал все прочие. Обостренный сыростью, он щекотал ноздри, и Лизавин не сумел ответить — теперь вдруг на него напал чих.— Что за сундучок? — наклонился тот над крышкой. Изнутри она была тоже оклеена разноцветными фантиками, они заменяли обычные картинки провинциальных сундучков.— Инвентарного номера нету? Ну, не трожь пока, оставь. Хотя сбоку горелый...

— А-а,— беспомощно показал Лизавин внутрь, на содержимое, но закончил столь же беспомощно: — пчихи!

— Собираешь? — без слов понял служитель и взял в пальцы несколько фантиков.— Так они ведь испорчены. На обороте-то.

— А-а,— продолжал мучиться Антон Андреевич, и, удивительное дело, собеседник понимал этот его язык даже лучше членораздельного, как собственный, проникая помимо слов не то что в мысли (Антон о таком и не думал), а в подсознание.

— Ну, бери, если нужно. Тогда здесь вынеси, там могут не пустить. А сундучок пока оставь. Тара у тебя есть своя?

11

— А-а,— приступил Лизавин, но от неожиданности или от чего другого не закончил — чих прошел так же внезапно, как начался... То есть какая могла быть тара в святилище, куда запрещен был для проноса любой

портфель? Антон вспомнил, однако, про сетку-авоську, которую всегда носил в кармане для магазинных okazji. Фантики, освобождаясь, расползались, как опара. Вдвоем запихивали их, сосредоточенно сопя друг другу в лицо перегаром, сталкиваясь лбами. (Ах, кому не знакома эта способность хмелеть от чужой выпивки и заразиться чужим безумием! У некоторых она бывает развита до смешного.) Под фантиками показалась сложенная вчетверо афиша, она очень пригодилась для обертки, потому что бумажная мелочь продавливалась в ячейки сетки. Время со слезным звуком капало в таз, в отдаленной конюшне еще не почувяли тревоги, но Лизавина сосала тоска сомнительной авантюры, в которую его вовлекал непонятно кто и непонятно зачем. Сказать бы, чтоб это оставили здесь, и потом здесь поработать... Но с другой стороны, кому это покажется ценным, кроме него? Сожгут. Неизвестно чья ерунда. Тут завалы посерьезней не освоены. Если спросят, скажу, как было... мол, заблудился, попросили, я не смог отказать, я плохо умею отказывать... Господи! сочинить можно правдоподобней, а это выглядит прямо как сюжет Симеона Кондратьича. Нехорошо. Лучше что-нибудь другое, ну, скажем...

12

Дверь захлопнулась, скрипнув, за спиной. Коза, привязанная к колышку, обдирала кору с сухой липы. Большая лужа натаяла посреди двора. У сарая лежали остатки истраченной за зиму поленицы. Лишай заледенелого снега еще держались в тени. Процокала по булыжнику лошадь. Возле покосившихся ворот на заборе трепетали полуоборванные ссѣхшиеся объявления, афиша с тонконогими буквами заголовка в черных тяжелых калошах по моде начала века.

13

**«МАССОВАЯ ВСТРЕЧА 1923 ГОДА**

*начнется в 12 часов ночи по сигналу оглушающего взрыва заряженного динамитом прибора и светло горящего над городом фейерверка.*

*На площадь Свободы (бывш. Торговая) движется украшенная темным цветом и черными флагами с лозу-*

нгами важнейших событий 1922 года повозка. На ней сидит фигура, изображающая дряхлого старика (старый год). Фигура громким голосом объявляет прошедшие события 1922 года. Участвующие массы шумными овациями провожают фигуру. Звучит погребальный салют: три залпа ружейных выстрелов. После салюта от клуба имени Красного героя товарища Перешейкина по тому же пути медленно движется ярко разукрашенный красными флагами и лозунгами предполагаемых важных событий 1923 года автомобиль. На нем стоит светящаяся фигура юного мальчика. Фигура громким голосом объясняет события, намеченные в 1923 году. Собравшиеся принимают ее овациями и криками «Ура!»

### «ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях урегулирования жилищного вопроса предоставить всем гражданам, проживающим в частновладельческих домах, право самоуплотнения до 15 апреля с. г. с тем, чтобы на каждого жильца приходилось не более 16 кв. аршин.

За сокрытие жил. площади — штраф 300 руб. золотом или принуд. работы до 1 мес.»

«Ввиду того что вывешиваемые плакаты, воззвания и объявления беспощадно срываются и уничтожаются как контрреволюционными элементами, так и бессознательными озорниками, предупреждаю, что лица, виновные в уничтожении плакатов и постановлений, будут арестовываться и предаваться суду.

Начальник милиции АРЕСТОВ»

### «ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗ!

Шпагоглотатели, кармановыниматели и все, на что способны и никогда не были способны работники искусств!

Босяк Райский будет ходить по потолку и угадывать желания публики.

Бояны революционных песенок Ваня и Миша Терентьевы исполняют куплеты на злобу дня.

Прибывший из Владивостока багажом непобедимый борец Сацира-Сакура вызывает желающих на поединок. Пока записалась Соня Светлова. Кто следующий?»

Афиша и несколько объявлений, заскорузлых от грязного клея, кое-где ободранных с мясом, свидетельствовали о коллекционерском азарте. Об этой самоотверженной страсти заставляли размышлять и некоторые фантики. Около десятка из них, например, имели надпечатки денежных талонов, вернее, именно безденежных, они так и назывались: «Талон на безденежную выдачу» — хлеба (5, 10 и 20 фунтов), дров, керосина, ржи, каждый со своим рисунком; особо были детские талоны на патоку (тянучка «День Ангела» с изображением знакомого херувима и стихами:

Будет жизнь твоя сладка  
И щедра наша рука).

На каждом талоне указывался срок годности — на единственный месяц — январь, февраль или март (годом пренебрегали); то есть, чтобы оставить его в коллекции, надо было, возможно, отказаться от продуктов. Впрочем, талоны могли быть просрочены или недействительны, могли быть только заготовлены, однако не пущены в оборот, и все же вид их наводил на память рассказы о чудаках, предпочитавших бедствовать и помирать от голода, но не менявших сомнительные свои сокровища на хлеб насущный. Если угодно, вот еще духовный всплеск: на фантичном боне ценой в тысячу рублей дарственная надпись: «*Дорогой Роксане на долгую память*». На обороте — черноволосая красавица с лейкой из популярной песенки ушедших лет:

А наутро она уж улыбалась  
Под окошком своим, как всегда,  
И рука ее нежно изгибалась,  
И из лейки ее текла вода.

Упомянем также отстуканный на машинке фантичный билет «На прослушивание радио в течение 2 мин., цена 1500 руб.», фантичный мандат «Нечайского санитарного диктатора», а из бумажек другого рода — обрывок чьего-то памятного списка со словами: «*Об исцелении рабы Божией Евфимии, о замужестве Сте-*

паниды, для Меланьи о разрешении от бесплодия, для Федора Иваныча о защите от притеснений (и новом котле)», четвертушку из именного блокнота с виньеткой почему-то в виде палитры и кистей (очевидно, другой не нашлось в запасе типографии), прочесть можно было только:

Губернский  
тов. Карл  
уполномоченный  
по борьбе

На обороте неизвестной рукой были выписаны в столбец четыре крестьянских фамилии (*Меринов Федот, Загребельный Иван, Губанов Илья, Викулов Пров*). Вообще же все чистые обороты листков, даже иногда с переносом на сторону с рисунком, были заполнены почерком Симеона Кондратьевича. Видно, в какой-то период бумажки подбирались им не только из коллекционерского интереса, но еще из нищенской нужды.

16

Об этой нужде свидетельствовала и старая, почти выпотрошенная амбарная книга купца Басалаева; в сущности, там оставалось четыре листа, и то оборванные. На первом еще шел хвост старого списка, который начинался рожью, а заканчивался далматским порошком от клопов. Тут же, в конце листа, рукой Милашевича были выписаны несколько неизвестно к чему относящихся заголовков — возможно, перечень неосуществленных замыслов: «*О словах, или Начало новой веры*», «*Ум цветка, или Попытка счастья*», «*Федор Иванович и Гертруда*», «*Ковчег, или Камень еще пригодится*», «*Утраченный сад, или Божья хитрость*» и т. п. (Симеон Кондратьич любил старомодные двойные именованья.) Последний заголовок, между прочим, перекликался с названием упоминавшегося ганшинского трактата, но непонятно, какое он имел к нему отношение. Еще менее понятно, что значил тот же «Утраченный сад» в другом списке, на следующей странице. Несмотря на оборванное начало, ясно было, что Милашевич составлял здесь черновую опись предметов, сохранившихся

в разоренной ганшинской усадьбе ко времени создания в ней музея (фламандский кабинет, декорированный черепашкой на фольге, данцигская резная рама от зеркала и т. п. — вплоть до какой-то мерной линейки с насечкой). Разными чернилами и, очевидно, в разное время в этот список добавлялись предметы, которые Симеону Кондратьевичу удавалось разыскать по деревням; среди них граммофон фирмы «Пате», а также машинка для тасовки игральных карт, мухоловка с часовым механизмом, чесальная ручка для спины (против этой ручки стоял знак вопроса, а на другой странице можно было прочесть о ней небольшой сюжет); и, наконец, этот самый «Утраченный сад» с пометой в скобках: «3 куска». Эти «3 куска» окончательно сбивали с толку; ну, да и Бог с ними. Полстраницы занимали в книге маловразумительные записи беглых садоводческих наблюдений: «27 апр. № 2 семядольки, № 4 нет всходов» — и т. п. Кроме единственного художественного обрывка, особого интереса ничто в этой книге не представляло, и Лизавин довольно быстро отложил ее в сторону.

17

Упомянем также чье-то письмо на четырех листках хорошей бумаги, исписанной с обеих сторон крупным ровным почерком с просторным воздухом между строк. Начало и конец с указанием адресата и подписью отсутствовали, но по содержанию вычитывалось, что пишет мужчина к женщине, с которой встретился неожиданно после двадцати лет разлуки; когда-то их связывали сложные, видимо любовные, отношения, но потом он женился на другой, она тоже вышла замуж — письмо звучит как запоздалое объяснение «вдогонку, после прощания». (*«Мы ухитрились при встрече даже не задать друг другу вопросов, которые висели в воздухе».*) Тут любопытна сама ситуация встречи: женщина, как можно понять, в замужестве сменила фамилию, и он, приехав к ней, должно быть по делам, не предполагал, кого увидит: *«Я, видимо, оказался растерян, просто не готов к такой встрече. Фамилия, которую я знал по бумагам, с тобой не связывалась никак. Прими, кстати, запоздалые поздравления, за все годы сразу. Я даже это упустил сделать».* Похоже, что

и после двадцати лет встреча вызвала в нем смятение, отчасти комичное: «Почему я не остался хотя бы на ночь?» — считает нужным оправдываться он и сам называет свое поведение «бегством». Из письма возникает образ усталого, ослабевшего, но когда-то, видно, незаурядного человека, дореволюционного эмигранта, не нашедшего места в новой жизни; он рассказывает о своем не слишком счастливом и не слишком долгом браке — все прошло, жизнь не сложилась, бывшая жена и сын теперь неизвестно где, но он никого не винит, ни о чем не жалеет. Ну, и в том же духе. Лизавин так и сяк пробовал примерить это письмо: не Александре ли Флегонтовне оно адресовано, — нет, не сходилось. Возможно, Милашевич хранил его, собираясь как-то использовать в литературных целях, сказать трудно. Ни к каким известным сюжетам и обстоятельствам его жизни оно явно отношения не имело, а потому, увы, пришлось отложить его в разряд посторонних.

18

Чтобы покончить с разделом сравнительно крупных бумаг, из чисто научной добросовестности (право, не знаем, что посоветовать тому, кого такой ученый уклон вгоняет в скуку; разве что пролистнуть сразу дальше; но Лизавин-то себе этого позволить не мог), — итак, опишем еще мятую, замызганную, белыми нитками сшитую тетрадку in octavo, без обложки, опять же без начала и конца. Эту Милашевич подобрал разве что из любви к курьезам. Почерк коряв, как будто пьян, буквы чем дальше, тем все крупней и невразумительней, чернила грязные, слабые, кое-где почти невидимые, заменяются со второй страницы химическим карандашом, но он грязен еще более (там, где употреблялась слюна), а где слюна не употреблялась, совсем плохо различим. Поверхностный взгляд на эти строки, почти без знаков препинания, заставлял предположить в писавшем человека не шибко грамотного, но чтение наводило на мысль, что он был скорей — как бы это сказать помягче — не вполне умственно благополучен. *«Если нарисовать молекулу она устроена как планетная система Или атом забыл Неважно Представим что на планетах невидимых как- на нашей кишит*



*жизнь...»* Какой-нибудь местный Циолковский. Добавим, что страницы были перепачканы и склеены какой-то коричневой гадостью, без запаха, правда, но все равно можно понять, почему Лизавин брезговал даже расклеивать их. И зачем, собственно? С трудом разобрал он на последнем обрывающемся каракули: *«межзвездная пустота нагромождение камней Нужна все время энергия...»* Надо бы это вовсе выбросить, но Лизавин все не позволял себе — из упомянутой добросовестности, надеясь когда-нибудь все же прочитать, преодолеть брезгливость. А может, из жадности — он тоже любил курьезы.

19

Перейдем к вороху, покопаемся вместе с Антоном Андреевичем — хотя бы бегло; что делать, без этого не понять дальнейшего. Неровности и заусеницы от ножниц, различные невооруженным глазом, свидетельствовали, что фантики нарезались иногда от руки или отрывались по сгибу из крупных полос, вроде тех, на которых печатался одно время «Поводырь» — четыре картинки в ширину, а в длину сколько нужно. Это подтверждало мысль, что Милашевич для некоторых целей сам предпочитал мелкий формат, а не пользовался им вынужденно. Исписаны листки были то густо и мелко, хорошими чернилами, пером тонким и твердым, какими сейчас не пользуются, и, очевидно, в домашнем уюте, то явно кое-как, на ходу, а может, и на тряской телеге, химическим наслюнявленным карандашом и почерком соответственным; вся запись порой состояла из оборванной, для себя, полужаза (с маленькой буквы и без заключительной точки) или даже единственного невразумительного слова. Были бумажки испачканные, как будто подобранные с земли, а к одной пристал засохший кусочек несомненного навоза; на ней, кстати, значилась загадочная и не совсем приятная надпись незнакомой рукой: *«От Троцкого»*. Немало листков было помято; это заставляло вспомнить поэта, хранившего рукописи в знаменитой наволочке, на которой спал. Симеон Кондратьич наверняка предпочитал спать удобнее, но к такому сравнению располагали некоторые собственные его пассажи.

«Мысль, застигнутая врасплох, впечатление, пойманное на лету... нет, не пойманное — в пальцах осталось перышко, а то и пушинка. При методичности можно собрать из них подушку или даже перину — перышко к перышку, отборную».

«Можно накопить перышек и составить чучело, совсем как живое, — варьировалась та же мысль на другом фантике. — Нет, жизни-то в нем и не будет».

Это звучало как философствование о жанре, достаточно уже известном — жанре коротких фрагментов, остановленных и укрупненных мгновений. Симеон Кондратьич со своим пристрастием к лупе явно знал в нем толк. На фантиках встретишь и осу в жарком колоколе цветка, и нежную пыльцу на тычинках, и стук ложечки о стакан, шорох конфетной бумажки, муху в варенье — радости провинциального чаепития; гудит печка, колеблется в плошке фитиль, огонек, отражаясь в стекле, переносится во внешнее пространство, будто надеется обогреть его даль. Все приобретает значительность, укрупняется: глоток горячей жидкости, шаг на улице, домашняя стирка, *гроздь пены в тазу* и еще мельче: *перепонки пены*. На ту же тему были и некоторые обрывки мыслей, вроде, скажем, такого: «*Даже не слово, а возглас, междометие, попытка слова. Евангелия составляют потом ученики*». Или: «*ты все можешь принять, все вместить: небо, траву, клумбу и растекшееся солнце*»... — дальше целый перечень, который можно опустить; но не о том же ли это самом: о возможностях фантичного жанра?

Однако далеко не все фантики поддавались толкованию в духе сознательного жанра, вообще какому-либо толкованию. Отчасти тут был род записной книжки, инструмент и документ повседневной многообразной работы, плод литераторского рефлекса, когда прихватываешь для надобностей или впрок всякую попутную мелочишку. Иногда Лизавин живо себе представлял, как этот библиотекарь в пенсне, в толстовке и со шнурком вместо галстука достает из оттопыренного нагрудного кармана коробок (или, допустим,

портсигар), набитый фантиками, и, отделив один, делает выписку из газеты; как он, в сапогах и белом картузе, сняв с химического карандаша жестяной наколечник, останавливается по пути у забора, чтобы переписать стишок или на кладбище надпись: «Здесь упокоен бывший раб Божий, а ныне свободный божий гражданин Никита Фокин, проживший до своей смерти без перерыва 42 года»; как он на базаре, на собрании, на ходу, задумавшись и забыв согнать муху со вспотевшего лба, заносит на листок мелькнувшую мысль, подробность, словцо,— повседневный мусор жизни...— и что же делает с этим дальше? придя домой, бросает в сундучок? или как-то использует? может быть, как материал для той самой книги, о которой говорил Семеке?

22

В иных фантиках явно можно было увидеть черновые наброски к неизвестным, а иногда знакомым сюжетам — уточненную деталь, поворот действия, реплику персонажа. Вновь возникало видение памятной лужи: «Плот подплыл, мы на него всходим, и кормчий нас ждет. Осторожно, говорю я, не отступись». Как будто Милашевич примеривал продолжение, торжественный эпилог к давнему рассказу, с возвращением и сбывшейся встречей: «Ну вот, говорил, еще будем чай пить?» — есть и такая строка. Кстати, мы забыли еще раз упомянуть листок (не фантик) с записью о выстреле Гаврилы Принципа и херувимского вида мальчике: так вот, очень похожий малыш появляется несколько раз на фантиках: то играющим среди цветов и трав, то в серой левинсоновской курточке, то есть форме столбенецкого свободного пансиона; слюнка любопытства и самозабвенного усердия стекает с детской губы. Собирался ли Милашевич развить неясный сюжет? Сказать невозможно, как невозможно бывает понять, кого обозначает на фантике первое лицо. Некоторые фразы передают ощущение то ли ребенка, то ли просто человека маленького роста; кто-то ходит в сапожках с каблуками внутренними, скрытыми, высокая шапка помогает казаться почти вровень с другими, кто-то тянется на цыпочках, дергая дверную ручку вниз — на себя с трудом удается. «В сумерках колени больших

*людей, незнакомый запах, в голой руке приближается пряник, сладость глазуриной корочки на языке, и через дверной проем из полутемной прохлады снова в кипящий свет». Что это? Конечно, ощущение детства, мгновение непонятого счастья: ребенок с улицы вошел в комнату, его угостили пряником, неизвестно кто, ему и не надо знать, знание не даст такого сияния чуда. Но кто этот ребенок? Сам Симеон Кондратьевич? Или тут просто очередной опыт «переносного глаза»? О собственном детстве, о семье, о матери Симеон Кондратьевич прямо нигде не вспоминает; можно предположить у незаконнорожденного сиротское, не слишком счастливое детство — не потому ли Милашевич предпочитает связной истории мгновения, изъятые из связи? — в таком остановленном качестве они скорей могут дать желанное чувство. Фантики, помимо всего, демонстрировали странное, но довольно последовательное отношение этого философа ко времени.*

23

Если бы можно было хоть представить себе хронологический порядок записей, из них, глядишь, само собой сложилось бы нечто вроде движущейся картинки, и мы ощутили бы какую-то цельность жизни в ее развитии. Но даже садоводческие невнятные заметки в амбарной книге, отмечая числа и месяцы, годом пренебрегали — что говорить о клочках. Сам способ ведения этого, с позволения сказать, дневника характеризовал именно художественно беспорядочную натуру, а не точного естествоиспытателя. О датах кое-где можно было судить лишь косвенно, например, по надпечаткам на обороте фантиков. Так, надпечатка на «Опохмельной» — «Долой пьяный угар» позволяла датировать запись не ранее чем годами нэпа. На «именинной» карамели «Вера» 30 сентября было исправлено типографским же способом на 27 июля, и Лизавин совершенно случайно сумел расшифровать смысл этих новых святцев: в «Поводыре» за 1923 год ему попался призыв праздновать именины не в честь сомнительных святых (вроде неизвестной гречанки Веры), а в дни рождения известных революционеров, например Веры Засулич. Встречались косвенные указания иного рода. Взять, скажем, начало переписанного

откуда-то стихотворения: «Уже идет девятый год Как мы имеем всех свобод» (на обороте карамели «Юбилейная»). Ясно, что это 1926 год. Ну и что с того? Нет, в этом невнимании к датам была своя система; о том же говорили и некоторые записи, которые можно было даже сгруппировать под общим заголовком.

## 24

### О времени

*Длительность времени создается веществом жизни, которым это время заполнено. Для души и памяти вечность неотличима от мига, в ней все присутствует одновременно.*

*Что это за тикающий механизм, который навязывает нам движение только в одну сторону? Мы поддаемся привычной инерции, даже не пробуя вникнуть: а почему, собственно? нельзя ли иначе?*

*Что, если наше устройство ума не единственно возможное, и последовательность нумерованных чисел условна?*

*Протянул руку — когда это было? И вот ладонь оперлась на мою. А что вместилось между началом движения и концом?*

*всей нашей жизни — четыре времени года, детская карусель*

*Семь старых рублей сейчас на миллионы считают. Так и семь Божьих дней переведи по научному исчислению.*

Последняя запись, кстати, поддавалась косвенному, хотя и приблизительному датированию. К ней можно было присоединить еще вот такую: «*время, когда берешь в долг пятьсот рублей, а через неделю вынужден отдавать миллион*»; она, помимо прочего, передавала характерное для Милашевича ощущение разорванных связей, усугубленное революцией. Подбиралось еще несколько подобных фантиков, где время описывалось по приметам: «*легендарное время, когда в дальних деревнях бутылку продавали за полтинник, а в ближних и того дешевле*»; «*время, когда не вырабатывалось*

новых вещей, а шло проживание, латание и переосмысление старых». Или такой: «Это было в год, когда Голгофер снова стал шить кошельки». Эпический зачин без продолжения; найти ему место — значило его понять, как и такой, скажем, образ: «место преступления перед временем». Или еще короче: «брызги времени». (Между прочим — не о самих ли это фантиках? Стоило поразмыслить.) В одном перечислении упоминались часы без стрелок — что-то из гипотетического рассказа. Иные строки давали Антону Андреевичу, так сказать, повод для медитации. Например: «конца нет, начало искать бессмысленно». Можно было сопоставить эту запись с другой: «По цепочке порождающих причин доберешься до основания мира, а все равно ничего не объяснишь» — и увидеть здесь убеждение человека, который отказывается думать о происхождении, связях, истории, искать в них истоки настоящего, как отказывается думать о смерти... Но можно было в первой фразе увидеть просто замечание о тетрадке без обложки, то-то и оно...

25

Антон Андреевич обзавелся двумя десятками картотечных коробков и постепенно рассовывал в них фантики, выделяя такого рода подборки. Например, диалоги, зарисовки пейзажные («Воздух настоян на винных парах, от одного дыхания кружится голова») или портретные (среди последних встретилось, между прочим, и знакомое отражение грустного обезьяньего личика, словно автор поспешил выбрасывать однажды найденное и приберег для нового употребления вместе с горячим самоварным боком), афоризмы («Чужая слюна — плевок»), заметки на садоводческие темы, включая ботанические приметы и суеверия («Столетник увял — к чьей-то смерти») и на темы вегетарианства. Особый коробок понадобился для всяческого фольклора, в том числе записанных анекдотов и разных стишков — от рифмованных призывов:

«Чтобы избежать холеры муки,  
Мой чаще хорошенько руки»,—

до длинного пророчества, начинавшегося строками:

«Близок, близок этот час,  
Бездна вод обступит нас»,—

и до строфы из романса:

Надо прежнее забыть,  
Больше некого любить,  
Больше некого искать,  
Лишь друг друга приласкать.

Был раздел литературных заметок (*«Вот то-то. Не в первый раз та же история. Или ты зажмурься, тресни, ослепни — или признавай, черт возьми, реальность, отражай, что показывают»*), были очевидные выписки и цитаты (*«Можно ли видеть дерево и не быть счастливым?»*. *«Они жили счастливо и умерли в один день»*). Выделилась, скажем, целая подборка о запахах: *«От него пахло кремом «Олоферн»*,— как краткая метка для памяти, вроде той, что употребляли индейцы какого-то племени: они носили на поясе набор пахучих веществ и нюхали в момент, когда надо было что-то запомнить; много лет спустя запах позволял восстановить всю полноту события,— или вот это, знакомое:

*Запах уксуса, прикосновение тоски, в какой прозябают души где-нибудь между раем и адом, но еще не в чистилище, в преддверье не начавшейся еще жизни, а может, смерти несостоявшейся.*

*способность улавливать из воздуха недоступное другим*

*Сборщик податей, урядник — скверно пахнет, не правда ли? А вот: фининспектор, милиционер.*

Последний фантик, впрочем, можно было поместить в другую подборку, о словах (*«слова-козлица и слова-агнцы»* или даже — *«слова от боли»*) — ставилась и такая. Особо подобрался раздел об именах. Кроме коллекции разных частных и курьезов (Арестов, Голгофер, *«Мыльников меняет фамилию на Мельников»*) в ней оказались также общие размышления:

*Значащие имена — не выдумка классицизма. То ли возникали они из прозвищ, которые даются ведь не зря и говорят о свойствах, закрепившихся в наследствен-*

ном веществе? То ли они влияют вдогонку, заставляя оправдывать ожидания?

Возможно, имя таинственным, неизвестным пока науке путем производит воздействие на сам телесный состав и даже на извержения телесные.

Все бы ничего, да имя неосторожное! При таком-то росте! А и на попятную уже нельзя. Вот беда, Господи!

Тут, признаться, начиналось что-то не очень понятное. Или еще скажем: *«Такое имя не помянешь вслух на улице, замахиваясь кнутом, да по матушке добавляя»*. Едва ли не в каждом разделе находились такие странные, неизвестно к чему относящиеся записи. Что значит *«волны ваши, навоз наш»*? Или вот это: *«нужен финн, чтобы напоминать о счастье»*? Или даже такое: *«особенно мы»*? Тут можно было только ломать голову — если, конечно, решить, что это имело смысл. Какие-то сравнительно крупные записи, видно, не умещались на одном фантике и переносились на другой — переносы иногда удавалось разыскать, но это лишь прибавляло недоумений. Так, уже упоминался перечень, начинавшийся словами: *«Ты все можешь вместить: небо, траву...»* — последним стоял у самого края листа *«выездной шарабан без колес»* — и на другом листке перечень возобновлялся словами: *«с петухом на козлах»*. Чернила, почерк — все подтверждало, что это писалось одним духом; ну а дальше что?

## 26

Среди портретных зарисовок у Милашевича были наброски отдельно глаз, носа, бровей, их так и хотелось приставить друг к другу. И не только их. Одну группу фантиков Лизавин даже озаглавил *«Половинки сравнений»*. Они начинались сразу с *«как будто»*: *«как будто ты расставил на доске свои шахматы и вдруг заметил, что у противника расставлены шашки»*; *«как будто его, ржавевшего без дела, точно деталь ненужного механизма, подобрали, протерли керосином и вставили на прежнее место»*; или: *«так в труппе всегда есть собачка, не желающая слушать дрессировщика — на самом деле умная, знающая свою роль»*. Вот, если угодно, еще: *«так льдины*



рассыпавшегося поля с обломанными кромками пробуют совпасть, соединиться опять»; или: «словно дуновение ветра перед тем, как солнце уйдет за облако»; или: «так рождается под растопыренными пальцами младенца нечаянный, еще не объясненный мир»; или: «это как заряд электричества в туче, пусть и не возникло молнии». Антону иногда чудилось: он знает, о чем это, и может найти недостающую половинку, во всяком случае соединить сравнение с собственным чувством. «Забава на вечерах в Общественном собрании,— словно подтверждал такую возможность Милашевич,— держа в руке половинку разрезанной карточки, найти в танцующей толпе человека со второй половинкой — он небось тоже ищет, тычется невпопад и не может осуществить целое: «Что кому, а зуб неймет». У Симеона Кондратьевича, видимо, был интерес к подобным забавам. В одном его рассказе дети развлекаются известной игрой: рисуют по очереди на загнутых частях бумаги одну голову, другой туловище, третий конечности, не видя нарисованного друг другом, так что в результате возникают неумелые монстры то с птичьим клювом, мохнатым брюхом и рыбьим хвостом, то, наоборот, с рыбьей головой и крыльями, но с человеческими ногами в башмаках — нечаянные гротески, какими полна жизнь, упражнения на древнюю, как мир, тему. Многие у Милашевича напоминают такие гротески: из фантиков вдруг выглядывает рогатое лицо с человеческими зубами; над клумбой, как цветок, поднимается раструб граммофона. Иногда за этим Лизавину чудилась какая-то игра, не обязательно даже умышленная, порой способная удивить и озадачить самого писавшего. Антон Андреевич подумал об этом однажды, когда стоял в очереди за майонезом; она была не такой уж большой, до угла, но почему-то совсем не двигалась, и он несколько раз порывался уйти, посмеиваясь над своей кулинарной слабостью, но каждый раз жалел уже потерянного времени и терял его все больше; а потом выяснилось, что майонеза уже не дают, да, кажется, и не давали, только обещали выбросить,— и вдруг все это соединилось с фразой «место преступления перед временем». Как разгадка с загадкой. Словно для этого и была задумана. Если тут и впрямь была игра, то неизвестно,

с кем и для чего затеянная. Но может, это вышло случайно, и не стоило искать здесь связи более глубокой, подозревать иногда чуть ли не шифр. С таким же успехом (и смыслом) можно было подбирать совпадения неровностей и заусениц на разрезах, точно составлять из черепков ископаемую вазу. Так ведь вопрос, была ли ваза? и не предупреждал ли сам Милашевич против имитации чучела? Кстати, записи о чучеле и перине тоже ведь стали рядом не сразу и не сами собой — попробуй, как Лизавин, подбери их из сундучного вороха, который, выпроставшись, разросся и стал настолько больше своего былого вместилища, что вряд ли влез бы обратно.

27

«Всякий ли нос ко всякому ли подбородку приставишь? — записал однажды Антон на небольшом листке. — А если уж соединились такой нос с таким подбородком, то это определяет устройство гортани, а может, и пищевода, зубов и желудка». Между прочим, он стал носить с собой в кармане такие листочки на случай мелькнувших попутно мыслей и наблюдений — те листочки, что продают в магазине канцтоваров по 26 копеек пачка со специальным названием «Для записей». Так как-то само собой получилось. Роскошная тетрадь с золотым тиснением «MACHINOEXPORT» на пластиковом переплете, куда он одно время любил заносить размышления и вольные фантазии, оказалась куда-то засунута, хоть в ней осталась не использована половина страниц, затерялась и подобающая ей паркеровская ручка с вечным, казалось бы, золотым пером. Кандидат наук давно писал шариковыми приспособлениями по 30 копеек штука, а если в магазине канцтоваров не случалось специальных листков, сам нарезал для себя осьмушки и держал для них особый коробок. Повлиял ли на него пример Милашевича (как повлиял на стиль, на построение фразы, что естественно и даже неизбежно при многолетнем близком соприкосновении)? Антон Андреевич над этим не задумывался, пока сам не обнаружил эту свою новую манеру, перебирая собственные свои разрозненные записи.

«Морозные цветы на стекле, оказывается, тоже не совсем произвольны. Они растекаются по невидимым глазу направляющим царапинам, а законы составления ледяных кристалликов вычисляются математически».

«Что мы можем сказать о другом человеке — не отдаленном от нас временем, пространством, условиями, нет, о любом, даже близком, живущем рядом? Нам доступна лишь открытая взгляду поверхность, внешние факты, и мы толкуем их в меру своей способности и предрасположенности. Если вообще удосуживаемся толковать».

«Более того, достоверно ли мы знаем о себе сами? И почему с таким недоумением оглядываемся, обнаружив, что с нами произошло?» — записано было на другом листке, стерженьком другого цвета и, видно, в другое время, но явно в связи с предыдущим, хотя и ту и другую записи он успел с тех пор забыть — как и вот эту:

«Мы барахтаемся в потоке, не чувствуя ни вещества его, ни направления. Да есть ли оно, направление?»

Антон Андреевич нигде не проставил дат, но мог поручиться, что некоторые из этих записей разделяют месяцы. Почему, однако, он не позаботился о датах? Может, сам того не сознавая, повторял и здесь Милашевича — а теперь убеждался, как складно может все ложиться подряд, как будто так и задумано. Вот, у него и об этом нашлась бумажка:

«Связь может устанавливаться как будто сама собой. Обернешься — кажется, что жизнь все-таки обладает единством и направлением, о котором сам не подозревал. Возвращаешься из года в год все к тому же, нечаянно уточняешь, наращиваешь все то же понимание — или все то же недоумение».

Отобрав страничек пять наиболее эффектных и самостоятельных фрагментов — мыслей, зарисовок, юмористических афоризмов — и снабдив их предисловием о Милашевиче, Антон Андреевич попробовал как-то предложить это для публикации одному жур-

налу в Москве; прием, который он там встретил, заставил его сконфузиться. Что ж, объяснил он сам себе, на людей посторонних не производит впечатления набор перышек. Мыслишку или словцо способен выдать каждый из нас, иной раз не хуже, чем знаменитость. И образы, глядишь, приходят в голову, и метафоры, и сравнения — хоть издавай. Кто может, так и делает, печатает при жизни страницы из записных книжек или из дневника; читаешь — ан не звучит. И не хуже, чем у великих, а не звучит. Надо быть птицей, тогда и перышки заиграют. А для кого существовала такая птица, как Симеон Кондратьич?.. Наверное, не стоило так сразу смущаться и обобщать; правильной было еще попробовать в других местах, и не в Москве, а лучше сперва в каком-нибудь областном издании, подав под соусом местного патриотизма. Но с областными редакциями у Антона был тогда связан другой комплекс: ему казалось, что там потребуется объяснять, как эти заметки попали ему в руки. Он все еще воображал себя чуть ли не похитителем государственных сокровищ и долго обходил даже стороной место преступления, как будто там могли хватиться украденной макулатуры. Смешно, он сам себе мог это сказать, но успокоился более или менее лишь после того, как в архиве случился пожар. Да, еще один, можете, если угодно, опять смеяться; причиной было объявлено самовозгорание, и Лизавину это слово почему-то напомнило нечаянского алкоголика времен его детства, дядю Лешу; про него рассказывали, что, пропитанный спиртом, он однажды загорелся сам собой, изнутри, — кто-то видел голубоватое легкое пламя, пыхнувшее из его рта... С тех пор архив пребывал в перманентном ремонте, пользоваться им стало практически невозможно. Да Лизавину он был уже и не нужен. После защиты диссертации пошли другие дела и заботы, одно время стало совсем не до фантиков. Но какая-то неразгаданность в них не давала все же покоя, и, как уже говорилось, чем дальше, тем больше.

Он сидел иногда над этими рассыпными листками, как над пасьянсом, где колода была неохватна, а карты — непонятных мастей; чтобы сложить его, надо

было что-то знать о жизни Милашевича — но томило и обратное чувство: можно что-то понять в Милашевиче, составив листки. Что значила эта рука, торчащая из кучи? Этот столбец странных пар: *«мужчина и женщина, имя и человек, конфета и фантик, голос и отзвук, замысел и история»*? к чему относилось это восклицание неумного мистификатора: *«Обманули дурака на четыре кулака!»*? о чем этот стон боли и возглас блаженства? и вопрос: *разве мы рождаем только тела?* и заклинание: *«еще немного, еще чуть-чуть, и сойдется, сбудется, разрешится»*? Кто смеялся на одном листке так долго, не в силах остановиться? Чей это фантастический диагноз: *«Должно быть, там внутренний в теле порок. Каверна, тишина. Скорей всего, в голове. Потом разошлось дальше. К весне накопилось воды, потекло из подмышки»*? Кто был этот квадратный, с кривыми ножками и шишечками на лбу? *«Серп и Молот стал грозен, с ним лучше не связываться»*. Укол смещенного чувства, смещенный язык, который надо понять. *«Это входит щекоткой сквозь поры, проникает в нас с ветром, из земляного навоза, течет в волоски»*. — *«Волос, впрочем, вовсе не осталось»*, — пристраивалось случайное, бессмысленное продолжение, явно не о том, но в другой раз предлагала себя другая связь, уже на что-то похожая: *«Вот В. В., до восьмидесяти дожил, и ни одного волоска седого»*... Забавно, что говорить. Можно было без конца поворачивать, примеривать сцепления, выстраивать иногда целые цепочки, но какой-то осторожный инстинкт подсказывал Лизавину, что слишком усердствовать тут все же не надо — бессмысленно, бесполезно и малость уже отдаст сумасшествием. А под руку, словно дразня в ответ, тут же подвертывалось что-нибудь этакое: *«Зачем тебе туда? Разве там лучше? Но озадачивает и притягивает твердость прозрачного воздуха, и силишься пробить его головой, проникнуть за мнимый предел вместо того, чтобы пировать в комнате, где с блюда еще не доедено варенье»*.

Строки перемешивались в памяти, вырастало ощущение месива, непонятной жизни, там булькали болотные пузырьки, выявлялись нераспознанные существа,

в загончиках за временными перегородками густо шевелилась живая плоть, колыхалась мякоть, соприкасалась с другой, вываливалась на улицу, росла, расплывалась, сохла, портилась, старела, переставала быть теплой, чернели на глазах стебли, сворачивались обугленные стручки, тело внутри было уже мертво, но по коже еще пробегала судорога последней самостоятельной жизни, плакал на камне герой, бледная почка раскрывала ресницы, отбрасывала решетчатую тень непонятная башня, звенели разбитые стекла, там сияли холмы и белые долины, шевелились в ущельях реки из чистого дыхания облаков, распаренная земля наливалась молочным соком и в лунном свете кто-то приплясывал на кривых ногах, сам для себя издавая музыку, хлопал под подошвой рыбий пузырь, таяли призраки домов, ветвей, деревьев, растекались в почву белые корешки, страх и торжество, боль и восторг были смешаны, как в любовном соитии, боль пробуждала из безмолвия слова... Лизавин погружался в этот насыщенный раствор, как в воздух полудремы: что-то здесь шевелилось, колобродило, звучал в пространстве разлитой, невыявленный голос. *Еще немного, еще чуть-чуть... вся наша жизнь была невольным сопротивлением этой легкости и свободе... найти слова, чтобы сравняться с ней хоть на миг...* Бесплотные частицы, избавившись от силы тяжести, от умственных объяснений, готовы были свободно испробовать друг друга, как это дается в гениальные мгновения сна. Не хватало лишь ниточки, чтобы вокруг нее начали выделяться, выстраиваться кристаллики. Иногда Антону казалось, что он уже будто угадывает ее, надо было только ухватить ее и вынести из глубины, выскальзывающую, тускнеющую на свету, готовую исчезнуть навсегда, как засвеченное изображение — что это вроде почудилось? Но, вынырнув на поверхность и придя в себя, он с усмешкой узнавал в своей добыче не более чем слова прилипчивого куплета:

А наутро она уж улыбалась...  
Под окошком своим, как всегда,  
И рука ее нежно изгибалась,  
И из лейки ее текла вода.

А в середине груди еще отзывалось как будто гудение оборвавшегося конца: *«Так больно, так тяжело. Неужто не слышишь? Ну, вот же я; вот...»*

*Кого-то увидел за туманным стеклом. Еще немного ясней, и узнал бы. В нетерпении вышиб стекло, чтобы скорее понять. Там не оказалось никого — все осталось на стекле, на осколках,— попробуй теперь сложи.*

После долгого пребывания в воздухе Милашевича Лизавин возвращался в окружающий мир с чувством легкого головокружения. Комната казалась не совсем знакомой, дверь с окном как будто поменялись местами, тень двигалась своим путем по изломам пространства, отнюдь не повторяя движений твоей руки, и не замирала, когда замирал ты, бумажки на столе были далекими и мелкими от расстояния. «Металлические опилки без магнита»,— записал на листке мелькнувшее чувство Антон Андреевич. Пододвинул коробок, чтобы поместить эту запись, под руку попался другой листок: «частицы в напрягшемся пространстве». Он усмехнулся чему-то, взял опять ручку и дописал, уточняя ощущение: «Силовое поле времени, линии судьбы».

### 3. Детские игры

#### 1

Так писал Антон Лизавин, сидя за столом у лампы. Свет ее оставляет неразборчивой обстановку окружающей жизни, зато с непривычной резкостью лепит лицо, склоненное над бумажками. Не сразу его узнаешь, право. То ли тени под глазами увеличивают их — нездоровые, страдальческие даже? и щеки в таком освещении выглядят запавшими. То ли борода не стрижена дольше обычного и отросла чересчур, пожалуй. Впрочем, это дело вкуса. Но вдобавок она и неряшлива малость, как будто не расчесанная однажды после бани, так и осталась сосульками — а вот это на Антона Андреевича и впрямь не похоже. Не пристрастился ли он, грешным делом?.. Ну уж, сразу! Случа-

лось, конечно; был даже один исключительный эпизод, но именно эпизод, о нем разговор особый, и не в этом же дело. Что зря говорить. Нет, взглядимся сперва, взглядимся внимательней. Вот: бороды прибавилось, но в нее словно ушел запас волос, а залысины врезались глубже, увеличив выпуклый лоб. Постарел, пожалуй. Лицо не то чтобы красивее стало, а интересней, что ли. Складки прочертились резче, у крыльев носа и особенно между бровями — но опять же не сразу поймешь, контрастность ли это теней или время постаралось.

## 2

Сколько, в самом деле, прошло с тех пор, как он, и. о. доцента в областном пединституте, по случаю собственного тридцатилетия с иронией, но не без удовольствия оценивал анкетными пунктами этакую скульптурную завершенность своего состояния и очевидность предстоящего пути? Можно, конечно, посчитать, напрочь арифметическую мысль, вычесть из цифр цифры. Не у нас — у него самого это потребовало бы именно специального напряжения. Даже сегодняшнее число и собственный возраст он иногда вспоминал не сразу. Для памяти прожитое время вообще сгущается неравномерно, есть пустоты безразличные и потому как бы выпадающие из счета — не в арифметике дело; а тут еще сказывалась умственная усталость от многомесячных и, должно быть, не совсем безвредных занятий: когда начинаешь вдруг говорить вслух с несуществующим собеседником и слишком знакомым становится чувство одновременности жизни, помянутое Милашевичем. Видения, возникавшие из букв, строк, снов, из игры воспаленного воображения, занимали в ней место более близкое, чем фантомы институтской поры или даже нынешняя библиотечная служба. Выстроить в ряд цепочку событий, перенесших его из одного состояния в другое, и то оказалось непросто.

## 3

Вроде и цепочки-то никакой не было. Была круговерть, растерянность, было стечение обстоятельств, может, отчасти кем-то и направлявшихся, наверняка



не поймешь. Он только что похоронил отца. Андрей Поликарпыч умер внезапно, не выдержав переживаний из-за фельетона, в котором его упомянули по недоразумению. По недоразумению, то-то и оно. Может, из-за этого все остальное представлялось еще не до конца взаправдашним, еще возможным казалось что-то переиграть, отменить, проснуться всерьез. Антон ужасался своей неспособностью проникнуться сполна даже горем. Была многодневная бессонница — туман, паутина, мутная взвесь вместо мыслей и чувств. За стеной у старухи-соседки, дальней родственницы Лизавиных, жила женщина, едва знакомая по Нечайску. Антон подобрал ее на Столбенецком вокзале, растерянную, на перепутье, ушедшую с легкомысленным чемоданчиком от мужа — не к нему, он-то знал, что не к нему, но подхватил, пристроил рядом с собой на время — как будто мог объяснить, зачем и как с ней быть дальше... Нет, конечно, поиск первопричин следовало начать еще раньше — когда он зашел с Максимом Сиверсом, заезжим гостем, случайным московским знакомцем, в дом к Косте Андронову, нечайскому радиомастеру, и там оба впервые увидели эту Зою, Костину жену. То есть Антон-то ее знал еще девчонкой, но впервые увидел женщиной, странной в своей болезненной красоте. В Нечайске знали, что эта бывшая библиотекарьша вскоре после замужества перестала говорить, что-то с ней случилось после гриппа, скорей всего на нервной почве, хотя кое-кто и опровергал это мнение, уверял, будто слышал, как на базаре она своим голосом спрашивала, почему чеснок. Во всяком случае, немота ее была странной: у Антона все время оставалось ощущение, что она в самом деле может и заговорить, если понадобится, просто ни разу не возникало такой необходимости, другие в ее присутствии становились говорливы за себя и за нее, даже с избытком, особенно Костя, простодушный байбак в тренировочном костюме, уже вздутым на животе, добрый малый, которого угораздило же влюбиться в женщину, непонятную и в сущности недоступную, хотя она и считалась его женой. Антон видел ее тогда единственный вечер. Он уехал из Нечайска раньше Сиверса и мог лишь догадываться, что у них там произошло, но необязательно ему было даже знать, он ведь потом сам встретил Зою на вокзале не совсем

случайно, он ехал к ней в Нечайск и потом искал ее в Столбенце, хотя не сразу согласился себе в этом признаться. Это было нелепо, если угодно, безответственно — после единственной-то встречи, — у него ведь уже назревала своим естественным чередом женитьба на совсем другой женщине, вопрос был только во времени. А тут все сошлось в несколько дней — сорвалось, захватило внезапно, как смерть отца, с ней совпало, переплелось. Тогдашнее состояние Антона можно было, конечно, назвать ненормальным; не в его натуре все же было искать приключений, и за звездами с неба он вроде не тянулся, вполне хватало радостей устойчивой жизни. Какие-то его поступки, движения, даже неподвижность и впрямь могли вызвать недоумение, он порой способен был дать себе в этом отчет, и тогда видел себя со стороны дураком, а ее дурочкой больной, бессловесной, красоту которой к тому же явно преувеличил. Тут, правда, не обошлось без подсказки; эти слова вымолвила за него однажды женщина, уязвленная, что ни говори, внезапной, нелепой изменой такого, казалось бы, надежного, прирученного любовника. Но эта нелепость даже облегчала ей беспристрастное понимание и уверенность превосходства.

— Ну, милый, — усмехнулась Тоня при случайной встрече. — Знала я, что мужчины бывают слепы, но ты мне казался... Нет, работать над тобой, конечно, еще надо было, но выйти что-то могло. А ведь это не по тебе, я уже вижу. Бедненький ты, бедненький.

Антон просто не ответил ей. То есть пробормотал что-то вроде: «Может быть, может быть». Он спешил на станцию, в Нечайск, куда старался ездить при возможности, чтобы надолго не оставлять маму одну. И что он мог ей ответить? Что зря она так? Что ничего и нет на самом деле, только затмение ума — глядишь, временное? Что он сам себя не понимает? Нет, в слова ничего не укладывалось. Он лишь отводил взгляд, как нашкодивший, но упрямый, не обещающий исправиться щенок.

— Ты плохо кончишь, — поджала Тоня тонкие губы. — Уничтожить тебя проще простого. Только подтолкнуть. Ты ведь трус, я это тебе говорила. Но может, и того не понадобится.

Помада у нее была темная, веки подсинены по

столичной моде, а кожа лица уже немолодая — Антон впервые это увидел, и во всей ее подтянутой, тонкой фигуре почудилась ему такая уязвимость. «Бедные мы все, бедные», — вот с чем он соглашался искренне.

4

А дома в Нечайске мама терзала его недоуменным взглядом заплаканных, выцветших глаз, как будто с обидой ожидая от него объяснения и оправдания внезапному своему одиночеству, зябкости убогого воздуха; поволоке тления на всем, куда ни ткнешься. Она всегда была убеждена, что при своих болезнях и жизненных тяготах умрет раньше мужа, почему-то ей важно было подчеркивать это, и Андрей Поликарпыч с ней вроде не спорил. Теперь она обижалась на него за то, что обошел, опередил ее, да опередил как-то нечестно, нехорошо, угодил в московскую газету безо всяких заслуг, а теперь уже и разбираться незачем, что там было — умер и уже потому оставил на семье неясную тень вины; она болезненно ощущала это городское мнение, разубеждать ее тут было бесполезно, начинались только новые слезы. Собственная смерть была ей теперь даже безразлична, как безразличен второй приз тому, кто претендовал лишь на первый. Больше всего ее заботило, как бы справиться с этим в подходящее время, не летом, чтобы не испортить Антону отпуск, но и до зимнего гололеда, который бы затруднил и даже сделал рискованным подъем от озера в гору, к кладбищу. Был однажды случай, перевернулась машина с гробом, троих покалечило насмерть вдобавок к покойнику — она боялась еще такой несудьбы. И в какой-то миг его кольнуло отчетливое прозрение, что мамы тоже скоро не станет, и он в тоске подумал, как хорошо бы успеть раньше, чтобы не испытывать больше этой беспомощности, невозможности. То есть оставить мучиться ее — тут же уличил он себя в малодушии дезертира и устыдился.

5

При всем том не следовало ему остальные дела, житейские и служебные, считать пустяками и недоразумением. Тут он был не прав. Смерть и всякие там

чувства — это, что говорить... и говорить нечего, только склонить почтительно голову. Но и отчет о выполнении кафедрой соцобязательств по повышению уровня тоже требовал уважения. Неясная история с бабой, которую он поселил у себя (пусть и за стеной, даже если быть точными, через коридор), породила почти мгновенно анонимное письмо в институт. Даже сразу два — во втором моральный облик и. о. доцента дополнялся таким штрихом, как появление в нетрезвом виде перед подшефным литобъединением (ерунда, что говорить, хотя, если вспомнить, он малость действительно отрыгивал — угостился перед тем у Кости бокалом советского шампанского). Упомянут был даже злополучный фельетон в московской газете, куда угодила фамилия Лизавина — хотя уже ясно было, что отец тут ни при чем, а сам Антон Андреевич тем более. Словом, с одной стороны, опять же муть какая-то, не стоила разговора. Но с другой стороны, на кафедре ждали как раз проверочную комиссию, и такие сигналы, хочешь не хочешь, портили картину, требовали какой-то галочки. Мог бы и сам понять. Его и трогать никто не собирался — даже анонимок, щадя его горе, не поминали. Собственно, и тут ничего всерьез не было, кроме чисто ритуальных оборотов — мог бы перетерпеть. Сколько он молча высидел таких собраний — и что с того, что Клара Ступак уставилась именно на него, цитируя тезку-классика? — «В человеке все должно быть прекрасно», — как будто Антон Андреевич особо отвечал перед Антоном Павловичем за выполнение этих щекотливых пунктов. «И лицо», — выдержав жесткую паузу, напоминала Клара Ступак, председатель месткома, а Лизавин, все еще не принимая взгляда в свой адрес, в туповатой растерянности, которой было отмечено все его тогдашнее поведение, смотрел на сослуживцев. Свет, бледный, пыльный, придавал воздуху стекловидность увеличительной чечевицы, но лица успевали привычно скрыть все, что могло в них высветиться изнутри, под поверхностью непрозрачной плоти: лишь крупные поры на сыром ландшафте, сок жирных выделений, ущелья и складки в наносах потной косметики, волоски, точно отдельные прутья, и во рту не у всех, увы, жемчуг, разве что золото (чья это картина? — лица в толпе, присутствующей при распятии?... — ну, это уже занесло,

вспомним чувство юмора; но так много стало похожих, пугающих лиц; главное, глаза будто имитированы на трепетной пленке) — но кто же виноват, Господи, кто виноват, что слепой торец стены за окном загородил небо и землю, что время жизни прокисает на собраниях и в очередях за растительным маслом? Несправедливо... Нельзя с нами так. «И одежда», — переходила Клара Ступак к следующему пункту обязательств. Тут Лизавин другим заведомо уступал, и осматриваться было излишне, но ведь это кто как может достать. С этим, может, еще трудней. Хорошо Кларе, она сама шьет, даже котируется как портниха, хотя стоило бы ей делать себе платья чуть длинней, чтобы прикрывать все-таки стародевические свои коленки, выпуклые, как наколенники.

6

Коленки! Может, именно они были причиной дальнейшего? — злосчастные коленки Клары Ступак, роковую слабость которых Антон Лизавин имел беду ненароком открыть. Медицине известны казусы, когда самые безобидные, казалось бы, участки тела обнаруживали свойства... как бы это сказать? — неожиданные. Даже нечаянное прикосновение к ним, допустим, мячиком во время игры, может произвести волнующее действие. Таким именно местом была, видимо, Кларина коленка, и Антон Андреевич допустил однажды упомянутую неосторожность. То есть без всякого мячика, разумеется, мячика у него вообще не было, просто нечаянно тронул ладонью. Ей-богу же, без всякого умысла; эта истеричка пришла к нему официально, для месткомовского обследования жилищных условий; но после такой оплошности (имеется в виду ладонь) ничего официального, что говорить, не вышло, а вышла нелепость, о которой оба предпочитали не вспоминать, хотя по разным причинам. Так что незачем было, конечно, ему на кафедральном мероприятии так упираться в эти коленки тяжелым бессмысленным взглядом, от которого она вдруг осеклась и, словно задохнувшись, не могла добрую минуту вспомнить пункт следующий.

— И душа, — подсказал Антон Андреевич. Из самых сочувственных побуждений, ей-богу. Все в той же,

можно сказать, рассеянной задумчивости. Но опять же лучше бы ему промолчать, он сам это понял тут же, увидев, какая передернула ее судорога; а у всех прочих осталось впечатление намека, непристойности или вызова.

— Да! — исходила, текла в истерике Клара. — Да, Антон Андреевич, и мысли, и моральный, товарищ Лизавин, и морально-политический!..

7

Паутина, квасная отрыжка, дыра на пустом месте. В перерыве завкафедрой Голуб Спартак Афанасьевич удивился: «Ты куришь?» — подхватил успокаивающе под локоток, повел по коридору между мужским туалетом и кафедрой. Но сбоку посматривал настороженно, испытующе на этого новоявленного курильщика: не таит ли он за пазухой еще сюрпризов? Над дверями кафедры и туалета висели электрические часы, причем туалетные спешили на двадцать минут, а кафедральные в какой-то момент показали точное время, но по чистой случайности, ибо они вообще стояли. Станным образом тон и даже словарь их беседы менялся с приближением к одному из этих географических полюсов. «Нервы, нервы тут ни к чему, — добродушно ворковал Голуб у туалетных дверей. — О чем вообще речь? Отнесись с юмором». — «Повысим уровень юмора за пятилетку, — постарался попасть ему в тон Лизавин. — Если можно записать в обязательства моральный уровень...» — «Ты что, против соц-обязательств?» — «Почему?» — сбился Лизавин; уже чувствовалось что-то не то, уже действовала близость кафедры. «Сам же голосовал». — «Голосовал, конечно». — «А если вдруг коснулось вас лично, так уж сразу». — «То есть... при чем тут «лично»?» — но уже достигнут пункт поворота, уже на горизонте туалет, и Голуб расстегивает пуговицу под галстуком, облегчает надувшийся кадык. О чем в самом деле речь? Только об этом. О совпадении и рефлексе, об игре в пароль и отзыв, смысл которой: устойчивость, самосохранение, спокойная общность со всеми. «Мы всех зовем, чтобы вперед, а не пяться». — «Чтобы в лоб, — позволяет себе поправить Антон. — Чтобы в лоб, а не пяться, критика дрянь косила». — «Ну, этого я вовсе не

имел в виду, — Голуб вновь снисходителен и благодушен, он готов на попятную; только видимость, что Лизавин уточнил не в свою пользу, главное угадано. — Мы и вы, как говорится, один коллектив». — «Особенно мы», — вдруг совершенно некстати вставил Антон; ему просто пришло на ум, какой абсурдный смысл может привнести такая добавка в любое соединение пар. Жили-были А и Б. Особенно А... Все на темы Симеона Кондратьевича. Ни к чему бы в таком разговоре. Опять возникал сбой. Может, дело было в том, что с приближением к кафедре, а не к туалету, усиливался запах приторной дезинфекции. Порок планировки, причуда вентиляции. Сбивалось совпадение в фазе, возникала оскомина уклончивости, задней мысли. Неудобство, неблагополучие, затаенная угроза исходят от такого человека. Если вспомнить, он всегда был не совсем своим на кафедре. Не участвовал, например, в приемных экзаменах, а значит, не связан был с другими деликатными доверительными отношениями. Вообще существовал сам по себе, в тени, на вид простодушный и безобидный. Черт его знает! Трещина пошла на гладком, готова была отщепиться заноза. «Ты что, считаешь себя лучше других?» — спросил, наконец, Голуб, прищурясь. «Почему лучше? — постарался Лизавин найти ответ как можно более скромный, располагающий и успокаивающий; он ведь тоже хотел отвести неясную, но ощутимо набухавшую угрозу. — Я просто другой. Особенный, — добавил он для юмора. И, чувствуя с тоской, что вместо юмора получается все хуже, поспешил поправиться: — Как всякий человек».

8

Да, это уже было совсем зря. Почему произнесли такие слова? Антон не вкладывал в них никакого глубокомысленного подтекста. Но вдруг, по пути домой, понял, что еще недавно это вот так ненароком не выговорилось бы. Что-то с ним происходило. Так голые стволы окружены были среди весны оболочкой уплотненного, ожившего тепла, его пульсирующая напряженность готовилась потянуть в рост листья из почек. Он ощущал эту оболочку как тесноту кожи,

из-за неё опрокидывал, не прикасаясь, предметы; как будто занимал больше места, чем сам думал, и вызывал к себе отношение там, где прежде проскальзывал гладко, не хуже других. Другие раньше него это почувствовали, уже выделили, раскусили, отдавали должное, уже выталкивали из общих рядов, не дожидаясь, пока сам созреет. Хотелось шевелить лопатками, чтобы изгнать неуютные мурашки. *Передернуло ознобом крыши и колокольню... Вороны под встревоженными небесами — пародия на трагический хор...* почудилась в воздухе музыка, но исчезла, прежде чем ее удалось узнать. Река несла в себе мусор и муть, щепки, бензиновую пленку и ноздреватые облака. Прошлогодняя падалица между корней окончательно перегнивала в почву. Листва обновляла смысл деревьев — без них, считай, деревья сполна не было, только ствол да ветки. Более того, его нет без этой оболочки тепла, без этой готовности и тревоги, похожей на радость, что ли? Струя воды из уличной колонки толста, как колбаса, упругий холод ее приятен языку, зубам и нёбу. Шевелятся листы сухих газет, ветер несет над землей одушевленный мусор. *Никто нас не гнал, мы бежали сами, томясь оскоминой...* Стайка шумных мальчишек взбаламутила тишину криком, унесла дальше, но перетолченный воздух не успокаивался еще долго.

9

Дорога через детскую площадку. Девочки, прервав «классики», спорят о нарушенных законах: «Неправда, не так! Пятая проклятая, шестая золотая!» Две малышки вслушиваются с отдаления, вбирают мудрость и порядки жизни, в которую жаждут войти; у младшей золотые капельки в ушах. Мальки снуют в трепетной влаге, юркая нежная плоть, набухающие отросточки, нетерпеливость и обещание. В консервных кастрюлях каша из голубого песка, в магазине отвешивают на качающейся доске твердые камни картофеля. Богатый владелец велосипеда устанавливает очередь благодеяний. Строитель защищает от покушений свою башню из камня и песка, огрызается, отталкивает, нагромождает сверху еще немного, еще немного, сколько выдержит, чтобы наконец, дернув шнур, привязанный к основному камню, уничтожить все великолепным



взрывом: «Бум-бурум-бурум, бум-тарарах!» — «Дяденька, а я, смотри, как умею! Смотри, как я, дяденька!» Тщеславие и соперничество, стыд поражения, ревность, неравенство — разве не проходим мы эту школу, когда неравны уже по возрасту, а значит, по росту, силе и могуществу? Все позднейшее прибавляет только опыта, а дяденька улыбается сверху их страстям: они для него все равны. *На ощупь, наугад, в гулкой пустоте, удивляясь и не понимая целого, с тревогой и любопытством.* Мы тычемся в потемках взрослого мира, трогаем воздух, толкуем, боясь обознаться, задыхаемся на дне кучи-малы: растащи ее, дяденька, простири руку с небес, ты еще помнишь легкими этот ужас утопленника-первоклашки, себя, придавленного толщей тел! Цветы радости на свежей траве, нежная пленка, растопыренные пальчики ловят мяч, счастьем и прелестью сияют глаза. Человеческий громадный детеныш душит пальцами тело бабочки-капустницы, лепечет любовно: «Бабочка милая, бабочка моя хорошая!» — и слово «жестокость» еще не изобретено человечеством. Боже, сколько возможностей на простой дороге, усыпанной камнями и бутылочным стеклом! Можно пройти ее из конца в конец только по кирпичам, не ступая на землю, можно собирать пивные пробки для игры или, скажем, марки, а потом, разбогатев, купить за миллион даже марку острова Маврикий, вся ценность которой создана опечаткой гравера — из-за этой опечатки шли на преступления, подделывали завещания, и кто скажет, что это обладание бессмысленней других? В глубине площадки асфальт был разрушен недавними работами, там начинались рытвины, прошлогодний бурьян, там на костре испытатели природы плавил в жестянке олово, там дарила убежище громадная бетонная труба со сколотой кромкой, а за хилыми деревцами, на железнодорожной насыпи девочки собирали в букет мать-мачеху, первые, жалкие, еще не покрытые жирной пылью и гарью города цветы, их желтизна густеет к серединке, будто стекает туда — ах, Симеон Кондратьич, вы бы оценили, вы бы меня поняли. *За что тебе такое...* Додумать Антон не успел, проволоочная пулька из деревянного оружия ужалила его в щеку. Хорошо, что не в глаз. Оглянулся: бурьян был дремуч и пуст, своя жизнь шла там на этаже, недоступном взрослому

взгляду, под кронами прошлогодних трав, в золотистых резных дебрях, где пухлый всадник несется на звере с красным ртом, помахивая игрушечной сабелькой, гордясь движением; глаза фарфорового херувима выпучены бессмысленно. Сверху кроны шевелил ветерок, улетал дальше. В трепетной дымке на горизонте высились заводские трубы, вздымались, как горы, городские ущелья и белели над ними круглые облака.

10

С соседями Антон старался в те дни сталкиваться по возможности меньше. Даже чай себе кипятил не на кухне, а в комнате, в электрическом чайнике. Но то и дело натывался все же если не на них самих, то на их физически ощутимые, как бы охотничьи взгляды. В отвлеченных своих чувствах кандидат наук и не подозревал, что его уже обкладывали, подстерегали, искали способ вывести его из числа претендентов на жилплощадь старухи Лихолетовой, соседки-родственницы. Вера Емельяновна давно не покидала своей комнаты, ходить совсем не могла, почти все время лежала, но сколько она еще проживет, никто не знал — а этот и дожидаться не стал, всех, проныра, опередил. И ведь не имел со старухиной комнатой даже общей стенки, так подселил туда свою девку; теперь она ухаживала за больной, вытеснив других, имевших давние права приносить ей по утрам манную кашку да выносить горшок, не говоря уже о том, что их комнаты сставляли когда-то со старухиной общую площадь, комната Каменецкой вообще была выделена из лихолетовской (по просьбе самой же Веры Емельяновны) посредством легкой перегородки; на этот счет и план старый можно было показать. Ну, с девицей-то справиться было не проблема, она пока боялась и нос высунуть за дверь, а высунув, помалкивала, что бы ей ни говорили в спину; но этот мог предъявить дальнейшее родство по матери, да кандидатскую книжечку — а может, и еще какие козыри? Главное, никто не ожидал от него такой прыти. Видно, почуял, что дело близко, да эта еще, глядишь, и ускорит... Вот какое напряжение сгущалось вокруг Антона Андреевича, и он мог сколько угодно считать его химерой. Дескать, раз ему ничего подобного и не снилось, значит, этого нету на самом деле.

Философ. Можно даже сказать, идеалист. Именно неправдоподобная его простоватость казалась особой хитростью. Между тем у супругов Титько уже материализовался — можно пощупать — финский гарнитур для ожидавшейся комнаты; у них шла своя работа ума. Очередь на гарнитур подошла раньше срока, но даже это прозвучало дополнительным сигналом: не зевать. Мебель загромождила коридор, выперла на кухню. Обернутая бумагой и укрытая полиэтиленовыми чехлами, она имела вид модернистских скульптур. У книжного шкафа в брюхе уже созревали готовые собрания сочинений. Отставной капитан, а может, уже и майор неизвестных войск и почетный студент исторического факультета легко преграждал Лизавину путь в тесном проходе. Ошибкой со стороны Лизавина было видеть в Титько лишь активиста-общественника уличного масштаба. Он уже приобщился к городской деятельности, к неизвестным Лизавину советам и комиссиям по народным университетам, самостоятельным оркестрам, художественным студиям, словом, по самой широкой культуре и просвещению. Попробовав себя когда-то при ученых учреждениях в деятельности административно-хозяйственной, он явно ощутил душевную близость к современным интеллектуальным кругам и, сам будучи не дурак, при своем возрасте перспектив отнюдь не утратив, а главное, чуя новые веяния, уже спешил ускоренным заочным темпом обзавестись дипломом высшего образования, и дальше — кто знает. Он даже готовился ехать в Париж с делегацией, носил при себе разговорник и не упускал случая напомнить кандидату наук, кто есть кто, как говорят французы. Пока еще на всякий случай культурно, прощупывая сомнительного соперника. О, знал бы Антон Андреевич, в каких местах опробована была эта мягкая до поры повадка, исполненная, однако, сладкого сознания других, затаенных возможностей; знал бы он, откуда и за что загремел, не дослужив, в институтские завхозы его ближайший сосед, чтобы после короткой растерянности, испуга и обиды оправиться для нового взлета! Впрочем, может, лучше ему и не знать; он потому и не старался, предпочитая видеть перед собой фигуру анекдотическую. Слепительная сорочка с галстуком, новый костюм, сшитый по мерке (но все равно почему-то чужой на неудобно

разросшемся теле). Ну как, Антон Андреич, лекции читаем? А для народа? Я имею в виду общество «Хочу все знать». Ву компрене? Это я по-французски. Надо нести в широкие массы, а не в четырех стенах, как некоторые, вы согласны? Теперь уровень общий и еще повысится. Хочу все знать — лозунг времени. Вот знаете ли вы, кстати, сколько залов в Лувре? А почему в Париже хорошо спится? Ну как же, Антон Андреич, а еще кандидат. Это же общеизвестно. Потому что Париж на Сене. Вот так. И вообще, антре ну... это я по-французски... не стоило бы вам себя над всеми так возвышать. Я имею в виду других людей. Ву компрене? Ну-ну. Смотрите. Я люблю по-хорошему. Все-таки мы с вами интеллигентные люди. — О чем вы! — искренне отмахивался кандидат наук. Рядом с этим пожилым студентом, с его заграницей и сорочкой неловко было претендовать на такой титул. При запущенной-то бороде вместо галстука. Ему бы только протиснуться мимо, но попробуй! Не то чтобы он побаивался этого человека, от которого пахло портвейном «Кавказ», даже когда он пил французский коньяк, но было чувство непонятной от него зависимости. Хотелось, чтобы он относился к тебе хорошо. На кухне супруга Титько, Эльфрида Потаповна, ругалась с бывшей артисткой Каменецкой, чья уродливая такса Долли ухитрилась, несмотря на защитную пленку, нагадить внутри серванта. «Сама нагадила, дрянь паршивая!» — отпиралась Каменецкая, трогательная с оттопыренным своим мизинчиком, порхающей походкой, ярким шарфиком вокруг дряблой шеи, не имевшая пока чем ответить на гарнитур, но при надобности способная, как ее малышка, тоже показать зубки.

## 11

Пленка на мебели поблескивала живой слизью, превращая коридор в подобие извилистых кишок, кухню — в желудок, чулан — в аппендикс и все внутренности дома — в отделы некоего тела; как в средневековом анатомическом описании, в каждом шла своя жизнь, и отработанные части должны были извергнуться, освобождая место. Возле Веры Емельяновны, отгороженная от соседских ядов лишь тонкими

стенками, сидела, прикорнув, Зоя, чужеродная, случайная, временная песчинка. Неожиданная роль сиделки оправдывала ее пребывание здесь, даже не позволяла тронуться дальше — нельзя было оставить больную. Антона иногда смущала мысль, что это выглядело, будто он нарочно привез ее ухаживать за старухой. Просто так совпало, что тете Вере стало хуже. Но Зоя встречала его радостной улыбкой каждый раз, когда Антон приносил им продукты (а иногда сам что-нибудь готовил). Они тоже приспособились разогревать еду в комнате на плитке, много им было не надо, и холодильник стоял тут же. В форточку завела клейкая прохлада, она перебивала запахи болезни, дух телесных выделений. Привыкнув, можно было ничего не чувствовать, но в первый миг, войдя, Антон каждый раз заново ужасался, как Зоя проводит здесь безвыходно целые дни. Комната была тесная, со старомодной скудной мебелью и вещами. Стена против кровати увешана была разнокалиберными фотографиями в рамочках — лица воспитанников, прошедших через руки Веры Емельяновны в разнообразных учреждениях, где она работала, еще два пухлых, в розовом плюше, альбома лежали на комод, на салфетках с вышивкой «ришелье», кем-то подаренных. Такими же салфетками покрыт был стол и подушечки на продавленном диване, где спали в разные годы сироты, подобранные и приведенные ею прямо в дом, а теперь сидела, поджав ноги, Зоя, восхищавшая в своей немоте старуху умением слушать.

## 12

Приход Антона всегда прерывал ее как будто на одном и том же рассказе: про кого-то из этих детей со стены, успевших с тех пор постареть, умереть, оставить новых несмышленьшей, которые в памяти все больше путались. Никогда не бывшая замужем и не рожавшая, она слишком привыкла чувствовать себя старше других; забавно было видеть, как ее называют тетей Верой старики и старушки, встречавшиеся на улице или приходившие навестить. Болезнь лишила ее подвижности; костистое некогда тело расплылось, но в путаном уме все не могла перебродить упрямая энергия времен, которым открылась было возмож-

ность окончательного устройства жизни — если б только не вмешивались обстоятельства, не сбивались с пути неудачно взрослевшие дети. Мир приютов, коммун, колоний, детских домов выглядел в этом рассказе разумней и безопасней окружающей жизни, здесь верней обеспечивалась справедливость и норма хлеба, а главное, можно было всегда вмешаться, защитить, если что, направить на путь. Бессилие начиналось, когда они выходили из-под опеки, повзрослев лишь на вид, но имея взрослые возможности и средства для всяких глупостей, несправедливостей, обид, для преступлений и войн. Тетя Вера сокрушалась об этом, как о собственной недоработке. Она, пожалуй, все больше заговаривалась и Зою иногда принимала за кого-то другого, требуя вдруг подтверждения: помнишь? да ты его знала — но Антон зря боялся неловкости: та серьезно кивала, и тетя Вера не могла остановиться. Казалось, ей важно что-то объяснить, досказать неожиданной благодарной слушательнице; трудность была лишь в том, что всякая малость оказывалась слишком переплетена и перепутана с другими, не удавалось высвободить из-под навала лиц, обстоятельств, историй какую-то объединяющую мысль.

### 13

«Сейчас, сейчас», — сказала она вошедшему Антону в день, когда он вернулся после заседания кафедры — точно он явился поторопить, и она оправдывалась за задержку. «Ну что вы», — показал Лизавин великодушным жестом; лишь потом, в воспоминании, скребнули его эти слова и эта интонация. Вера Емельяновна заканчивала какую-то историю про пожар в приюте, про жестокую выходку мальчишек, заперших в кабинете директора. «Да, еле выбрался жив... Но доискиваться, кто сделал, не стал. Уж так их любил, так баловал! Карамель для малышей всегда в кулечке носил. Только нельзя было собирать в доме одних мальчишек, я ему говорила...» Лизавин слушал рассеянно, видения детской площадки стояли перед глазами, одновременная жизнь шла в детском доме, который расцвел краше прежних в губернской столице, в восстановленном и отмытом полицмейстерском особняке, ты знаешь, ну вот тот, что против

«Европейской», против гостиницы,— там Вера Емельяновна встретила вскоре Людочку с накрашенными до бесстыдства губами, ту самую Людочку, что прибыла с эшелоном ленинградских дворян, ее с таким трудом удалось отучить от привычки грызть ногти; оказалось, двое детишек остались у нее без отца, вот и вздумала выходить к «Европейской» — ну что такое, говорю, Господи!.. Антон заметил, что тетя Вера уже очень устала, ей становилось трудно ворочать языком слова. «Сейчас, сейчас», — предупредила она его успокоительное движение, и по взгляду Зои он понял: лучше дослушать. Что-то главное оставалось все же не высказано, не давало Вере Емельяновне успокоиться. Соскакивала игла на слишком сжатых бороздках, лица теснились, как на вокзале, где безумная женщина пыталась накормить грудью, опустевшей без своего ребенка, чужого Петюню Сиротина с головой в зеленых болячках, где затерялась маленькая Надюша Бесфамильная со старческим от голода лобиком, та самая, которой соседка от злобы плеснула в лицо кислотой. Все та же жизнь смотрела со всех фотографий, прокручивалась все та же пластинка, надо было снова брать за руку неслухов, глухих, беспомощных, чтобы не одичали, не заросли грязью беспризорничества, да ведь эту же руку и кусали, бывало, вон какой шрам остался...

14

Рука ее не шевельнулась, она лишь думала, что показывает, и Лизавин наконец понял, что это уже бред; тетя Вера лишь думала, будто объясняет что-то, важное для них, которым предстояло без нее оставаться. Ведь я что хочу, я всегда говорю, прошу все время, парами станьте и за руки покрепче, если не понимают, милые вы мои. Нет, вечером вьюшку открыла. Один Сашуля сумел проснуться. До самой войны кашлял от угара. Это который тут в середине. Премию недавно получил. Грамоту и этот... магнитофон. С песнями... борясь и побеждая. Что за музыка, не понять. А это скорость такая. Ну, один писк мышиный. Не в ту сторону. Он с мышами опыты ставил, я смотреть не могла, так было жалко. Пустил крутиться. Быстрой,

быстрее. Вперед лети. В коммуне остановка... Нет, не удавалось добраться. Красноглазые мышки дергались и замирали. Состав сквозил на ходу. Взлетала на качелях девочка в пятнистом от листвы и солнца сиянии. Может, вот это. Сейчас. Лица сидевших у кровати становились прозрачными, как занавески. Так ярко... прямо в глаза. Сейчас, сейчас. Только передохнуть.

15

Точно в ответ желанию, лампа, дернувшись раз другой, стала светить вполнакала. Подбородок старухи ослабел, приоткрыв черный рот, но она еще смогла вспомнить себя и сжала губы. Лицо стало строгим, удлинённый профиль Дон Кихота обращен к потолку, слеза выползла на сморщенную кожу. Возле ноздри села воскресшая к лету муха. Антон осторожно смахнул ее. Вера Емельяновна не вздрогнула, и Антона кольнул испуг. Это был испуг от мысли, что тетя Вера уже умерла, а если еще нет, то может умереть сейчас, не когда-нибудь, а вот так, на его глазах, просто, отбормотав что-то непонятное, среди дурного запаха, отломится частица жизни, исчезнет со своей заботой, нетерпением, безумием, любовью, про которые тебе останется лишь вспоминать, и не удержать, хоть вцепись, только муха будет царить на посторонней умершей коже. А ты думал? — только и всего. Но еще он поймал себя, что смотрит жадно, не отрываясь; он никогда еще не видел, как умирают — двойной испуг был от этой чужой, непозволительной мыслишки; что-то ужаснее самой смерти сквозило за ней. Это продолжалось мгновение; он уже увидел, что тетя Вера просто уснула, затихнув. Что это мне ударило? — качнул головой. Завтра врач придет. Не первый раз. Встал; колени были утомлены до дрожи, будто он помогал вкатывать в гору увертливую тяжесть. За окном, оказывается, сгустилась темнота. Он попросался шепотом, избегая почему-то смотреть на Зою. Хотелось курить. Слизь лабиринта белесо отблескивала в полутьме, тени шушукались на своем, может быть французском, языке. Мебель переминалась нетерпеливо: скорей бы кончилось это промежуточное томление, это ожидание перед дверьми — какой смысл оттягивать время, всё равно, рано ли, поздно; вещи были готовы



сами перелиться, перетечь через щели и пространство, еще занятое человеком, они лучше людей понимали равнодушные продолжающейся жизни. Боже, Боже, что же это,— не подумал, а застонал о чем-то Лизавин.

16

Потом он стоял на крыльце. Створки дома отгораживали двор от улиц. Веревки, протянутые между балясинами и тополем перед нужником, перечеркивали светящийся воздух; источник света существовал невидимо. Кого мы жалеем больше, думал он, умирающего или себя, которому остается горевать и страдать? Поскорей улизнуть, чтоб не вникать в свои чувства. Вспомнилось, как он рассказывал тете Вере о смерти и похоронах отца, а она всплакнула и выразилась непонятно: «Его в детстве напугали». Но Антону теперь казалось, он знает, о чем она. Она и родителей его помнила еще с тех лет — со времен Милашевича, от которых пыталась вывести какую-то связь, да все упускала. То же усилие. Еще немного, еще чуть-чуть... Ведь было даже за бредом ее что-то, он чувствовал, только уловить не мог. А может, и не следовало стараться, нельзя, непозволительно, запретно — попробуй охвати умом все, что вызревало сейчас, каждый миг, в этом холодном сочном сиянии, пока люди волновались во сне, старались спрятаться друг в друга или просто дышали, раскрыв рты, из которых пахло отрыжкой дневной еды, сладким молоком детства, юной свежестью или гнилью. Червяк скрипел, внедряясь головой в древесину. Шевелились, прорастая, язычки глянцевого листьев. Пузырьки черной влаги толклись, набухали и лопались в утробном пространстве — мириады слепых жизней присутствовали в нем одновременно, не умея, на свое счастье, толком ощутить и испугаться единственного мгновения. В квадрате окна женщина унашивала беззвучного младенца, то приближаясь в свете ночника к синтетической прозрачной завесе, то угасая в глубине. Накалялся и затухал сигнальный огонек сигареты. Внятной дрожью полнился воздух, и Антон не услышал приближавшихся сзади шагов.

— Ты? О Господи!.. Ничего не?.. Я подумал: она уснула, и тебе тоже надо... Нет, не это, мне просто стало не по себе. Не знаю... От всего сразу. А тебя там оставил, думал... нет, опять не то. Хорошо, что ты не отвечаешь, не можешь или не хочешь.— Он бормотал, стараясь подавить нарастающую дрожь; потом заметил, что и она дрожит — вышла в одном халатике, и не было пиджака, чтобы на нее накинуть. Надо было уйти в дом, поставить чайник, согреться, но оба все стояли на крыльце, и он обнял ее за плечи, чтобы стало хоть немного теплей, и говорил, говорил, чтобы унять дрожь — слова помогали, они приходили без усилия, сами. *Слова от боли* — то есть порождаются ею? или могут ее заговорить? *Сравнить с собой это беззвучное, разлитое в воздухе...* Вспыхнула зарница, вновь показалось что-то ясным; но тут же погасло.— Почему-то вспомнилось, как маленьким испугался один в пустом доме, думал, никто за мной уже никогда не придет. Страх потерянности. И еще знаешь, на чем себя сейчас словил? Что я хочу понять жизнь, хочу в ней что-то почувствовать, постичь, но я боюсь ее испытывать. До сих пор все надеялся что-то объехать на кривой... на юморе, уме, на воображении. В этом тоже есть своя правда. Был один человек, он объяснял, что иные вещи надо оставлять профессионалам. Забой скота, например. Или обхождение с мертвецами. У них приспособлены чувства, им ничего.— Почему вдруг вспомнился Симеон Кондратьевич? Все казалось тогда связано: ночь, тетя Вера, ее недосказанная тревога или неизбытая забота, вспышки зарниц и листки Милашевича в комнате, куда они наконец вошли, не выдержав зябкой прохлады. Чайник стоял на включенной плитке, но при таком накале вряд ли мог скоро закипеть. Стены дрожали в ознобе, и они прижимались друг к другу тесней, и он все говорил, чтобы она не исчезла — не заметив, в какой миг стал бормотать уже не вслух, про себя: все совершалось само собой, с ними, но не их усилием.— Вот так, вместе легче, ведь и тебе тоже? И тебе. Люди тянутся друг к другу, чтобы не так страшиться потерянности. Чтобы укрыться, прижаться, вжаться. Страшно, о да, но мы ищем проникновения, чтобы

за ним успокоиться. Мы тянемся к успокоению, как к концу, и лампа сама собой гаснет, ненужная, и время растекается лунным соком, разливается музыкой, благодарностью и восторгом, нежностью скрипки и нежностью смычка... Вот так. Как все теперь просто. Даже, странно — что почудилось там при свете зарницы? Чем смутилась душа? Теперь вот все заправду, с заправдашними заботами и проблемами, конечно, да это уж ладно. С этим как-нибудь справимся. Мама все говорила, что не дожидается внука. Почему ж не дожидается? Дождется. Теперь надо представлять и устраивать реальную жизнь с этой настоящей, незнакомой в сущности женщиной, которую ты перехватил и увлек, когда она не тебя искала, — ну что уж теперь; вот замерла, уже не дрожит, даже не шевельнется — женщина, которую ты видел прежде разве что в библиотеке, не сказавшая с тобой до сих пор ни слова, так что все удивительное, необыкновенное, что привиделось тебе, может, было порождено лишь твоим же чувством?..

18

И свет, вспыхнувший внезапно — словно вышвырнувшийся в пустоту, где вместо музыки грохотали капли из крана: бах бах! — в трезвость, беспощадную, как вид пустой одежды на стуле и на полу, мучительную, как обруч, стиснувший голову. Коридор пустой, гулкий и страшный. В комнате Веры Емельяновны, на столе, отодвинутом вбок, высился гроб, украшенный бумажными цветами, два венка с траурными лентами прислонены к ножкам стола и закрывали их. Тетя Вера лежала со сложенными на животе руками. Длинные черные волосы успели вырасти на ее подбородке и под носом, завершив сходство с дряхлым и уродливым гидальго. Под прикрытым левым веком белела полоска неживого глаза с застывшим в зрачке последним видением: толпа перевернутых крохотных детей, сиротливых на бесконечной дороге. Кровать была уже вынесена, в стене слева открылась боковая дверь, тайно всегда существовавшая под обоями; клочки их свисали с рамы. Супруги Титько помогали протиснуться сквозь пролом серванту, пока без посуды, но уже за-

ставленному сувенирами стран, которые они посетили или собирались посетить. Эльфрида Потаповна в домашнем халате и бигуди налегала сзади, супруг приподнимал низ мебели над порожком. Он был в пижамных штанах, но в парадном пиджаке со значками и планками государственных наград. Торчал полосатый зад, колыхался избыток недоброкачественной, как нарост, плоти; рты были раскрыты, но хрюканье натуги совершалось безмолвно. Безмолвно. Справа тоже разверзлась стена,— бывшая актриса Леночка Каменецкая отстала, не могла втащить одна трехстворчатое трюмо. Оно застряло в проходе, увеличиваясь за счет распахнувшихся частей, хоть поди помогай старушке, но страшно было, шевельнувшись, привлечь соседские взгляды и оказаться перед ними нагими. Свет накалялся все ярче, до невыносимой белизны; непонятно было, как выдерживают лампы, и Зоя уже с чемоданчиком, через руку зимнее еще пальтецо на рыбьем меху, свет пронизывает ее, она растворяется в нем, готовая исчезнуть, и не удержать ее было, как в сновидении, когда веки уже пронизаны светом дневного солнца. Косметика текла по лицу Эльфриды Потаповны, лицо оплывало, теряя черты, супруг ее напоминал бесформенный и безликий кусок, а Каменецкая, за неимением жира, усыхала совсем в крохотную старушку. Наконец сервант перевалился через порог, зад отставного полковника столкнулся с сухоньким задом артистки — легкого движения хватило, чтобы соперница утерjala равновесие. Она сидела на полу рядом с непокорным своим трюмо, как кукла, разведя ноги и кулачком размазывая по щекам бессильные, подцвеченные тушью для ресниц слезы. Губы ее кривились в плаче: «Тетя-я... тетя Вера-а...» Такса Долли скулила с ней в лад, как человеческий уродец.

Почему она исчезла, не сказав ни слова, не оставив даже записочки с объяснением, исчезла, пока он бегал в больницу, в загс и куда-то еще оформлять бумаги для похорон, но ее вещицы, то есть чемоданчик и пальтецо, оставив у себя в комнате (где еще стоял запах

перегоревшего, расплавленного чайника, из которого выкипела вода) и ее попросив никуда не выходить, даже запереться, если хочет? Все казалось уже решенным без слов, связанным теперь лишь с житейскими проблемами, которые были его заботой, и если даже на какой-то миг он испытал смущение, то ведь не выразил его никак, не могла же она слышать случайных мыслей — именно случайных, влетающих без спросу, от них никто не замкнет себе ушей, просто надо не считаться с ними. Что произошло? Что он сделал не так? Вот что-то приоткрылось — или почудилось? — и вновь мучительная невозможность восстановить сон или вспомнить слово, как бывало перед россыпью фантиков, и знакомое, обостренное до крайности недоумение похорон, когда знаешь, что душа твоя не дотягивает до значительности происходящего. Воды сомкнулись, горит над поверхностью солнце. Что-то было не так, что-то все время было не так. Антон испытывал это чувство за все множество людей, которые пришли проститься с тетей Верой и вместо знакомого лица видели чужое, измененное смертью, а потом добирались к новому кладбищу мимо ржавых сарайчиков, мимо городской свалки, холмов тряпья, холмов бумаги, холмов консервных банок, холмов матрасных пружин, холмов бракованных кукол, мимо барака с табличкой «Бетонный цех», мимо конторы с призывом к владельцам могил убирать мусор и обязательством выполнить досрочно годовой план, к холму свежей глины с железной табличкой «102 участок»; на вершине стоял красномордый, голый по пояс могильщик, пальцы в перстнях и кольцах лежали на черенке лопаты, как на рукояти меча, воткнутого между ступней. Нет, погодите, нельзя все-таки нас так просто... есть все-таки жизнь человеческая и смерть, наша тоже — и есть устройство из костей, плоти, внутренностей, которое перестало вырабатывать энергию и теперь лежало в ящике на территории для таких же отработанных оболочек, над венком из бумажных цветов и стружечной зелени, над фотографией чужой женщины в красной рамке, жалкой и не имевшей отношения к памяти, к чувству, которое все-таки померещилось... *Страх и торжество... так больно, так тяжело...*

Наверно, он не мог назвать себя трезвым еще до того, как вошел, взъерошенный, через зеркало в потный воздух поминок, неизвестно кем и неизвестно где устроенных. Кажется, на кладбище кто-то полужнакомый ему поднес, как родственнику, граненый стаканчик, и он выпил, даже не осознав, что пьет, а потом куда-то ехал в тряском похоронном автобусе, и вроде бы сперва не туда попал, потому что увидел за накрытым столом девушку в подвенечном наряде, она плакала о чем-то — о тете Вере? о расстроеной свадьбе? о сбежавшем женихе? — нет, жених тут же возник рядом, опровергая обидный домысел, их тоже можно было понять, угощение так и так выставлено, отчего бы не совместить, не поплакать обо всем сразу, Антон всех готов был понять, он даже с кем-то попутно чокнулся, но решил пройти дальше, в другую комнату или квартиру, чтобы увидеть кого-нибудь знакомого, лучше всего маму, которая из-за болезни на похороны не приехала, он помнил это, но почему-то здесь надеялся найти, да хотя бы соседей, Каменецкую или Титько, он и с ними ощущал в тот миг родство потерянности. Хруст веток, дремучий ломкий сушняк неясных разговоров лез в уши, в щеки, Антон протискивался куда-то дальше. Кругом теснились оставшиеся без тети Веры сироты. Сосредоточенно жевала за столом толстая женщина, рядом с ней мальчик, уменьшенное ее подобие, и в ней самой тоже угадывалось маленькое существо, наголодавшееся когда-то на всю жизнь. Надо есть, пока угощают, кто знает, что будет потом? Однорукий инвалид пытался надуть воздушный шар, пьяный друг мешал: кончай, дурак, сейчас лопнет. Не успели поиграть в свое время. В какой-то момент Лизавин заметил, что сидит за маленьким столом на опасно хрупком детском стульчике. На стенном коврике петух с косою шел сгонять лису с чужой жилплощади. В окно тянуло ветерком из далекой страны Аристань, куда мы думали съездить однажды после дождичка, да все не выбрались. Что-то не так, — сказал Лизавин соседу, и тот кивнул, соглашаясь. Не к кому стало приткнуться... только блевать лучше не здесь, лучше выйди, друг, я понимаю... Посреди комнаты начинался танец, и там наконец Антон вдруг увидел

знакомое лицо, несомненно знакомое, только не мог сразу вспомнить чье, а между тем было очень надо, он чувствовал. Как же это?.. сейчас... вот:

Руку в руку, станьте рядом,  
Топот ваш войдет в века,  
Вы побеги новой жизни,  
Выплюнутой из стручка.

Откуда это пришло? и что-то еще надо было вспомнить? Почему казалось знакомым это чужое лицо с начальственными бровями? — толстое служебное лицо, какие выдают по номерку вместе с ключом от кабинета? — оно вызывало смутное беспокойство, которое тоже требовалось разрешить —

Наши лбы набухли мыслью,  
Наши груди дышат хрипло,  
Скорбный разум наш кипит  
Нетерпением и криком...

Топтались среди пира сироты с усердными застывшими лицами, создавая музыку подошвами, голосами, ладонями, томились внутри громоздких тел маленькие обморочные существа, требуя что-то вспомнить, а между тяжелых обутых ног, мужских и женских, скакал, ничего не боясь, младенец с куриной костью в розовом кулачке —

Здесь, в ковчеге среди сирот,  
Твой начнется к счастью взлет...

Петр Гаврилович! — вдруг узнал наконец Лизавин: это был Петр Гаврилович, Тонин отец, большой человек в городе, Антон его прежде видел лишь мельком; значит, и он тети Верин Петюня? и он осиротел? От этого внезапного понимания захотелось податься к нему (пискнул под подошвой резиновый еж), взять за плечо, объяснить, как же так вышло с Тоней; я ведь ее обижать не хотел, вы не думайте, я искренне, но вышибло из колеи, понесло, никакой связи, хрен знает что, ведь это же бред, в самом деле, что даже подуманное слово уже существует — каким это образом? — так было бы невозможно жить, зачем так?.. и уже с холодком в спине, понимая, что вновь занесло не туда, что ты уже сорвался, куда-то летишь — но что же еще вспыхнуло в последний миг, пока нога скользит к краю и ты лишь выставил ладонь, оберегая глаза?..

## 4. Свободное падение

### 1

Нам придется еще на время зависнуть в не слишком благоуханном пространстве, где сила тяжести отменена, разрозненные части человеческих тел торчат сверху, снизу, с боков: пальцы в продранных липких носках, перхотное плечо пиджака, кисть руки в грязном манжете без запонок, татуированный торс без головы, а голова отдельно постигает ощущение арбуза, стиснутого на пробу ладонями. И все это, оказывается, можно объяснить простой формулой «Присадка № 3», потому что Кеша Бабич, человек со ста четырнадцатью записями в трудовой книжке, лично выпивал с химиком ликерного завода, который изобрел двенадцать присадок к водке.

— Присадок? — переспрашиваем мы.

— Ну, добавок, значит, а по-научному присадки. У каждой особое действие на личность. Присадка номер первый: ты становишься разговорчив, как блядь. Все тормоза долой, считай себя готовой находкой для первого встречного шпиона. Номер второй: действие совершенно обратное. Ни слова из тебя не выжмешь, хоть за яйца подвесь. Молчишь, как Герой Советского Союза на допросе. Можно заранее готовить звездочку. Посмертно. Далее, присадка номер три: на шесть, десять или двенадцать часов, смотря по дозе, у тебя начисто отшибает память.

— Почему?.. при чем тут присадки? — пробовал Антон вспомнить какой-то нездешний резон и даже чуть встряхивал головой, чтобы собрать вместе рассыпанную мысль.— На разных людей разная доза просто по-разному действует. Зависит еще от состояния.— Но зря было даже оглядываться за сочувствием и поддержкой. Лишь чье-то лицо в грязном поту опустилось с нар пониже к центру беседы. А левый глаз заплыл ячменем, и веки разлепить можно только пальцами. Нет, в здешнем измерении достоверны были именно подпольные и таинственные возможности жизни.

— Я с ним говорил лично, вот как с тобой. Большой был раньше человек. Ему за эти присадки



полковника дали и премию. Еще тогдашнюю, Сталинскую.— Большой Кешин палец показывал куда-то за перхотное плечо, в прошлое, а движение брови напоминало, что тогдашняя премия была не чета нынешней, как монета старинной полновесной чеканки.— Государственный же смысл, усеки. Угощают тебя, дают выпить, а на другой день говорят: вчера, в таком-то часу ты убил человека. И все. Ты в руках. Ничего опровергнуть не можешь, потому что отшибло начисто. Где, что было с тобой в этом часу? Может, и убил. Провал.

2

Ныла струна или жилка в животе, под сердцем. Уже и зацепиться не за что, и оглядываться бесполезно — позади пустота, слепое пятно. Если очень напрячься, оттуда высвечивался еще изжелта-белый ноготь ноги, похожий на изуродованное, отдельное от тебя существо, в четком электрическом ореоле, слизь кафеля у щеки, в чьи-то лица вглядываешься с жадным стыдом, как в зеркало. А эта миловидная ровесница с рубиновыми сережками могла ли взаправду быть судьей? Все что-то писала, милая, склонив голову и наморщив усердный лобик, толстый домашний милиционер диктовал ей про трамвайного безбилетника, нецензурное оскорбление и даже физическое сопротивление. Интересно, о ком это? Второй вопрос: как пишется «безбилетный», вместе или отдельно? Вопрос понятен, это ты, кажется, знал, это ты даже с радостью — хоть проясняется, что случилось. Но ненадежно, ах, ненадежно было заполнять жизненный провал с чужих слов, милиционер оказался не тот, бумажка попала не в ту папку, трамвай пришлось заменить незнакомой квартирой, но все же с физическим сопротивлением и даже разбитым зеркалом (Боже мой, Боже мой!) — обрвать бы на этом! Ведь протокол уже заполнен, так хорошо, без грамматических ошибок, может, не стоит переписывать? Суток все равно пять, а зеркало можно оплатить так просто. Я со своей стороны — всегда. Если чем смогу быть полезен. Еще бы попросить — услуга за услугу, — чтоб не сообщали на место службы. Потом проснуться как ни в чем не бывало... о Господи!

Но было еще другое: холодок свободы, обвевавший незащищенную голову, трусливое и отчаянное замирание сердца, запретный восторг невесомости, испуг новизны, на которую сам бы никогда не решился (еще б не хватало; нарочно сюда не заглядывают, каждому свое, на то и даны нам разгородки квартирных укрытий), разве что в безответственных видениях, когда примериваешь что-то этакое, недозволенное, или какой-нибудь крайний разврат (хотя где тебе!). Теперь нечего было решать, возможность выбора осталась в другой жизни, там, где верх и низ. Когда еще грохнешься! а может, и пронесет как-нибудь, может, овладеешь падением, как полетом, и окажется, что несет тебя не вниз, а куда-то вдаль. (*Пусто, чисто, холод в небе, тяжесть тела исчезает...* прикосновение невнятной музыки.) Случившееся было невероятно, ужасно, постыдно, поскорей бы отсюда выбраться, как из кошмара; но если договаривать честно, то, что ожидало там, наяву, после пробуждения, казалось еще ужасней, хотелось эту неизбежность оттянуть, не думать о ней — и черт побери, уже оклемалось и любопытство, заставляло вслушиваться, жадно вбирать воспаленным единственным глазом зарешеченное мутное окошко, бурые липкие стены, груды окурков под нарами, «Моральный кодекс» в рамочке на стене, мгlistый воздух вокруг негаснущей голой лампы — и утром в сиянии солнца развороченный марсианский пейзаж, бредовую конструкцию из труб, увенчанную белоснежным писсуаром, красочный плакат на заборе: «Чередуйте умственный труд с физическим» — и другой, поменьше: «Тормозная жидкость «Нева» — яд»; мятые, патлатые фигуры с лопатами, носилками и тачками среди рытвин и ям. Их возили разравнивать и прибирать площадь для каких-то торжеств, на которые ждали высокого столичного гостя; конструкция из труб оказалась остовом будущей трибуны для руководящих лиц, писсуар был, оказывается, его необходимой принадлежностью, а ты как думал, без него там долго не прстоишь, не помашешь ручкой, особенно в возрасте, когда организм утратил выносливость — непонятливому кандидату наук и это, наконец, объяснили, и он впервые с недоступной ему прежде стороны

оценил, почему руководящие тяготы и почести посильней мужчинам, чем женщинам. Как многого он, оказывается, прежде не знал! Он не слышал о присадках, не представлял, откуда в закрытом милицейском учреждении могла найтись возможность опохмеляться среди работы, не подозревал, что в вареную колбасу евреи на местном комбинате подмешивали для веса туалетную бумагу — ну как же, недавно суд был, в газете писали, потому и бумаги нет, и колбасу есть невозможно. И не стоило поспешно опровергать, что колбасы тоже не прибавилось, а в газете вроде бы писали другое, что все это... как бы выразиться осторожнее? — миф, что ли? Как будто не знаешь сам, что газеты надо читать тоже умеючи, а не слово в слово, как будто по роду занятий не приходилось тебе убеждаться, что так называемые мифы бывают для истории и жизни реальной так называемых фактов — даже странно, что Кеша Бабич должен был напоминать такие вещи тебе, толкователю фантиков. Нет, правильно было склонить ум, доверчивый, недостаточный и расслабленный, причаститься к общей религии — худо отщепенцу, некрещеному среди крещеных, трезвому среди успевших похмелиться, такому рубля не подадут.

— Ну, чего стоишь, как пидарас? На, бери выпей.

4

Хрипела из репродуктора музыка. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Культурные трудящиеся с плаката над забором смотрели вдаль куда-то поверх сомнительных землекопов, которые пристроились в теньке за кучей земли — но взгляд плакатных людей все же косил слегка вниз на бутылку с переходящим стаканчиком, на расстеленную газетку, где лежали буханка, соль в спичечном коробке, зеленый лучок, соленые огурцы и даже та самая колбаса из туалетной бумаги. С одной стороны, казалось, эти патлатые хмыри в жеваной одежде и с черными кругами вокруг глаз отчасти следовали правильному призыву и готовились сменить физический труд интеллектуальной беседой, но можно ли было ее назвать умственным трудом? — не уверенные в этом, трудящиеся предпочитали делать вид, будто просто на них не смотрят (как, впрочем, поступали и милиционеры поодаль, угощавшиеся из

того же, загадочного для кандидата наук источника). Нам не страшны ни льды, ни облака. Лизавин чувствовал себя здесь глупее всех, он стыдился своей неспособности к мату и слушал, не вмешиваясь, поразительные разговоры о технологии превращения в выпивку шеллака и политуры, о начальстве ближнем и дальнем, о загадочных явлениях жизни, о женском коварстве, об удивительных ухищрениях заработка и воровства. Ну то есть, может, для такого, как он, удивительных; кому нынче не приходилось слышать, как выносят через проходную спирт в резиновых грелках или велосипедных камерах, спрятанных на теле, как вывозят мясо в пустых кислородных баллонах? Не стоит и повторять. «А мне воровать незачем,— высокомерно заметил кто-то.— У меня баба в «Гастрономе» десятку в день ч е с т н ы х имеет, на одной оберточной бумаге». — «Все воруют,— зашумели вокруг недовольные заносчивым таким чистоплутьством.— Вот ты? И ты вот — воруешь?» То был неприятный момент: кандидат наук уразумел, наконец, что вопрос обращен к нему, и, смешавшись, пожал плечами. «Мне нечего», — пробормотал сконфуженно. Разве что скрепки с кафедры, бумагу иногда, тут же стал вспоминать он, чтоб оправдаться вдогонку. Боже, какая мелочь!.. хотя позвольте! а фантики Милашевича? — целый, если угодно, ворох бумаг унес из государственного хранилища, это, знаете, тоже... Надо бы сказать... Но пока он переживал, огонек разговора переметнулся уже на другие материи: о том, как ворует начальство, и что они теперь, как евреи, особая нация, друг дружку держат, попробуй сдвинь; что к власти, впрочем, втихомолку пробираются уже скорей мордвины, они не так заметны, фамилии русские и вид русский, но друг дружку знают, вот и просочились всюду; что правильно говорил Феликс Эдмундович: пять лет просидел в кресле — и все, гнать надо к такой матери, дай людям пожить. Потому что у нас каждый молод сейчас... То есть какой Феликс Эдмундович и где говорил? У Лизавина уже хватило, однако, соображения не встречать, не требовать уточнения. Не в точности дело, существенней было чувство (не впервой им подмеченное), что при всех счетах с ближним начальством к власти вообще большинство относилось как подросток к родителю, которого не обязательно любить, но

в котором уважаешь силу, тем более знаешь сам, что с тобой надо поостороже, и даже если сейчас пострадал не по заслугам, сколько других проделок тебе не заметили или спустили с рук? — сам-то знаешь? без этой строгости, без казенной заботы о безопасности твоей, кормежке и крове над головой — что бы с тобой стало? Не, мужики, чего жаловаться? Плохо, что ли, живем? Работа легче, чем там. Кормят. А людей каких встретишь, а наслушаешься! Не, жить можно... Да, да, думал кандидат наук, вслушиваясь в нараставший внутри гул, как будто именно сейчас готово было открыться ему давно зревшее понимание. Надо взглянуть другим умом. Что есть истина и что наоборот? Что есть зло, а что добродетель и благо? — вот этот глоток пресловутой отравы, например? Не в том совершенно дело. А в чем тогда? В путанице жизни, вот в чем. Надо было сперва сравняться с общей температурой, причаститься к гениальности нетрезвого состояния, самой доступной — не случайно же нет актеришки, который не сыграл бы с блеском пьяную роль. Откуда берется гротеск, остроумие, точность? — плохо лишь, что ничто затем эта гениальность не открывает, а непосредственно переходит в маразм.

5

Сидели и лежали, облокотясь, как древние греки, слесарь и газовщик-монтажник, шофер, телефонист, музыкант, знакомый на вид могильщик — рабочий погребальной конторы с пальцами в перстнях и кольцах, пенсионер, парикмахер, грузчик, продавец мебельного магазина, и Кеша Бабич со ста четырнадцатью записями в трудовой книжке рассказывал, как хорошо зарабатывал, изображая в кино немцев, которых советские солдаты и особенно разведчики били прикладами по голове. Его били по голове в двенадцати фильмах, он на этой работе потерял зубы, зато считался незаменимым, получил звание заслуженного, имел московскую квартиру, жил с артистками и ужинал каждый день в ресторане. Разговор вновь переходил на тему еды и выпивки, кто-то вспомнил про охоту на уток в городском парке: «Ничего уже, пхля, не боятся, ручные. Только цоп за шею, хрясь»... — да, но когда ощипали их и зажарили, само мясо на вкус оказалось

таким же бензиновым, как вода, в которой они плавали, которую пили и которой пропитались до мелкой клеточки. «И что?» — «Схавали, что. Под водку очень даже неплохо». — «Было бы выпить, а закусить хоть стаканом». — «Я с ней ложиться не захотел, — вел между тем другую тему кто-то за спиной Лизавина, — так она разоралась, сука, рожу сама себе расцарапала, выбежала за дверь»... Да, да, — пытался выявить точней восхищенную мелодию Лизавин. — Мы сами уже неизвестно из чего состоим. Но ведь не погибнем, нет. Мы — чудо приспособления. Возможно, зря нас пугают будущим? Микробам, насекомым уже нипочем ядохимикаты, они их переваривают как пищу. Разве в сточных водах прекращается жизнь? Она, может, перерождается в новые; небывалые формы. Над всеми странами и океанами. «Да, — встревали голоса беседы за спиной, — бабе посадить мужика раз плюнуть. Вот я знаю, один жениться раздумал, из института научный работник. А у ей папаша начальник не начальник, в торговле тоже заправлял. Услышал от дочки, что тот другую привел»... Нет, постойте, пробовал довести свою тему Лизавин. О чем я? Да... может, в наших переиначенных генах зарождается с недавних пор какой-то особый разум, выше прежнего — и вот мы уже не хотим отсюда и боимся другой жизни. Наш желудок уже переварил и усвоил этот жиденький клейстер на водиче, с катышками непроваренного зерна, этот суп из рыбьих хвостов и косточек, нашим легким могут, оказывается, служить воздухом эти испарения, извержения грязных тел, настоянные на табачном дыме и запахе порченной олифы, а бредни, рассказы, обрывки слухов, газетных фраз вполне, вполне способны заменить... «Я, говорит, не только тебя, падлу, засажу, ты у меня с работы слетишь и диссертацию хрен получишь». — «Вы это про кого?» — не выдержал, наконец, кандидат наук и повернулся лицом к говорящим. Ему ответили не сразу, видимо, не очень довольные вмешательством, наконец кто-то пояснил, соглашаясь принять в слушатели: «Да вон, рассказывает, как одного ученого баба засадила». — «Но диссертация при чем?» — с неуместной, пожалуй, горячностью настаивал на уточнении Лизавин. «Ну, он уже кандидат считался или, не знаю, доцент». — «Я сам кандидат, — без надобности погордился Антон Андреевич. — Какое

отношение может иметь одно к другому? Тут, понимаешь, диссертация, там, понимаешь, торговля. И как это можно так засадить человека?» — «А тебя как засадили? — отвечено было ему, и все засмеялись охотно. — Сперва на пять суток». — «А потом?» — совершенно уже бессмысленно полубопытствовал Антон Андреевич; он хотел сказать совершенно другое; а именно: «Меня никто не сажал», и тут-то понял, что именно этот подтекст и зацепил его, заставил вмешаться в разговор, который к нему конечно же не имел никакого отношения. «А потом»... — отвечено было ему и добавлено в рифму, но невоспроизводимо, опять же к общему удовольствию. Лизавин сам засмеялся вместе с другими над собственной глупостью, над глупой тревогой, которая без причин отравила почти уже обретенную легкость и при всей вздорности своей стоила ему бессонной ночи.

6

Гнойный свет немеркнувшей лампы, полуголые тела в черном поту отблескивали, как поверхность грязи. С хрипом, клекотом, кашлем, с астматическим свистом набирались они из вязкого воздуха энергии для завтрашней жизни, и облачка сновидений возникали над ними, как пар таинственной работы. «Постой, сука», — волновался Фирсов, казанский газовщик; он опять безуспешно пытался пропить с друзьями в ресторане «Огонек» свои полторы тысячи, полученные в честь окончания трассы, а у выхода уже поджидал «воронок», и наутро милицейский капитан советовал ни о каких деньгах больше не заикаться, мотать из города, чтоб не было хуже. Он и не заикался, но в полудреме или наяву хотелось для облегчения вспомнить, когда самому удавалось прибыльно украсть или обмануть кого-то — вспоминалась деревенская бабка, которой он пытался всучить рубль за мешочек сушеных корешков, стоивший в городе четвертной, а она, дура, совестилась брать, и он потом обнаружил-таки этот рубль у себя в кармане — не получилось торжества. «...мать, — жаловался, ошалело вскочив, полуголый могильщик, — ну что за... все дерьмо снится. К чему бы это? — и сам себе отвечал: — К деньгам». Все сны его были к деньгам, хоть и укатала его стерва жена на

десять суток, и теперь конкуренты могли перехватить место, унижавшее до упора кольцами и перстнями все десять пальцев обеих рук. Обведя дурным взглядом лежащих, он валился опять на жесткий топчан, который оставлял на теле отпечаток решетки, в новый сон, где друг детства Милька Житомирский хвастался перед ним своей шестипалой левой рукой, одиннадцатью пальцами — обидно было сознавать, что других сама природа наградила большой потенцией счастья. Что-то в жизни выходило не так, ночью ты оказывался незащищен против этого чувства. Из сумеречного угла слезящийся глаз в красных прожилках и со зрачком, отверстием в бездну, смотрел на всех, мигая.

7

— А, Симеон Кондратьич? что ж это, в самом деле? — О чем вы? — Обо всем об этом. Поди вот, суди о давней чужой жизни, когда в собственной вчерашней оказывается слепой провал, и его, может, уже не заполнить с уверенностью. Слыхали? — как будто предложили мне собственную же историю, но в каком виде! Бред, чушь. — Ну и не надо об этом. — Конечно, не может этого быть. — Хотя бы по времени не сойдется. Если обо мне — когда это могло успеть разнестись? — Вы правы, конечно, хотя со временем, знаете, штука такая... — С другой стороны, мне теперь вспомнилось, как на похоронах один мой знакомый, Волчек Семен Осипович, местный журналист, я вам о нем рассказывал? — он как-то в бане прочел мне занятную лекцию о природном неравенстве и искусстве политического равновесия, — так вот, вдруг подошел, стал спрашивать, как дела и не интересуется ли меня другая работа? Открылись, мол, как раз неплохие вакансии в обществе «Хочу все знать» и в областной библиотеке, очень приличные, туда не так просто попасть, но он бы, мол, мог посодействовать, у него связи, потеря в зарплате при моей кандидатской степени сравнительно небольшая и можно подработать платными лекциями. Ерунда, вы понимаете, совершенная, как можно менять на такое мою работу? И главное, с чего? Я подумал, он это как бы шутя, и тон у него был соответствующий, но все же с оттенком, я теперь вспоминаю. Если, говорит, что, имейте в виду. Что он подозревал?



Или знал? — Интересно, Антон Андреевич, интересно. А вы спросите у него при случае.— И потом, он хорошо знает Петра Гавриловича, Тониного отца, того самого.— Смотрите, как складно у вас получается. Не зря упражнялись на моих фантиках составлять всяческие сюжеты. Может, вы и в квартиру ту угодили не сами по себе? — Какую чушь мы с вами несем, Симеон Кондратьич! Все не о том.— Виноват, если что не так. Я просто ваш тон поддерживаю. Так о чем же вы тогда? — О том, можно ли в жизни что-то понять вообще. Почему все рассыпается, все выходит не так? Почему она все же ушла? Как мне ее искать? И вообще, искать ли? — Да, вы теперь способны это понять.

Оборвалась пуповина,  
С гноем вытекла отрава,  
Под ногою нет опоры,  
Пусто, ветрено и страшно.

Не вспомнили еще, откуда? — Что это? — Неважно. Но музыка, Антон Андреевич! Теперь-то слышите? Мелодия жизни потрясенной, перевернутой. *Зачем так? Я этого не хотел... Кто подслушивает наши желания?.. Пришла и пленила меня... Пленила... Мелодия потери и мелодия возвращения.*— При чем тут это, Симеон Кондратьевич? Я засыпаю. Не надо. Я хочу спать. Боюсь, это вообще не по мне. Не по силам, не по способностям.— Боже мой,— в тоне философа послышалась нервность.— Да погодите же. Неужели вы еще не поняли, Антон Андреевич: происходящее с человеком объясняет, кто он такой? Если с вами что-то случилось, значит, это про вас. Раньше почему-то с вами такого не случалось? — Однако, Симеон Кондратьич! Значит, вот что про меня? Вот чего я достоин? — Не надо, Антон Андреевич. Не притворяйтесь, будто не поняли. Именно сейчас, пожалуйста...

8

*И попробуй пойми, почему зрачок остановился на тебе, хоть ты не старался привлечь внимание, наоборот, замер, не шевелился — напрасно! Ты избран, мечен.*

Если б ему еще дали время чуть-чуть подумать, прийти в себя! Нет, он только пытался вспомнить, вернуть провевшую как ветерок, растаявшую мелодию, когда за ним явился спаситель, тот самый Волчек, журналист, на второй уже день буквально увел за руку, озабоченно, а впрочем, улыбочиво покачивая головой, маленький, доброжелательный, загадочный, и Лизавин даже не спросил, откуда у него нашлись такие возможности, связи, тем более что и не надеялся получить ответ. Он все вслушивался во что-то, когда рассеянно и безразлично писал под диктовку заявление о переводе на новое место, где никто не обратит внимания на стриженую голову новичка, потому что не знал его прежде и мог думать, что он так всегда ходил из прихоти вкуса. В какой-то миг дрогнуло было сомнение, не слишком ли он спешит и нельзя ли устроить дела на прежнем месте, пусть даже не без потерь — никто его не подталкивал, кроме Волчека, который будто бы руководствовался каким-то знанием, хотя еще неизвестно каким. Но это сомнение растворилось в более общем: где выбор и где неизбежность, где случай и где умысел? *Страх пониманья... Зачем так? Я этого не хотел...* Он вслушивался в неясное бормотание, уже вернувшись в прежнюю жизнь, но как бы с другого хода, вслушивался, выхаркивая из легких накопившуюся за два дня мерзость, перебирая карточки в библиотеке и заваривая себе чаек в обеденный перерыв — а холодок предчувствия уже касался кожи. *Словно дуновение ветра перед тем, как солнце уйдет за облако...*

## 5. О словах, или Начало новой веры

### 1

*словно дуновение ветра перед тем, как солнце уйдет за облако*

*разлетелись бумаги на столе и упала чернильница  
ухом прикинув к земле, к стене, к стволу дерева,*

*вот, вот, ты уже близко. Я чувствую, я слышу,  
Господи! Каждый шаг отдается во мне дрожью*

*Плот подплыл, мы на него всходим, и кормчий нас  
ждет. Осторожно, говорю я, не оступись.*

*Протянул руку — когда это было? И вот ладонь  
оперлась на мою. А что вместилось между началом  
движения и концом?*

*Длительность времени создается веществом жизни,  
которым это время заполнено. Для души и памяти  
вечность неотличима от мига, в ней все присутствует  
одновременно.*

*середина вырезана, как на кинематографической  
пленке, концы склеились*

*Костяшки пальцев белеют сквозь напряженную  
кожу, уже посиневшую от холода. Без кос. И пальтецо  
нездешнее, легкое для нашей-то осени*

*сгустилась, как снежинка из ноябрьского воздуха*

*Пришла и пленила меня. Я знал, что так будет.  
Я думал, я хотел, я старался.*

*Кто подслушивает наши желания? Страшно быть  
не так понятым. Лучше ничего не хотеть.*

*Мальчик приоткрыл рот, слюнка любопытства и са-  
мозабвенного усердия стекала с розовой губы. Он не  
понимал, он единственный из нас ничего не понимал.*

*Старики на берегу сбились в кучу. Кто-то, подняв  
ногу, пытался попасть в увязшую галошу. Ветер тре-  
плет седые бороды. Рябь на воде.*

*передернуло ознобом крыши и колокольню*

*вороны под встревоженными небесами — пародия на  
трагический хор*

2

Сейчас, сейчас, только унять биение сердца... до сих пор не удается думать об этом спокойно. Как, из какого столкновения мыслей, невнятных голосов или чувств высеклась среди темноты крохотная поначалу искорка? — настолько крохотная, что Антон не сразу

и взгляделся в ту сторону. Он все пытался вспомнить автора застрявших в уме стихов, и вдруг всплыла перед глазами какая-то давняя тонкая книжица о революционных событиях в Столбене; стерлось название, но ясно увиделся старый грязный шрифт и неровные строки, бумага ломкая, рябая от древесных соринки, даже место на первой странице вверху, где вспыхнуло, наконец, имя: Иона Свербеев — тот самый поэт-самочка, будущий деятель Нечайской республики, подробностей о котором Лизавин безуспешно доискивался, как мы помним, в архиве, да так и обошелся без них, вообще без Свербеева, только вот попутные строчки, оказывается, прилипли. (Сейчас, сейчас, тут хочется не упустить сцеплений.) Это были воспоминания в сборнике, выпущенном всего года через три после событий, еще не правленные, по тогдашним временам, редактором и потому сохранившие подлинность полуграмотной речи и свежее ощущение хаоса, из которого рождалась история. Автор прибыл из Петрограда вместе со Свербеевым и еще какой-то женщиной в Столбенец ускорить захват власти. Местных большевиков в городе было всего трое, и хотя в столице революция уже совершилась, они пока готовились к отчаянным боям, вербовали себе сторонников, вели пропаганду в казармах Овчинной слободы, где квартировал резервный полк, добывали оружие у проезжавших через станцию дезертиров — Лизавину в основном запали попутные подробности, вроде того, что пулемет системы «Кольт» можно было в те дни купить на базаре за триста рублей, или как перед самым Столбенецом дезертиры в поезде чуть не ограбили спутницу Свербеева, она выиграла время, сама вынув из ушей и отдав им золотые сережки, а пока те пробовали золото на зуб, подоспели товарищи. Вся подготовка местных деятелей оказалась, однако, излишней; едва узнав о приезде вооруженных людей из столицы, командир полка с офицерами скрылись без всякой попытки сопротивления — то ли не разобрались, что прибывших всего трое, приняли за вооруженный отряд всю толпу, что вывалилась из поезда на стоянке, но в город не собиралась? — задним числом и недоразумение выглядит неизбежностью, а сила и слабость в мире подобных событий мерится не числом винтовок. Вождь столбенецкой ячейки Федор Перешейкин, который погиб

в тот же вечер, как сообщала история, при подавлении контрреволюционной вылазки, оставив свое имя городской улице, а также рабочему клубу, был столь поражен легкостью переворота, что при известии о бегстве полковника расхохотался и хохотал минуту, другую, третью, куда автор воспоминаний не догадался поднести к его стучащим губам стакан воды... Сейчас, сейчас... Антон даже не ожидал, что столько запомнилось; говорят, в мозгу нашем хранится память, о которой мы сами не подозреваем, но чтобы извлечь ее, нужен какой-то электрический укол именно в это сцепление нервов, в точку как будто на задворках сознания. Имя автора, и то испарилось; этот человек пробыл в Столбенце всего дня три, а потом уехал по железной дороге творить историю дальше. О некоторых тогдашних событиях он упоминал с чужих слов, например, о том, как была арестована среди заседания и препровождена в тюрьму городская управа во главе с детским врачом Левинсоном. Вспомнив этот эпизод, Антон впервые представил себе путь арестованных от нынешнего исполкома к острогу в конце бывшей Солдатской, нынешней Красноармейской, то есть скорей всего через ту самую памятную лужу; еще автору, помнится, рассказали, что среди арестованных оказался муж прибывшей женщины, с которым она не виделась много лет — вон как довелось встретиться...

### 3

Нет, раньше мыслей и слов, точно услышанная во сне, сквозь карканье осенних ворон, под взбаламученным, перевернутым небом захолустного ноября возникла мелодия тоски и любви, мелодия утраты и возобновленной надежды. *Так льдины распавшегося поля с обломанными краями пробуют совпасть, соединиться опять...* Едва выбравшись из передраги, не успев привести в порядок своих дел, не прочувствовав даже толком потрясения от удара о реальность, Антон Лизавин потянулся в библиотечный каталог, как будто и на новую службу переместился именно для того, чтобы поскорее, поскорее узнать, вспомнить, называлась ли в той книге фамилия женщины. И так безогляден был этот идиотский порыв, сделавший на время

второстепенными вещи куда более близкие, что судьба решила, наверное, без надобности не мелочиться, не оттягивать находку, до которой он все равно бы рано или поздно добрался — уступка была пустяковой, у нее в запасе имелось достаточно других каверз. Сборник удалось найти, вычислить заглавие почти сразу, и статья некоего Н. Сухова была в нем, и фамилия женщины упоминалась, даже с инициалами: Парадизова А. Ф. Но это что! Подарок был не в этом. Лизавину позволено было и дальше не слишком рыться в справочных изданиях, хотя нужная ему фамилия нашлась еще лишь в единственном указателе к довоенному выпуску Ученых записок его собственного (в прошлом) пединститута. С дрогнувшим сердцем прочел он: «Парадизова Александра Флегонтовна, участница рев. событий в г. Столбенце. До 1917 г. в эмиграции». На месте дат рождения и смерти стояли знаки вопроса.

4

Независимо от дальнейших разысканий, даже именно потому, что они так мало прибавили, Антон Лизавин уже знал, что тут не просто совпало имя с достаточно редким отчеством (а фамилия — поповская, семинарская — осталась за ней, видно, девичья). Сгустившаяся из пустоты догадка (*снежинка из ноябрьского воздуха*) сама собой обрастала подробностями и обоснованиями. Симеон Кондратьевич служил тогда в управе письмоводителем и мог быть ненадолго прихвачен вместе с начальством — Лизавин видел, как он привстает за своим канцелярским столом цвета морилки, приподнимается, уставившись на дверь, в которую только что ворвался вместе с вошедшими сквозняк, видел парящие в медленном воздухе бумаги и расползающееся озерцо чернил, видел берег лужи, деревянные мостки, вбитые в грязь настолько, что едва угадаешь ногой на ощупь разъезженную колею, увязшую галошу, управских старцев на ветру, под конвоем, колокольню над Торговой площадью, плот, сделанный из старых ворот, не выдерживающий больше троих: он протянул ей руку, чтобы помочь взойти или сойти на берег — как когда-то, мгновение

назад, в другой действительности, которая соединялась с прощальным рассказом прихотливей, чем можно было вообразить. Потому что дело было не просто в том, до чего надолго он, оказывается, ушел из дома с чужим сундучком (или чемоданом, как настаивает документ, но сундучок для нас более реален, мы его видели), ушел, оставив жену с больным и потом почти неделю выжидая, когда можно будет назвать себя без опасности для обоих. Нет, дело было в том, что ушла от него она, тогда же или время спустя, при неизвестных нам обстоятельствах — а кто остался по какую сторону порога, имеет теперь так же мало значения, как для Милашевича цифры лет, прошедших до встречи — теперь, когда склеились начало и конец пленки, а середку можно вырезать и опустить. С ума сойти! он будто ждал этого, ждал уверенно, пренебрегая промежуточным временем, не сомневаясь в направленной работе судьбы — как будто даже мировые события и катастрофы служили осуществлению его личных замыслов и семейных дел, как будто себя считал причиной и целью этих событий. Нелепый, самолюбивый шутник с мордочкой печальной обезьяны — с такого все станется. И пусть сейчас подобралось, составилось что-то пока наугад, не совсем к месту; все равно можно было представить, как именно в тот день, оказавшись ненадолго в тюремной камере, карандашом на случившихся в кармане фантиках — именно на них, они были сподручны для этого — и потом, дома, уже чернилами и хорошим пером он пытался запечатлеть трепет и влагу еще не просохших мгновений, остановить их, осмыслить, ибо все обретало теперь для него цену: надтреснутый голос ветра над стылými водами, потревоженные небеса, вечерний путь домой мимо загоравшихся окон, пьяный запах новых времен.

5

*Воздух настоян на винных парах, от одного дыхания кружится голова* — может быть, в тот же вечер, когда оставшиеся без командиров солдаты разбрелись по Столбенцу и скоро вместе с обывателями стали громить винный магазин и склады Сотникова на Губер-

наторской, где хранилось пять тысяч бочек вина и спирта, не считая бутылок. Всю зиму на пятьдесят верст в округе стараньями возчиков и солдат спирт пили как воду. *Время, когда в дальних деревнях бутылку продавали за полтинник, а в ближних и того дешевле* — с этого воспоминания можно было начинать отсчет эпохи. В ее первую ночь несколько человек с Перешейкиным во главе пытались остановить погром, они разбивали прикладами бутылки, выпускали из бочек в сточные канавы темную холодную одуряющую жидкость. *Ночь, когда ходили по пояс в вине и напивались из лужи.* Кто-то, видимо, чиркнул спичкой, может, спяну решив закурить — точнее он уже никому потом объяснить происшедшего не мог, став первым поленом пожара, в котором заживо сгорели четверо, включая товарища Перешейкина, и погиб — не в последний раз — злополучный архив. На тему пожара можно было при желании подобрать достаточно разных картинок: черные призраки домов, ветвей и деревьев таяли в ярком веществе, улыбался огню, словно медный божок, кто-то с отблесками на лице, в ватной шапке с оторванным ухом... но мало ли было еще пламени в Столбенце и вокруг? Может, это и о другом. Или вот: не из той ли ночи: — *Зазвенели разбитые стекла. Я вскочил, стал нашаривать спички у изголовья. Пока удалось засветить площадку, раздались еще два выстрела, что-то просвистело у самого уха...*

6

*так рождается под растопыренными пальчиками  
младенца нечаянный, еще не объясненный мир*

*от прикосновений слепца возникают из темноты  
очертания и объемы*

*обломок торса, гладкое плечо, застывший смех, ока-  
менелая, непонятная жалоба*

*зрячие пальцы любовника*

*на ощупь, наугад, в гулкой пустоте, удивляясь и не  
понимая целого, с тревогой и любопытством*



Не видно было дальше пути. Догорали, дымилась последние головешки революционной ночи, щекотал горло кислый запах пожарища, а мы едва успели взглянуть при единственной вспышке женщину, в легком — для европейской погоды — пальто, с побелевшими от холода ли, от напряженья костяшками пальцев (и что в пальцах-то? неужто оружие? — не видно). Как эта встреча на мифическом плоту среди лужи перешла в другую, после которой она осталась с ним, в его доме? — а она, видно, осталась, у нас нет оснований не верить Симеону Кондратьевичу. Можно, конечно, усмехнуться лукавству слов автобиографии о «воссоединении после разлуки»: у этого человека, похоже, и впрямь был для времени свой счет; в конце концов, не так уж он грешил против истины. Но как, почему вернулась к нему такая женщина? Ведь теперь ясно было, что с Милашевичем ее подравнивало до сих пор лишь наше собственное воображение — по его подсказке, о да, хотя и тут он мог быть по-своему искренним, представляя ее уязвимой, слабой, домашней, созданной для семейных радостей, для провинциального покоя, нуждающейся в его защите. В конце-то концов, в конце-то концов! Но, вернувшись при таких обстоятельствах, после стольких лет, и каких лет! — остаться окончательно с ним, неизменным, словно после недолгой супружеской размолвки? То есть не просто остаться, а перейти как будто в новое существование, перестав быть собой настолько, что уже не оставяла и собственной тени, собственного следа? На скрижалях местной истории почему-то не сохранилось дополнительных сведений об Александре Флегонтовне Парадизовой. (Ах, и о ней тоже? — уже слышится голос, насмешливый и недоверчивый. — Да, и о ней тоже, что ж тут поделаешь. Смиримся и с этим заранее, как с условием, Лизавин тут не виноват). Но именно это, если хотите, парадоксальным образом подтверждало, что она — та самая, кого годы спустя Милашевич назовет в автобиографии подругой своей жизни. Почему? А прикинем сами. Погибни она сразу, как Перешейкин, продолжи свой особый, запоздало приоткрывшийся нам путь, она даже при не самой удачной судьбе оставила бы след отчетливый

и стойкий, достойный человека таких заслуг; незаметность ее была необъяснимей всего. Вспышка не только ничего не осветила вокруг, но лишь сгустила мрак, усугубив загадку или тайну, заставив задним числом пересматривать прошлые знания. Знала ли она, едучи в Столбенец, что Милашевич там? К нему ли ехала? Или просто была сюда послана как местная уроженка, и встреча вышла случайной? Но тем более, тем более! Чем мог ее покорить, пленить, убедить этот захолустный философ и фантазер с неразгаданной улыбкой на укрупненных губах? — так что надо еще разобраться, кто оказался чьим пленником на плоту среди пародийных столбенецких стихий. А пока примем как факт: значит, было в нем что-то, в этом человеке, к которому мы с Лизавиным просто испытывали по привычке симпатию (потому что мы — это и Лизавин, и мы с вами, сливающиеся иногда до отождествления; тут, наверно, пора объясниться и, может, попросить извинения у тех, кто чувствует иначе — но ведь это и есть сотворчество, к которому бывает причастен всякий читающий в иные, родственные любви, мгновения). Да, что-то в нем было, требовалось заново вжиться в душу и мысль этого странного, все еще нераспознанного персонажа, надо было переместить из одного времени в другое и переосмыслить многие фантики о блаженстве совместной жизни — уже не просто из литературного интереса, о нет, но чтобы утолить томление собственной души, все более насущное.

8

Еще в самом начале Антону примерещилось, сперва смутно, будто где-то он уже читал очень похожую историю: про женщину-революционерку, участвовавшую в аресте собственного мужа. Это смахивало на ложное воспоминание, но Лизавин сумел добраться до истоков его и убедился, что сюжет действительно был использован в местной литературе, тем самым Исполатовым, которого хвалил Горький. Более того, это оказалось отнюдь не случайным совпадением: автор новеллы «Встреча» вдохновился тем же эпизодом из воспоминаний Н. Сухова. Он рассказывал об этом потом в книге своих литературных размышлений —

одной из тех, что роднят любого пишущего с самыми великими творцами. Потому что здесь речь идет не о результате и воплощении, а о замысле и творческом усилии — в этих делах все мы, грешные, можем понять хоть Пушкина. Муки чувства, претворяемого в слова, у графомана такие же, как у Толстого, и человек, которому довелось исчеркать дюжину вариантов единственной страницы, вправе ощутить родство с Гоголем. Замечателен рассказ Исполатова, как поразила его вычитанная у Сухова история: «дыханием античной трагедии веяло от нее»; как он безуспешно пытался узнать дальнейшие подробности о героине (о, тут Лизавин его понимал, хотя новелла писалась в 1932 году, по свежим сравнительно следам); как выяснил лишь, что она погибла год спустя после описанных событий, кажется, от тифа (самоуверенная поспешность, впрочем простительная — он не знал Милашевича); как он, стараясь восполнить пробел в знании о ней, по всем толстовским канонам перетолок судьбы нескольких реальных женщин, приписал ей мятежную юность в семье религиозных фанатиков (использовав материалы дела о секте молчальников, на шумевшего в губернии в начале века), доверчивую любовь к студенту (а ведь похоже, похоже!), с которым вместе поклялись когда-то бороться за лучшее будущее. «Ведь разразится же когда-нибудь очистительная буря, смое с тела земли, словно коросту болезни, эту мерзость, убожество, грязь, и над обновленной землей засияет омытое солнце!» Сильней всего в новелле сцена в тюремной камере, где героиня напоминает об этой их клятве любимому некогда человеку; теперь он брюзжащий интеллигент, не желающий понять величия происходящего. Вообще вся драма изображена впечатляюще (жаль, правда, что нет ни лужи, ни плота), и в чертах героини что-то напоминало ту, которую представлял себе Лизавин; возможно, подспудное воспоминание о «Встрече» даже подтолкнуло каким-то углом его собственную догадку. Единственным — но для Антона, увы, решающим — недостатком было лишь то, что соединить все это с Сиеоном Кондратьевичем не удавалось никак.

Надо было, наверное, поискать следы Александры Флегонтовны подальше от Столбенца, может, даже в анналах эмигрантской истории, благо и фамилия всплыла. (Но может, в иные времена у нее и фамилия была другая? — тоже вопрос. Кто был ее спутник скрытых от нас лет? — человек, возникший однажды на страницах Милашевича под прозвищем Агасфер?) Такие поиски, однако, возможны были только в Москве, приходилось дожидаться отпуска, и, если признаться совсем уж честно, не очень как-то тянуло в ту сторону — в мир политических страстей и интриг, партийной борьбы, эпохальных замахов, программ, жертв, войн, потрясений. Он одной крови с нами, Антон Андреевич, мирной крови провинциала, а если кто поспешит отвергнуть такое отождествление — что ж, ради Бога, берем тотчас свои слова обратно и не настаиваем. Только сперва все же стоило бы взглянуться в себя: так ли мы в самом деле рвемся под холодные небеса, на трагические просторы истории? не предпочитаем ли в искренней глубине существа материи более соразмерные? — то есть в самом ли деле над нашей душой совсем не властна провинция? Что было с обоими, то было; возможно, со временем лучше выявится (если еще сохранилось, чему выявляться), но теперь-то Симеон Кондратьевич жил со своей Шурочкой в Столбенце, который вместе со всеми обитателями перешел кое-как в новую эру существования, вот куда хотелось взглянуться больше всего, — и Антон Лизавин, перебирая фантики, старался распознать, на каких же еще из них осели ощущения тогдашних событий. Он уже не сомневался, что по крайней мере некоторые записи были все той же попыткой запечатлеть уколы мгновенного чувства, уже на ходу преобразовавшегося в строки возможного произведения — но выделить их уверенно не мог. Вот дымились головешки пожарища, торчали, как дурные грибы, черные остовы печей. В дымном свете нового дня из-за калиток, из-за отодвинутых занавесок осторожно выглядывали мятые, зеленые, небритые, пугливые лица. *Новое слово уже звучало, но что оно значило для умов?* Управских старцев увозили на плоту через вечную лужу под улюлюканье

и свист с берегов, заплыванных подсолнечной лузгой; приезжая женщина встретила после разлуки с бывшим мужем, вернулся с войны солдат, которого считали погибшим, в казенке перебили бутылки, пили из бочек и луж, горели в пожаре. Остальное — слова, к первому прибавлялись другие, да еще музыка поределого оркестра пожарных: бас, труба, тарелки, валторна и барабан. Музыка, впрочем, казалась старинной: «Белой акации гроздь душистые», но слова придавали ей новое звучание: «И как один умрем». Да гроб покрыт красным полотнищем — похороны очередных жертв; но как во все времена идет перед гробом с венком городской дурачок Вася Васич, сунув за пазуху ватную шапку и улыбаясь привычной радости: люди, как всегда, умирали да умирали, а он, как всегда, их хоронил, сам оставаясь жить. Значит, и переворот жизни не отменил этого закона.

10

*Он иногда подходил к человеку и трогал ему голову короткими бескостными пальцами. Ему хотелось вплотную ощутить, почувствовать, что там совершалось.*

*Изменилось-то несколько клеточек в мозгу, но этого, выходит, достаточно, чтоб начала меняться голова, а с ней все крупное косное тело и дальше то, что вокруг.*

11

Да, как бы там ни было, важней всего была окрепшая теперь убежденность, что фантики все же имели отношение к реальным событиям — пусть не все, пусть непонятно какое, в этом еще надо было разбираться. Здесь запечатлен был способ думать и воспринимать мир, возможно, связанный с профессиональной привычкой, здесь откладывался, невольно преобразаясь, мелкий сор повседневной жизни, которым Милашевич мерил наполненность времени и который был ему изнутри просто ближе и доступней эпохаль-

ной политики, программных речей и грома орудий. Соединяясь, этот сор мог очертить контуры происходившего с ним или вокруг него, как очерчивают, допустим, приставшие ракушки днище корабля: когда он сгниет, они могли бы дать представление о его форме — если б только удержались, не рассыпались сами. Приходилось, конечно, опять склеивать крупницы знания слюной домыслов, но что мы знаем до конца, исчерпывающе даже в близкой, доступной нашему взору жизни? Вопрос только в соотношении. Надо было укрупнять, наращивать эти крупницы. «Главное Шлиману было поверить, как в видение, в реальность гомеровской Трои,— записано было у Лизавина на одном из листков,— чтобы потом, покопавшись, найти черепки, слои пепла и полусгнившие обломки». Трудно теперь вспомнить, что хотел этим сказать Антон Андреевич; если имелось в виду сравнение, то оно, конечно, не совсем подходило. У него поэмы-то не было, вместо гекзаметров — клочки рваные, стружки с неизвестно существовавшего ли изделия. Да и черепки в свежей почве не так надежны, как на глубине — глядишь, то подменено, это подновлено. И пепла уж слишком много. Но все-таки, все-таки... Может, самое главное даже не в этом. Что, по сути, открыл нам Шлиман? Разве Трою гомеровских гекзаметров? Но ведь и не Трою же посудных черепков, каменных стен, погребенной утвари или пусть даже золотых украшений. Он открыл — и утвердил в нас — сознание и чувство связи между гекзаметрами и черепками, глубинной, невыразимой, как музыка, связи между нами, перебирающими черепки, сегодняшними землекопами, страдающими от лихорадки, от дурной воды — и вечным духом человеческого рода.

## 12

О чем эта музыка? О ноябрьском ветре, об ознобе; передернувшем, как кожу, поверхность вод, о мятущихся облаках и крике ворон, о женщине, исчезнувшей и обретенной, о нежности и тоске, о встрече и узнавании, о листках с пророчествами, которые ветром выдуло из пещеры, чтобы их подобрал толкователь?

Она — о том, что может ноябрьский ветер сказать

про тоску и нежность, а человеческая душа — про вороний крик и мятущиеся облака. Она — о том, что заставляет нас печалиться об утрате, случившейся до нашего рождения, и видеть в давнем возвращении зернышко новой надежды и нового понимания, о том, что связывает человеческую душу и посвист ветра, тоску и нежность.

13

В свободное, а иногда, признаться, и в служебное время Антон листал теперь газеты, книги воспоминаний, сборники документов: не мелькнет ли где ненароком еще и фамилия Парадизовой (или как ее могли звать?). Это было малоосмысленное занятие, но оно обеспечивало и заполняло уединение, к которому Лизавин тянулся, чтобы поменьше бывать дома, в людных местах, не встречать старых знакомых, не отвечать на их праздно-любопытные, равнодушно-сочувственные, да пусть даже искренние вопросы, не объяснять, что все у тебя в порядке, на жизнь не жалуешься. Никого не хотелось видеть. Он наведалься в Столбенецкий архив, но лишь для того, чтобы еще раз убедиться, сколь безнадежно выгорели фонды тех лет. И не только выгорели. Как-то ему попалась целая переписка по поводу исчезнувших бумаг Столбенецкого устатбюро; бумаги были найдены изъеденными в мешке с мукой, на них, как на подстилке, лежали три новорожденных крысенка. Однажды, когда он, засидевшись в архиве допоздна, с шумящей от усталости головой, пыльным першением в горле, скорей для очистки совести, чем из упорства, раскрыл очередную папку гражданских актов, из нее показался небольшой, усохший, будто из мятой бумаги, но совершенно недвусмысленный шиш — Антон поспешно захлопнул створки, встряхнул головой, усмехнулся и на дальнейшем не настаивал. Зато чем дальше, тем сильнее восхищала его стойкость печатных слов. Бесследно исчезли с земли миллионы людей, сгорели, может быть навсегда, бумаги Нечайской республики, но и в двадцать втором каком-нибудь веке досужий исследователь, раскрыв уцелевший в центральном хранилище номер «Поводыря», увидит в нем призыв к неко-

ему гражданину Лощицу «незамедлительно вернуться в комнату гражданки Лощиц для совместного проживания. В противном случае будут приняты административные меры» — и задумается потомок: кто же таков был этот гражданин Лощиц? и, может, захочет побольше узнать о древнем своем загадочном предке. Зато посетует на поэта, который в другом номере не именем, а псевдонимом Соприкасающийся (что за пристрастие у пишущих людей тех лет к псевдонимам, инициалам?) подписал задушевные стихи свои:

Кровавые распри сменили свободу.  
И в распрах без смерти не прожито дня.  
Кого же вы бьете? Себя же! Жалейте народа!  
А то вместо граждан останется память одна.

Если бы еще хоть память! Даже имени поэта теперь никогда не узнать, ничего — словно и не жил, как тот «младенец женского пола, от рождения около месяца», найденный мертвым под монастырской стеной, о котором на той же странице просили «знающих что-нибудь» сообщить. Сообщат, как же! Обидно все-таки думать, что от нас может до такой степени мало остаться; хорошо хоть в телефонную книгу попасть — а если нет телефона? — и как не понять тех, кто хотя бы на камнях, на стенах несмываемой краской, а еще лучше зубилом выводит свое скромное имя! Что-то есть в этом от тоски по бессмертию. Но все же попутно Лизавин извлекал для себя из этого чтения кое-что любопытное. Он проследил, например, как Перешейкин, одноглазый конторский служащий ганшинской фабрики, после смерти произведен был в рабочие и чем дальше, тем больше обогащался подробным жизнеописанием, даже новыми фотографиями, с которых смотрел на потомков двумя ясными глазами — не в пример Ионе Свербееву, своему недолгому соратнику и дорожному спутнику Александры Флегонтовны, которого угораздило дожить до лет, когда он оказался одним из обвиняемых по делу о большом столбенецком пожаре вместе с бывшим управляющим ганшинской фабрики инженером Фиге и который в результате исчез из истории вовсе. Только и осталось от него, что десяток напечатанных в разное время стихов да темное известие о Нечайской республике; потом он, кажется, недолго руководил



детским домом, устроенным в бывшей ганшинской усадьбе — вот и все. В воспоминаниях Н. Сухова этот человек, имя которого, словно попутная мелодия, то и дело возникало почему-то рядом с темой Симеона Кондратьевича, был помянут как местный уроженец, солдат, отравленный на германском фронте газами — дома его уже не ждали, считали погибшим, мать даже успела справиться по нем заупокойную... Антон помнил, как, перечитывая однажды эти сведения, вдруг ощутил, что строки будто раздвигаются и он проваливается, погружается сквозь них в мир, из которого его совсем было вытолкнуло.

14

Среди персонажей Милашевича был столбенецкий маляр и живописец, но более всего пьянчужка по прозвищу Босой Летáрь. Вторая часть прозвища намекала на особую способность Босого летать без крыльев. Слава была насмешливая: имелось в виду, что он ухитрялся не разбиться, падая даже с самых высоких питерских крыш, — дело вообще нередкое у маляров, тем более пьющих. Босой, однако, шуток на эту тему не допускал, будучи весьма драчливым; казалось, он про себя знал что-то взаправду, и среди насмешек кто-то даже готов был подтвердить, будто сам видел однажды, как тот завис рядом с водосточным желобом и начал плавно снижаться. Тогда Босой еще был подростком, одним из тех, кого матери отдавали на учење в артель отходников: он поднимался в пять утра ставить самовар мастеровым и подмастерьям, растирал краски, мыл кисти, чистил посуду, разводил побелку, и клейстер, тер пемзой полы перед покраской, бегал в москательную лавку за материалом и тайно, чтобы не накрыл хозяин, — в казенку за водкой для мастеров, но сам себя подпаивать не давал, щупленький, доверчивый, беззлобный. Зимой, когда у маляров работы не было, он уходил учиться к вывесочнику и уже тогда начинал рисовать, бесконечно копируя картинку из книжки, где легкие худенькие существа с детскими личиками порхали среди крупных цветов и резных трав. Не это ли видение запало ему в ум и породило шутки? Не оно ли возникало перед глазами, когда

он среди работы застывал вдруг с кистью в руке, чуть подавшись вперед, зрачки расширены, и лишь удар по затылку да смех возвращали его к делу, а может, предотвращали падение? Во всяком случае, с этой картинкой оказался косвенно связан единственный засвидетельствованный очевидцем полет. В то утро он обнаружил, что все рисунки в его потайной укладке за печкой похабно размалеваны, парящим младенцам прибавлена растительность во всех возможных местах, да кое-что сверх того. Он кинулся с кулаками вслепую на первого, кто подвернулся, — с трудом оттащили взбесившегося; а несколько часов спустя он сорвался с крыши. Это было жарким июльским днем, когда раскаленная жесь пекла босые пятки, краска мешалась с потом, а подрядчик, укрывшись в тени трубы, поглядывал на небо и поторапливал, опасаясь дождя. Очевидец оговаривался, что в тот миг у него самого закружилась голова от зноя или запаха краски, и, признавая полувсерьез, что полет какое-то время длился, добавлял уже с полным смехом, что под конец парнишечка все-таки рухнул с высоты третьего этажа. Когда к нему сбежались вниз, он уже сам стоял, правда пошатываясь, без кровинки в лице, но и без следов ушиба, смотрел на всех, будто не узнавал, будто от удара о землю что-то стряхнулось у него в уме, а на другой день исчез из артельного дома, ухитрившись напоследок поджечь его, да так, что пожар вспыхнул не сразу (у Милашевича описано замедленное устройство из пузырька с бензином, марганцевого порошка да пленки от воздушного шара). Объявился пропащий в Столбенце лишь три года спустя. Его привезли за казенный счет с этапом и сдали в волостное управление, долговязого, пропитого, босого, с юной неопрятной бородкой; рубаха в разноцветной засохшей краске отвердела, как панцирь, и не рвалась, а ломалась. Самый горький позор пришлось ему тогда испытать от детей. Другие, возвратясь из Питера в сапогах и галошах со скрипом и блеском, по обычаю, привозили для соседской ребятни столичных пряников; он угостить никого не смог, за что и ославлен был на всю слободу и весь город прозвищем Босой. «Босой Летарь! — кричала, увязываясь за ним, ребятня. — Босой Летарь, куда летал?» И эти детские насмешки — но только их — сносил Босой терпеливо, даже как-то

виновато, хотя с тех пор всегда старался носить в кармане какую-нибудь сладость для угощения и откупа; другим дразнить его не стоило.

По убеждению Симеона Кондратьевича, в те секунды первого падения или полета Босой действительно испытал или увидел что-то, о чем никому не мог потом рассказать (тем более, впрочем, что редко с кем беседовал после того трезвым). Это были, объяснял Милашевич, мгновения, превышающие обычное время, их нельзя было втиснуть обратно в общие для всех секунды, в них можно было озираться всю жизнь, различая или вспоминая новые подробности: яркие, ясные, пронизанные светом и беззвучной музыкой, мгновения, где не было ни страха, ни муки, но было небывалой синевы небо с небывалыми радужными облаками, и виденья сияющей жизни, и нежные лица, и цветы...— тут, впрочем, возможно, вмешивалась картинка из книги. Беда была в том, что от столкновения с землей как бы рассыпалось связное чувство, и повторить его потом ни разу не удавалось. Единственное, что Босой мог вполне передать словами,— это отвращение к лицам, вдруг обступившим его, к их волосам, прыщам, морщинам, дыханию, запаху; видеть их было невыносимо и оскорбительно после испытанного, как будто они наплыли и вытеснили видение, не оставили ему места. Так, во всяком случае, переводил Милашевич на язык своей прозы вряд ли очень внятные речи пьянчуги, склонного показать собеседнику, как тот ему мерзок, даже если и угощает — и особенно если угощает. Так он сам объяснял, почему на картинах своих рисовал лица только детские. Они у него хорошо получались, он имел ценителей и, будучи не лишен таланта, в Столбенце не малярничал, а рисовал по заказам вывески, иногда портреты; среди его заказчиков в одном из рассказов поминался сам Ганшин. Читая у Милашевича описания этих картин, Лизавин представлял себе некоторые рисунки на фантиках — возможно, Босой к ним имел отношение. Дети для него были единственно приемлемыми и высшими существами среди остальных, уже безнадежно отравленных жизнью. Подобно многим пьющим, он объявлял жизнь отравой,

алкоголь же — доступным противоядием и работал в перерывах между запоями, когда возобновлялась нужда в деньгах; вообще же предпочитал лежащее состояние — отчасти потому, что не любил стоячего своего роста, ощущая его как неудобство. Жил холостым — да кто бы рискнул за него пойти? — женщинами не интересовался и как будто все выжидал впереди чего-то. Увы, с началом войны Босого забрили в солдаты, Милашевич писал о нем как уже о погибшем на германском фронте — возможно, потому и позволил себе рассказ о человеке, реально знакомом читателям.

16

А в чувстве, что он существовал реально, Антон Лизавин утверждался теперь не меньше, чем в том, что человек этот остался жив и снова появился в родном городке, чтобы отменить, наконец, прошлую мерзость — отпетый матерью и воскресший в едва узнаваемом облике, хоть крести заново, отравленный немецкими газами, навсегда протрезвевший если не после них, то уж после винного разгрома. Поврежденная рука теперь, видно, не бралась за кисть, но для выражения дозревших чувств подошел карандаш или, может, пишущая машинка. В стихах Ионы Свербеева сильней всего звучит презренье к отжившему, отравленному, проклятому миру — Лизавин с новым пониманием перечитал, например, строки о том, как избивали в Орловском центре бродягу паренька:

Мерзкой гнилью в рот дышали,  
Солью раны обмывали,  
Язвы их разъел раствор,  
Я храню рубцы с тех пор.

В то же время возникавшие иногда образы паренья, невесомой свободы и легкости, сияющих облаков, детского невинного счастья на чистой цветущей земле казались теперь не просто фигурами абстрактной словесной утопии, одной из тех, что изобильно рождались в ту бурлившую пузырями пору. Здесь дышало живым чувством; казалось, впечатления фронта однажды помогли Ионе заново пережить испытанное в детстве и найти для этого, наконец, слова:

Оборвалась пуловина,  
С гноем вытекла отрава,  
Под ногою нет опоры,  
Пусто, ветрено и страшно.

В этих стихах героя взрывом вышвыривает из окопа, возносит над испоганенной развороченной землей, над кучками людей, и за огненной вспышкой, за вспышкой пустоты вдруг открывается ему виденье дивного мира — в пронизанном светом воздухе он различает счастливых собратьев будущего, нестареющих, прекрасных, для которых полет естествен, ибо сами тела их свободны от прежней скверны и тяжести.

17

*Здесь сладость вкушают лишь те, чьи щеки не осквернены волосом, а дыхание табаком,* — вдруг приставил Антон Андреевич всплывший на поверхность фантик. Он подошел нечаянно, но впору, как будто Милашевич переводил на прозу какую-то мысль Ионы Свербеева или записал что-то свое после разговора с ним. Ведь он вполне мог встретиться и говорить с давним своим знакомым после его возвращения в Столбенец, даже не мог его не слышать, не читать. Наверное, в ворохе крылись и другие заметки, способные подтвердить это. Вот, скажем: *«Они совершеннее нас, у них нет кишок, отягощенных навозом, а то, что мы прячем как срам, у них прекраснейшее, благоуханнейшее».*

18

Гм, гм... ну, допустим. С разгону Антона Андреевича, что говорить, иногда заносило, он после сам в этом убеждался и с готовностью над собой посмеивался. Но это был уже смех человека, который может позволить себе частные ошибки и неудачные вылазки, ибо убежден в главном. А главным было нараставшее чувство, что фантичный ворох все-таки связан одновременно с миром реальным и с миром, который творил Милашевич; больше того, тогда он впервые подумал, что это, может, вовсе не материал для книги, упомянутой в разговоре с Семеккой, может, в самих

листках Симеон Кондратьевич видел эту неявную саморастущую книгу. Здесь крылись какие-то невыявленные его персонажи, как крылся, еще до конца не угаданный, Иона Свербеев, он же Босой, бывший маляр и живописец, увечный солдат и стихотворец, деятель неизвестной республики и покровитель детей. Словно нить, опущенная в раствор, это имя начинало обрастать, обогащаться подробностями и живыми чертами:

*Выходец с того света. В английских ботинках с обмотками. Рябая кожа на обтянутых скулах — как зернистый камень, сверху малость заглаженный.*

*Кровь не успокаивалась прозрачным веществом в глазах, растравленных газами до сырого мяса. Такие глаза пренебрегают ближними предметами, они смотрят вдаль.*

*Ноздри бледные, тонкие, трепетные. Их чутье возмещает ущербность зрения.*

*Что важнее чутья в такие времена, когда ни ум, ни знание не дают опоры, когда лучше не полагаться на собственные глаза и уши?*

*способность улавливать из воздуха недоступное другим*

*дар без всякой науки на расстоянии угадывать, кому повилать хвостом, а кому показать клыки, если сам не поспешит откупиться.*

Ну, пусть опять не все подходило бесспорно. Ничего, как-нибудь уточнится. То была пора, когда возбужденная мысль Антона Андреевича растекалась одновременно в разные стороны, увлекаемая любой попутной ложбинкой и выемкой. (*Вода себе путь найдет, ей все равно через кого течь*, — задержался однажды Лизавин на не совсем внятной фразе; он этот фантик отложил когда-то в раздел «О судьбе и случае», увидев здесь мысль о неизбежности, которая для своего осуществления в истории может использовать любую, просто самую близкую или восприимчивую фигуру; но теперь подумал с усмешкой, что это подходит и для

его поисков.) Не находя прямого подступа к загадке воссоединившихся супругов, он так и сяк пытался заглянуть хоть через окошко в их деревянный столбенецкий дом (скорей всего деревянный и при этом одноэтажный, вроде того, что он описал в провидческом рассказе, где только примерял в воображении, как мог бы жить, как будет жить когда-то именно в этом городе с женщиной, которой тогда уже не было рядом) — и сквозь щель ставни, в тесноте натопленной комнаты различал при свете — не керосиновой лампы, копилки — знакомое личико философа и садовода, он поливал из чайника рассаду в деревянных длинных ящиках (как удавалось сберечь от холода домашний цветочный рай?), а где-то за его спиной, не в тени, не в сумраке — в слепом пятне угадывалась, почти подразумевалась едва различимая женщина с коричневой шалью на плечах; она должна была там присутствовать, еще не выдохнувшая до конца из легких воздух Лондона или Парижа, но что делала? — подкладывала в печь полено (хотелось думать, что хоть дров им хватало?), заваривала липовый, по рецепту Милашевича, чай? штопала? — не видно, не видно. Огонек фитиля, отражавшийся в стекле, угасал, зато из темноты понемногу проступал город, сквозил на нежной детской заре пустотой решетчатых заборов, беловатозелеными прутьями ветвей. Лодки уткнулись носами в берег, как в материнское брюхо. Верх обгорелого дома разобран на дрова. На окнах первых этажей глухие ставни. Двухэтажные дома на улице странным образом выглядят не выше одноэтажных, крыши идут почти вровень. На кирпичной стене выцветший лозунг: «Все на борьбу с вошью». Камень из-под Колтунова стоит на Столпые пустой, позорная надпись затянута красной (когда-то) материей; но материя прохудилась, камень со временем обошьют досками, по праздничным дням будут обставлять, как трибуну, портретами, а пока в «Поводыре» обсуждают вопрос: как все-таки понимать слова «разрушим до основанья», включительно или нет? В электротеатре «Грезы» вечерами крутят фильму «Как цветок и сердце вянет». Снег сходит, на улицах толстый слой навоза и грязи. Хорошо, когда еще подмерзает — вот кто-то в приличном пальто и барашковой шапке, наверно из бывших, не решаясь ступить с мостков, осторожно пробует дорогу сперва

палкой, потом подошвой резиновых бот. Еще приходит к своим пациентам врач Левинсон, пешком, повозку и лошадь у него реквизировали, но все бы ничего, если б не грозный пес по прозвищу Серп и Молот. Конечно же это был пес. Неведомые озорники выжгли ему по короткой шерсти эмблему раскаленной проволокой, из озорства ли жестокого, из идейного усердия или, наоборот, в насмешку, думая осквернить символ. В последнем случае они просчитались. *Как он воспрял, пугливый, затравленный, последний из всех, как ощутил покровительство и новое свое место!* — добавлял Лизавин штрихи к сюжету. Грозен стал Серп и Молот, даже собакам уже лучше с ним было не связываться. Если гордость не позволяет заигрывать, а тем более подчиняться, сделай вид, что просто не обращаешь внимания. Хвост трубой — и в закоулок. Не спеша, чтоб не ронять достоинства. Будто тебе туда и нужно было. Да его и не столько собаки интересовали. Сила его была в редкостной способности определять, с кого требовать контрибуцию в виде съестного. Дар без всякой науки на расстоянии угадывать...

20

*Может, имя загадочным, неизвестным пока науке путем производит воздействие на сам телесный состав и даже на извержения телесные,* — вдохновляясь, примерял дальше Лизавин, но опять чувствовал, что тут, кажется, нет пути. *«Все бы ничего, да имя неосторожное. При таком-то росте!»*... нет, это уже явно не становилось. На неверный миг выпростался из вороха новый сомнительный персонаж — и тут же растворился в сырой мгле столбенецких улиц. Лизавин подался было за ним, но потерял след. Вновь он чувствовал себя нетвердо, вновь соскальзывал на зыбкую почву и оказывался всего лишь перед бумажной россыпью. Вместо музыки врывался из-за окна треск мотоцикла, и паутинкой еще дрожал, тянулся тающий звук.

21

*шевелится, живет, сыплется сквозь пальцы неуловимое вещество — поди удержи, разгляди, вдумайся.*



Пальцы перебирали бумажки в коробке «Имена». *Мыльников меняет фамилию на Мельников... О словах, или Начало новой веры.* А это как попало сюда? Это надо бы в раздел «О словах». Или «О религии»? Был у Антона Андреевича и такой, один, впрочем, из самых скудных и сомнительных. *Новая вера начинается с новых слов.* Ну, конечно, это ложилось сюда же.

*Даже не слово, а возглас, междометие, попытка слова. Евангелия составляют потом ученики.*

*религия для народа*

*Верующие в расположение звезд от него погибают, неверующие обходятся.*

*Верующие в иную жизнь обретают ее, неверующие утешатся беспамятством.*

Это были заметки во всяком случае человека нецерковного; Симеон Кондратьевич и по части религии держался особняком от модных поветрий времени, в своей прозе особого интереса к этой теме не проявлял; а такая, например, запись на фантике: *«то, над чем, казалось, дана была власть одному Господу, мы делаем повседневно»*, — выдавала просто горделивое чувство современного человека. Другой вопрос (как всегда), свои ли мысли, слова, полужазы записывал он здесь, или они исходили от кого-то пока непроявленного. Вдохновленный опытом с Ионой, Лизавин попробовал и для роли носителя религиозной темы примерить подходящую фигуру. В писаниях Милашевича встречался где-то на заднем плане единственный священнослужитель, причем автора он больше интересовал как огородник и ученый цветовод, то есть в некотором роде коллега. Этот персонаж и прежде заставлял Антона Андреевича к себе присмотреться, поскольку звали батюшку Макарий — как и руководителя позднейшей секты, о которой до сих пор хранилась у старожилов смутная память. Но тут, конечно, могло быть только лишь совпадение, ведь если даже и предположить у литературного героя прототип, звался он наверняка иначе. Повторить с ним опыт одухотворения не удалось, лишь механически подобра-

лось еще несколько листков на тему. Например, отголосок религиозного диспута о возможности сотворить мир за семь дней (*Семь старых рублей теперь за миллионы считают. Вот и семь Божьих дней переведи по-новому исчислению*), невнятная полумысль (*Это как Бог, внутри. А извне приходит случай*), стихотворное пророчество и знакомый памятный список: для кого просить о выздоровлении, о замужестве, о разрешении от бесплодия и защите от притеснений. На некоторых фантиках, кстати, записаны были обрывочные впечатления о паломничестве к такому-то святому месту, но опять же неизвестно, чьи и куда.

23

*Рака хрустальная, прозрачная, изнутри вся сияет. Только постоять с чувством не было никакой возможности. Что успеешь пробормотать наскоро, то и ладно.*

*И то сказать, очередь версты на полторы. Не то что со всех концов — из разных стран тянулись. Всем было что-то нужно, и в спину поторапливали: проходи,*

*одно дело взывать к образу рисованному, другое видеть телесно, к кому взываешь*

*Тела их даже после смерти благоуханны*

*Пускали по одному, без толчеи. Надо было приклонить ухо вплотную, оттого казалось, что каждому нашептано что-то свое, особое. Ну, что тебе было сказано? — допытывались у выходивших на монастырском дворе.*

*не говорить об этом, но сказать о корове или даже навозе так, чтоб было об этом.*

24

Лизавин помнил, как держал в руке именно этот фантик, когда с ним что-то произошло. Он пытался уразуметь, почему это оказалось среди религиозных заметок. Имелась ли здесь в виду та благоговейная, целомудренная стыдливость, которая не позволяет произносить иные слова или имена всуе, которая

противится любой теологии, то есть логическим рассуждениям о божественном? Или, может, это было вообще о нежелании прямо формулировать какую-то мысль или чувство? — потому что есть мысли и чувства, которые противятся прямому называнию, они начинают кривляться, как ребенок в смущении, и допускают только образ, подобие... да, да, именно там, где мысль у Милашевича выражена прямо, ей не стоит особенно доверять, еще неизвестно, с чем она соединится.

*сравнять с собой это беззвучное, разлитое в воздухе*

Он сидел, что-то еще примеривая, перекладывая, пока не обнаружил, что думает уже совсем об ином, что придает чужим строкам смысл, которого они иметь не могли, потому что ведь были о ком-то другом, не о нем, но от этого своего смысла теперь нельзя было освободиться, как если бы на рисунке среди двух ваз по закону иллюзии он увидел человеческое лицо и уже только его способен был дальше видеть, а вазы пропали и не восстанавливаются. Словом, он уже не о Милашевиче думал; восторг первого проникновения иссяк — хотя ему казалось, что это ради Симеона Кондратьевича понадобилось ему неотложно в Москву, в московские библиотеки, ради него он хитроумно выцыганил себе полукомандировку, полуотпуск в счет отгулов прошлых и будущих — гораздо человек хитрить сам с собой; а что за мысль его погнала туда в самом деле, кого он собрался здесь искать и почему здесь, Антон до конца признался себе уже лишь тогда, когда поднимался по лестнице старого московского дома.

## 6. История болезни

### *Лица*

*время; когда студента можно было узнать не только по фуражке и тужурке, когда еще не смешались типы, и по лицу можно было угадать принадлежность к сословию.*

*Надлом веков рождает такие лица, время, облюбо-*

*вавшее для живописи своей Саломею, роковую плясунью,  
поцелуй в мертвые уста*

*бледные ноздри утонченного выреза, пот болезнен-  
ной прохлады на прозрачных, с голубизной, висках*

*человек с усами вместо бровей*

*личико цветка: двойной бугорок лба, щечки, выделен-  
ный подбородок*

*неподвластные времени ангельские черты.*

1

Звонить не понадобилось, дверь в квартиру оказа-  
лась приоткрыта. За светящейся щелью вместе с табач-  
ным дымом клубились голоса — банный гул много-  
людного сборища. Некто с потной лысиной и бородой  
деловито перенял из руки вновь вошедшего бутылку  
болгарского вина.

— А что, водки не было? — спросил он, как будто  
они перед тем договаривались о водке. Лизавин вино-  
вато пожал плечами: дескать, что мог. Дескать, я вооб-  
ще не думал, что застану здесь общество, случайно  
вышло, и бутылка, знаете, наобум, водку постеснялся  
как-то... Но объяснения тоже были ни к чему, лысина  
уже уплывала с бутылкой вглубь, к невидимому засто-  
лью. Антон неуверенно огляделся: туда ли попал? Вро-  
де туда, все было похоже. Да, вот и портрет хозяина  
парил в табачном облаке у двери, узкое молодое лицо  
с усмешливой родинкой в уголке губ. Из кухни появи-  
лась с кастрюлей дымящейся картошки женщина,  
скользнула по Лизавину озабоченным, невидящим  
взглядом — потом, через два шага, до нее дошло:

— Антон! О Господи! Наконец-то! — Радость в ее  
голосе была неподдельна, она даже подбородок над  
кастрюлей приподняла и губы подставила — Лизавин,  
не сразу догадавшись, заставил ее мгновение удержи-  
вать эту трудную позу, но тут же, быстро наклонясь,  
поцеловал. А что ему оставалось делать? — Как хоро-  
шо, что вы объявились. Я уж не знала, что и думать.  
Проходите.

С каждой минутой кандидат наук чувствовал себя  
все глуше. Она, видите ли, не знала, что и думать...  
Единственный раз до сих пор он был в этом доме,

заглянул по адресу, который оставил ему мимолетный, можно сказать, уличный московский знакомый (именно уличный: на улице в Москве встретились, случайно разговорились, заинтересовались друг другом), но самого Максима Сиверса не застал тогда, провел вечер за беседой с его женой, Аней, этой вот маленькой хлопотливой женщиной — единственный вечер, а теперь она говорит «Наконец-то!» и подставляет губы для поцелуя.

2

Застолье встретило его появление оживленным шумом, кто-то даже крикнул «Ура!», какая-то красивая женщина захлопала в ладоши, и Лизавин слегка раскланялся в разные стороны, как дурак, потому что приветствовали, конечно, не его, а картошку, выплывавшую из-за его спины. Максим не вышел навстречу, и взгляд Антона никак не находил его среди множества лиц. Только с портретов на стенах усмехались чему-то варианты все той же родинки. Анина живопись. Сидящие пододвигались, ужимались, высвобождая место, вот он уже устроился перед чистым прибором, в керамический стаканчик налито.

— Ну, давайте за него.

Господи, уж не на поминки ли угодил? — внезапно похолодел Антон Андреевич. Так все одно к одному показалось похоже. Испуг был, конечно, глупый, короткий: лица вокруг оживлены (так ведь и на поминках смеются)... Нет, и Аня опять же...

— За Максима...

Ну, конечно, на поминках так не пьют. Не чокаются.

— За именинника.

Отлегло. Вот, значит, что. Немного прояснилось. Но где, однако, застрял сам именинник? На кухне пропал? Пора бы появиться. А спросить было вроде неловко, особенно после этого испуга. Выбираться тесно. Антон пока оглядывался. Какие все интересные лица. Ну, то есть чем интересные? Сразу не скажешь. Мужчин много бородатых, не то что у нас. Нет, не в этом, конечно, дело. Но что-то в них было, право, особенное, что-то... как бы это сказать... московское, вот именно, отпечаток значительности, интеллигент-

ности, пленившей когда-то провинциала в Максиме Сиверсе. И женщины какие-то такие... И разговор не сразу поймешь.

— ...причина простая. Как вышибли нас татары из колеи, так до сих пор мотает, не можем вправить.

— Ну, знаете! На шестьсот лет предопределение...

Нет, чтобы впустить в себя разговор, надо было сперва сравняться с температурой застолья, где на тарелках сигаретный пепел уже припорошил лимонные шкурки и селедочные косточки и ошметки в свекольных потеках, где беспорядок сборной посуды, бутылок и лиц развивал тему длинной, когда-то девственной скатерти, где голоса всплывали поверх белесого дыма, как разрозненные пузыри, лопались, понемногу заполняя теплым шумом внутренность головы.

— ...есть в конце концов исторические случайности, своеволие личностей, вмешательство чуждых сил.

— А вам не кажется, что это вечное вмешательство и своеволие тоже как будто запрограммированы? Самовоспроизводится способ осуществления власти. Помните, как выразился Максим?

— Максим имел в виду другое...

Где же он все-таки? Выйти бы на кухню посмотреть, спросить. А то впечатление, будто собрались без именинника и поминают заочно. Неуютно и непонятно как-то. Антон наскоро взял в рот еще кусок и, дожевывая, стал выбираться из-за стола.

### 3

Аня курила на кухне у окна как человек, давший себе передышку. Еще одна молодая женщина курила за столом, третья мыла у раковины посуду. Увидев смутившегося у двери Лизавина, Аня приветливо поманила его к себе, взяла под руку, но с присутствующими не познакомилась, возможно, потому, что надо было договорить.

— ...дело в том, что принимают теперь только пять килограмм. А ему главное табак. Хоть все пять килограмм табаком.

Как изменилась, отметил Антон. Совсем другая женщина. Даже курит. Нет, ну как теперь спросить?..

— Сало надо обязательно. Оно не портится,— сказала сидевшая за столом и посмотрела при этом на

Лизавина, как будто спрашивая его авторитетного мужского подтверждения.

— Да, сало не портится,— подтвердил Антон Андреевич. Зачем-то попросил сигарету и прикурил у Ани. Остальные помолчали, дожидаясь, пока он с этим справится.

— А верно, что к Лифшицу вчера приходили? — спросила, дождавшись, та же из-за стола. Она опять обращалась к Антону — то ли видя, что его приблизила к себе хозяйка, то ли авторитетность его произвела впечатление.

— Не знаю... я не в курсе. Я только приехал в Москву,— пробормотал кандидат наук.

— Говорят, по радио передавали.

— У меня приемника нет. Сломался,— ухватился Лизавин за возможность сказать чистую правду, не роняя себя и одновременно уводя от скользкого, непонятного места в подробности, может быть, излишние.— А чинить отказались. Говорят, таким динозаврам место на свалке, для них и ламп уже не выпускают. А мне жалко...— Надо было как-то остановиться, но он не знал как. К счастью, пришли из комнаты за чашками и чайниками. Судомойка, наспех вытерев руки, пошла хлопотать, сидевшая за столом придушила окурок о пепельницу и тоже последовала за ней. Аня осталась еще на несколько затяжек.

— Вы удивлены? — взглянула она сбоку на Антона.

— Не то чтобы... но как-то...

— Да, столько народу. Я не ожидала. Половину сама вижу впервые. Даже большинство. Пришли с деньгами, сами всего накупили. Некоторые приходили к нам прежде. Максим ведь весь был в отношениях. Для многих столько сделал... видите, как его любят. Но всех я, конечно, знать не могла.

— А... а где он сейчас? — наконец воспользовался удобным поводом поинтересоваться Антон.

— Пока все там же,— сказала она устало и грустно. Затушила окурок, на миг прикрыла глаза — под ними сразу выявились тени, кожа расслабилась морщинками.

— Аня! — позвал кто-то из комнаты.— Аня, на минутку, ты нужна.

— А вам я вправду обрадовалась,— сказала она.—

Вы не останетесь немного потом, когда все разойдутся?

— Не знаю... Я как-то...

— Аня! — крикнули еще раз.

— Иду!.. Оставайтесь, если можете. Я хотела с вами поговорить.... показать кое-что.

4

Это решило дело. Признаться, Антон Андреевич уже был не прочь улизнуть. Не потому, что все менее уютно становилось ему от догадок, которых не требовалось и подтверждать, разве что уточнить подробности. Но просто — что было делать среди чужих столичных людей приезжему провинциалу, который к их неведомым делам не имел никакого отношения? В самом же деле, никакого, это он мог и объяснить, и доказать, если потребуется. Он оставался в квартире из интереса главным образом личного. Туалетная бумага, и та оказалась здесь не простая, а иностранная, с изображением почти настоящих стокроновых кредиток — наверное, чтоб люди могли хоть так примерить приятное и лестное чувство презрения к деньгам. Нет, вообще любопытно. Однако позицию себе Антон даже внешне обеспечил посторонне-наблюдательную: за стол, в тесноту, не вернулся (тем более что перекусить успел достаточно), а стал в двери у притолоки, с дистанции как бы обозревая сцену и пытаясь вникнуть опять в смысл растрепанного спора.

— Только не говори мне, что нация есть коллективная личность. Коллективная личность — это ансамбль песни и пляски, в фольклорных костюмах, с притопом в общий такт, вот что это такое.

— Но человек не может быть сам по себе. Есть ценности извечные, есть формы общего существования...

Похоже на фантики, с усмешкой подумал вдруг Лизавин. Всюду фантики. Я, кажется, помешаюсь на них: осколок подслушанного разговора, обрывок чьей-то жизни вне контекста — везде преследует, мерещится мне то же чувство. И так ли уж я рвусь соединить? Может, по-настоящему я просто ролею, вот как сейчас. Может, каких-то связей, смыслов я просто иногда не хочу допускать в сознание... Рядом,



у другой прилолки, пристроился непонятных лет человек с жидкой растительностью на темени, с белесыми висячими усами, в старом свитере и поношенных нерусских джинсах на тощем заду (рублей на полтора джынсы, прикинул Лизавин, впрочем не считавший себя в таких вещах знатоком).

— Ну да, в комитет комсомола с этим уже не пойдешь, в партком тоже, а прилепиться к чему-то надо.

— Не вижу, над чем тут иронизировать. Мы пережили распад многих привычных форм и ощутили, как нам не хватает чего-то. Возьмите в этом смысле Запад...

— Затшем Запад, затшем форм? — внезапно обратился к Антону тщедушный сосед, причем не только джинсы, но и выговор оказался у него совершенно не русский. — У нас сидит вот здесь в шее: все форм, все организаций, порядок, бизнес. — Чувствовалось, что его давно тянуло вставить слово, но, не будучи здесь своим, он стеснялся недостаточности языка и в Лизавине просто нашел, не выдержав, ближнего слушателя, к которому можно было обращаться вполголоса, в то же время не упуская застольного спора. — А такой разговор, такой общество за стол — там я не могу иметь. Только здесь.

— В самом деле? — осторожно сказал Антон.

— О да! О чем ми говорит? За какой партия голосовать, какой демонстрация идти, какой машина купить, куда дешевле путешествовать. Все деловой практик, политик. У вас даже политик — духовный... как это сказать?... проблем. Практик ви не влять, это делают другие. Все становится духовный проблем.

— Мы страна Достоевского, — скромно усмехнулся Антон Андреевич. Впервые он беседовал с иностранцем, и что-то ему в этом не нравилось. Как будто он представлял кого-то и вынужден был принимать комплименты без уверенности, что заслужил их. Даже без уверенности, что это вообще комплименты. Да, он все более чувствовал, что в этом доме лучше быть осторожней.

— ...но согласитесь, наш опыт страдания в самом деле позволяет постичь что-то, другим недоступное, — доносилось из-за стола.

— Что он говорит? — наострил вместе с Лизавиным иностранец.

— Да примерно о том же, что мы. О Достоевском,— осторожно подыскивал слова Лизавин.— И что у нас проблемы всегда мировые.

— ...как будто эскимосы, или я не знаю кто, терпели меньше нашего. И что им такое открылось?..

— Что он говорит? — не понял опять собеседник то ли услышанной фразы, то ли Антонова объяснения.

— Ну, я же примерно сказал,— успокоил его Лизавин, как переводчик, уверяющий, будто передает длинную речь своими краткими словами без утраты смысла — хотя на самом деле ему просто стала в тягость эта работа.— Что у нас даже обыденность жизни может означать не то, что у других, перенести в другие измерения. Как выразился один наш провинциальный философ, Милашевич — имя вам ничего не скажет, вы вряд ли слышали, но замечательный, своеобразный ум,— не удержался Антон от возможности познакомиться с Симеоном Кондратьевичем европейского представителя: — в провинции быт становится бытием. Именно потому, что он не устроен и в сущности ужасен, из него, глядишь, рождается мечта о мгновенной ослепительной вспышке, которая все изменит и всем осветит путь.

— О да,— согласился неизвестно с кем собеседник. Кто-то из-за стола по-свойски протянул им, предлагая, рюмки с вином, и оба с удовольствием взяли, уже почувствовав жажду.— Ви даже не представляйт, как ви прав.

— Как знать, может, и представляю,— усмехнулся опять Антон Андреевич (между тем сам стараясь задержать и запомнить какую-то родившуюся в этом экспромте мысль, чтобы над нею еще подумать).

— Ваш здоровье,— чокнулся белоусый, выпил одним глотком, по-русски, с наслаждением, крикнул и, утерев пальцем усы, продолжал: — Хорошо! Вы не чувствует, у вас... как это скажите?.. Все приключений, все открыт. Я заказывайт здесь билет в театр, неделя назад, и сегодня не знаю, будет, не будет. Мне интересно. У нас все знайт заранее, все определен, все можно. Но это нет свобод. Это есть форм. Понимайт? Свобода я дышу здесь. О, ви сами не понимайт, ви не чувствует...

— ...а себя обеспечиваем с грехом пополам,— продолжали между тем за столом.

— С кем пополам? — вновь встрепенулся собеседник. После рюмки (неизвестно, впрочем, какой по счету) он, кажется, все более проникался общим самочувствием.

— С грехом, — попробовал объяснить кандидат наук. (Черт подери, чего он от меня хочет?) — Ну, так у нас говорят: с грехом пополам.

— Пополам?

— Да. По-вашему, как бы сказать, фифти-фифти. Пятьдесят процентов одного, пятьдесят другого. — От непонятной досады на Лизавина нашло вдохновение. — Я, знаете, не силен в языках. Учительница уверяла, что я по-английски говорю почему-то с французским акцентом. Хотя французского я не знаю совсем. Да и она, по-моему, не знала. Вот Максим хорошо говорил. На разных языках. Вы ведь знакомый Сиверса? — завершил он свой пассаж, внутренне изумляясь собственной виртуозности.

— Да, да, — отчего-то сник и погрустнел собеседник, как будто выпил существенно больше Антона.

— ...тогда, простите, бессмысленно спорить и выяснять. Как говорится, на хрен слепому очки, — вырвалось из шума.

— На хрен? — уловил иностранец опять непонятное слово. — Что это — хрен?

— Ну, это я не знаю, — замялся кандидат наук, чувствуя, что буквально-огородное толкование не пройдет, не внушит доверия. — Хрен... не знаю, как по-вашему... какой у вас язык?.. ну, по-латыни, наверно, *penis*.

— А... — кивнул тот, запоминая и пробуя осмыслить. — Очки? — Но Лизавин, уловив минуту, уже бочком поспешил ретироваться в туалет, к рулону мягких стокроновых кредиток, оставив собеседника в размышлении над особыми свойствами этого удивительного народа.

## 5

Нет, ночевать здесь Антон Андреевич вовсе не собирался, однако гости разошлись за полночь, и то не все: еще троим оставшимся Аня стала устраивать постель на полу — энергичная, улыбчивая, доброжелательная. Как расцвела, как воспрянула, отметил Лиза-

вин. Жена, признанная друзьями мужа. Единомышленница. Преданная подруга. Что ему надо было еще, почему он все от нее убежал? (И опять убежал — мелькнула странная, не до конца осознанная мысль.) Он дожидался ее на кухне, прибирая остатки посуды.

— Оставьте, я сама, — сказала Аня, появившись. Достала сигарету, закурила опять. — Тоже приезжие, — объяснила она, движением головы показывая на стену, за которой устраивались на ночлег гости; говорить приходилось тихо, и этот полусшепот создавал ощущение доверительности. — Максим то и дело приводил кого-нибудь ночевать, я хочу, чтобы без него было, как при нем. Вы, я чувствую, удивились, когда я вас так с порога... Инерция. У них в компании такой стиль, вы не подумайте. — Она не заметила, что сказала «у них». Оживление и бодрость сходили с ее лица, как слой грима, оставляя усталую кожу с темнотой под глазами и морщинками в углах губ. — Я и в прошлый раз показала вам болтливой ни с того ни с сего? Действительно... но поверьте, вообще это не мое свойство. Только с вами почему-то... вот и сегодня захотелось почему-то с вами поговорить.

— Потому что мы с вами провинциалы среди москвичей, — облегчил ей объяснение Антон.

— Да, да, — с благодарностью откликнулась она. — Наверное. Я столько лет в Москве, но все время чувствую себя одинокой. Такой одинокой! — Она вдруг засморкалась в платочек. — У меня и вправду никого не осталось. Знаете, я как раз хотела вам рассказать. Как-то этим летом я шла домой... Максима уже не было. Вижу, в скверике, против входа к нам, на скамейке сидит девушка. Худенькая. Потом я уже поняла, что вижу ее не в первый раз, она и утром тут сидела, с чемоданчиком. Этот чемоданчик старомодный, обтерханный, мне всю ее вдруг так близко объяснил. Я будто себя увидела: как приехала когда-то в Москву с таким вот точно чемоданчиком, поступать, никого здесь не имея, без копейки, без общежития, ходила по улицам, голодная до невесомости, пока меня не подобрал Максим. Я вам рассказывала? Ну вот. Я к ней подошла, заговорила и чувствую: все угадала. Она только кивает. Никого нет, говорю, в Москве? Кивает. Голодная? Кивает. Таким я вдруг к ней чувством прониклась! Уговорила зайти, про себя стала попутно

рассказывать. А дальше получилось удивительно странно. Она вошла и увидела портрет Максима. Знаете, против дверей висит? Остановилась, смотрит. Я даже подумала: лицо ее так заинтересовало или живопись? Но пока я в комнате с чем-то замешкалась, она вдруг исчезла. Я только слышу, каблучки застучали по лестнице. Хотела было вдогонку, но не стала. Так странно. О воровстве почему-то и мысли не мелькнуло, да у нас тут и нечего. Осталось чувство видения. Я ведь даже имени ее не успела узнать, вообще ни слова, кажется, не услышала. Красивая.— Аня дождалась, наконец, пока Антон встретится с ней взглядом, и во взгляде этом увидела, кажется, то, что ей было нужно.— Даже очень. Только худенькая слишком... Но зачем я вам, собственно, все это... Тут от Максима осталась тетрадка. Он в последнем нашем разговоре — как будто предчувствовал... да, наверно, предчувствовал — просил унести в другой дом, если что, сохранить. И знаете, почему-то помянул вас. Ну, вы сами увидите, поймете. Я так поняла, что он решил прочесть, даже хотел. И теперь не знаю, что думать. Может, вы потом мне объясните.— Опять Антон встретился с тем же испытующим взглядом.— Там такое мне почудилось... ужасное. Я никогда его, в сущности, не знала. И дел его. Он не относился ко мне всерьез, на такие темы даже не говорили.

— Со мной тоже,— счел нужным уравнять себя с ней Лизавин.

— Вы другое дело.

— Наверно, он вас берег,— хотелось все-таки сказать ей что-то утешительное.— А может, дело еще, знаете, в какой-то стыдливости вкуса... души.— Лизавин замялся, не зная, как пояснить.

Аня покачала головой, обмакнула уголки глаз платочком и высморкалась.

— Я знаю, ему нужна не такая, как я. Я ведь тоже понимаю. Он все рвался бежать. Может, это тоже способ.

— Ну что вы,— Антон дотронулся до ее плеча. Ему было неловко, будто она смогла подслушать его собственную мысль — а еще оттого, что, кажется, недооценил ее.— Вернется, все будет хорошо.

— Только бы вернулся. Пусть не ко мне, мне ничего не нужно. Хотя нет, я вру... Но я бы ни на что не

претендовала. Только служить ему, выполнять желания, прихоти... Я боюсь... Боюсь, он вообще не хочет... Не только со мной. Вообще жить. Уже ведь было... Но что я... Извините, Антон, больше не буду. Почитайте, вот тетрадка. А там вам постелено, и лампа есть.

6

Так еще раз, словно из пространства или из других времен, донесся до Антона глуховатый, порой задыхающийся, прерываемый кашлем голос человека, казалось бы едва промелькнувшего в его жизни; но, читая ночь напролет эту клеенчатую, выдавшую виды тетрадь, Лизавин все больше чувствовал, что Максим Сиверс вошел — и продолжает входить — в нее глубже, существенней, нежели самому представлялось. На первой странице без заголовка и предварительного объяснения начинались короткие, в одну строку, мало-вразумительные записи, вроде: «18.10.70. Учительница в поезде. Кашель 3 мин.», «22.2.71. С начальником. Зуд, недолго», «6.11.70. Ансамбль по ТВ. Астма 2 мин.», «3.4.71. В церкви. Сыпь, кашель», — и т. д. Дальше следовали наметки нескольких таблиц, где по горизонтали те же даты сопровождались буквами П или Х, а по вертикали выписаны были симптомы: кашель, астма, насморк, зуд, сыпь и на пересечении координат ставились крестики. В других схемах горизонталь была разделена на две крупные половины — «пошл.» и «хам.», в каждой выделялись клетки помельче, никак не озаглавленные. Была также попытка графика с декартовыми осями: по горизонтали названия месяцев, по вертикали — «колич. приступов». Но ни одна схема, видимо, не получилась, все последовательно оказались перечеркнуты, и на восьмой странице под заголовком «ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» начинался связный текст. «Боюсь, для ученых наблюдений даже над собой мне недостает многих качеств, прежде всего систематичности. Попробую литературу», — писал Максим Сиверс, недоучившийся студент, знавший, что такое анамнез, этиология и патогенез, но не умевший подступить к собственному странному недугу, тяжелой, прихотливой форме аллергии непонятного происхождения. Медики доучившиеся давно обнаружили перед ней бессилие, с усмешкой замечал он. Ни один тест

и объективный анализ не давали результата. Похоже, тут вообще был случай, когда разбираться с собой мог скорей сам больной, но он спохватился запоздало и, лишь когда совсем припекло, взялся уже задним числом вспоминать и осмысливать эпизоды болезни, чтоб доискаться до корней и способа избавления. Вначале, писал он, причина казалась простой: книжные полки в отцовском доме, запах библиотечной пыли — «классический аллерген, вынудивший меня в восемь лет переселиться к тете Ариадне». С годами, однако, все более выяснялось, что жар, зуд, задыхание могли возникать от раздражителей вовсе не материальных и даже чаще не материальных: так, одно время простые сочетания слов, вроде «повестка дня» или «почетный президиум», провоцировали такой полный набор симптомов, что студенту Сиверсу было разрешено, к зависти иных, не ходить на собрания. Не удавалось даже раскрыть иной раз газету: запах ли свежей бумаги, типографской краски вызывал удушье, вид ли заголовка «Позывные трудовой вахты». Болезнь развивалась и усложнялась; недостаточно оказывалось кратких помет в схемах, Максим по памяти пытался их теперь расшифровать, восстанавливая историю приступов в подробностях — поди пойми, что могло сыграть свою роль: запах угля и скверной прачечной в вагоне, вкус железнодорожного чая, пейзаж за окном или разговор попутчицы о летнем отдыхе («Солнце, воздух и вода — все было. Мясо в ассортименте»), — фиксировал он дословно), а может, лицо ее в слое пудры, с красными губами и румянцем, вызывавшим мысль о кустарных раскрашенных игрушках. Он уточнял также, что ансамбль по телевизору исполнял «Подмосковные вечера» и что ковры в квартире были синтетические. Синтетика одно время была у него на сильном подозрении, особенно когда имитировала природный материал — но нет, в других случаях это никак не действовало; не получалось общего знаменателя. Не прошла, видимо, и попытка выделить реакции отдельно на пошлость и хамство, хотя и показалось было, что в первом случае возникали больше дыхательные нарушения (спазмы, кашель), во втором — кожные (зуд, сыпь до волдырей), причем последние иногда удавалось снять, поставив хама на место. На странице, где была упомянута эта не слишком научная гипотеза,

следовал перечень нескольких стычек, описанных с разной степенью подробности, разным стилем, порой очень даже литературным, и, очевидно, в разное время, да еще с какими-то отсылками, мелкими вставками на полях, понятными лишь автору пометами, стрелками, протянутыми от одного случая к другому и долженствующими, видно, указывать на связи; но со стороны вникнуть во все это было трудно, а конечного вывода сам писавший не смог дать и тут.

7

Вообще записи от страницы к странице становились все обрывистей, многослойней. Вслед за сюжетами облегчительных стычек Сиверс попробовал выделить и сгруппировать другие эпизоды, после которых приступы проходили. Первым оказался раздел самых разнообразных драк — начиная с детского еще столкновения из-за «дикой женщины». «Тогда по Москве ходили толки о волосатой дикой женщине, которую будто бы поймали в лесу и выставили в зоопарке, — все более впадал исследователь в стиль мемуарной беллетристики. — В нашем 3-А объявилось даже несколько очевидцев. Странно, что ни у кого, кроме меня, не возникло потребности съездить туда и убедиться. (От нас было недалеко.) Я как будто чувствовал, что это избавит меня от начинавшейся задышки. Никого мой одинокий опыт, конечно, не убедил, и в драке потом досталось мне изрядно, зато дышать сразу стало легко». Дальше опять другими чернилами было мелко вписано: «Ср. армейское» и тянулась куда-то стрелка, но Лизавин добрался лишь до боком поставленной с краю строки: «Почти все три армейских года я дышал легко, как никогда» — и больше вертеть страницу не стал, надеясь вернуться к ней позже, когда начнет что-то понимать полней. Он перелистнул и следующую запутанную страницу, начинающуюся строкой: «Разрыв отношений, отъезд, внезапная перемена места», а дальше опять стал читать, соблазненный связным текстом и разборчивым почерком: «Но почему вдруг исчезли однажды сыпь и сипение в той же самой отцовской комнате с запахом книжной пыли и зарешеченными от воров окнами? Я шарил зачем-то в ящике стола (искал деньги? не



помню; нет, для денег я продавал его книги) и нашел там старую фотографию отца в черной тужурке революционных времен. Тонкое скорбное лицо с нервным вырезом ноздрей. Тетя Ариадна считала, что он погубил мамину жизнь, но относилась к нему со своеобразным почтением, как к дракону или колдуну, сумевшему, что ни говори, очаровать и похитить принцессу: для этого нужна была все же незаурядность. Она, по-моему, видела эту незаурядность и в том, что он смог родить сына в возрасте, когда немногие уже на это способны; в его отцовстве, как в самой маме, она усомниться не могла. Я помню его только маленьким старичком в детских сандалиях, которого трудно было даже назвать «папа», ничего не воспринимающим, кроме своей книжной страсти. (На шее под рубашкой шнурок с ключами от особо ценных шкафов.) А ведь было многое до нее: эсеровская активность, побег из ссылки, эмиграция, потом революция; он уцелел, как я понимаю, чудом, потому что скоро от всего отошел, занимался музейными делами. Когда они познакомились с мамой, ему было уже за пятьдесят — другой человек. До революции он был еще женат — об этом и тетя Ариадна совсем ничего не знала. Вообще она говорила о нем с неохотой, лишь к случаю, а я не интересовался и его никогда не расспрашивал. Чужие. Только потом это стало ощущаться как одиночество (одно из многих моих одиночеств). Я и на похороны его не успел, не видел его успокоившимся. Колоссальную библиотеку его растащили мгновенно и бумаги заодно все прихватили. Тело обнаружили уже среди пустых стен, верхней, полка (и не пылью пахло, когда я ступил туда — прахом распада); сыскать ничего не удалось, да никто особенно и не старался. Как будто и не было ничего, как будто и сам он просто исчез, а тот холмик на кладбище — его ли? Но чем дохнуло на меня с той фотографии? Какой-то *подлинностью* жизни, страсти — может быть, вот слово?»

8

Хотя в распоряжении Антона была ночь, да и дальше его никто не ограничивал, он начинал листать страницы все более бегло, не упуская намерения вер-

нутья к ним потом: хотелось поскорей понять, что в этой тетради, как намекнула Аня, могло иметь отношение к нему; но какой-то пунктир мысли он все же прослеживал, прочитывая наиболее разборчивые куски. «В кино те же кожаные куртки для меня невыносимы: бутафорская история, опереточные анархисты, ряженные страсти, поддельная борьба. Допустим, тут дело вкуса; допустим, от фальши и здорового может стошнить. Но смотрю же я как ни в чем не бывало хотя бы фильмы про индейцев. (Вернее, смотрел когда-то, давно не ходил, зарекаться не стану.) Может, они просто никак не относятся к моему опыту и знанию, как марсианская фантастика?» — продолжал размышлять Сиверс на темы подлинного и неподлинного; подозрения, которые вызывала когда-то синтетика, переносились теперь в иное, духовное измерение. «Приступ в церкви. Никогда со мной такого прежде не было, запах ладана я воспринимал спокойно. Может, потому, что зашел в тот раз с ребятами и увидел, как они крестятся». От попытки связывать и группировать наблюдения писавший окончательно отказывался — не получалось; брало верх столь знакомое Лизавину желание запечатлевать мгновенные уколы мысли. «Но ведь убежденность этих людей неподдельна, я знаю, тут все всерьез и взаправду, и расплачиваться готовы хоть жизнью, и правоту их я сознаю. Почему даже среди наших разговоров я задыхаюсь, как от толков про нехватку продуктов?» — «Болезнь выталкивает меня из одиночества, делает чувствительным ко всякой встречной беде, нужде, неправде, требует делиться, помогать, вмешиваться, а то зудит не только кожа — внутренности, кишки, сердце. И в то же время мне будто предложено опираться только на себя, ни на что больше». — «Кто-то сказал: одиночка ближе к Богу, чем толпа. Надо заботиться о том, что ты значишь перед Господом, а не перед людьми. Не так это просто. У древних моих предков это совпадало: отмеченный Богом был благословен перед людьми. Сейчас как бы ему не спиться». — «Может, в этой болезни — моя связь с миром, моя несвобода и мое благословение?» — «Опять вообразил разговор с покойным отцом. О, как просто предъявить счет ему, его поколению! А что я противопоставлю? Студенческие надежды и разочарования? Понимание, болезнь,

невозможность жить?» — «Подвыпивший приезжий на улице излагал мне философию общедоступного счастья...»

9

Вот, екнуло в животе у Лизавина, вот про меня. Это он после нашей встречи, еще до приезда в Нечайск: «удивительная, не боящаяся быть смешной голубоглазость. Она вовсе не смущается ни банальности, ни даже пошлости, напротив, на них-то готова основать устойчивое мироздание. Тоже верно. Какая-нибудь песенка или поделка тоже говорит о жизни, только по-иному, чем «Фауст». Причем общедоступному скорее дано быть общезначимым. Что-то меня задело в этом повороте ума или в этом человеке. Занятная переключка с собственными мыслями — но как будто с другой стороны зеркала». Дальше на странице следовала еще лишь одна посторонняя запись о том, кто же любезней Замыслу: покровительствующий искусству властитель, по воле которого возводятся дворцы и храмы, или благоустроенное общество с довольным населением, которое обойдется чем-нибудь попроще («вопрос досадный для моего демократического ума»). Следующая страница была пуста, и Лизавин с недоумением, с некоторой даже обидой перечел еще раз относящиеся к себе строки, вспоминая похмельный долгий разговор на московской ночной улице, под аккомпанемент неотступного кашля, профиль собеседника с родинкой в уголке губ, создававшей впечатление усмешки, хотя ему было отнюдь не до смеха. Значит, вот как Максим тогда его понял — и так кашлял жутко, слушая про Милашевича. Какая же переключка с мирной философией Симеона Кондратьевича почудилась ему в собственных метаниях, рожденных недугом? Похоже, он и в Нечайск поехал искать от него облегчения, а там встретил Зою и снова бежал. Есть ли тут о ней? — должно быть. Вот, после пустой страницы, будто начав заново:

10

«Что мы увидели друг в друге? Уж не себя ли? Мы понимаем себя через других (для того и книги, и люди). Господи, как мне сразу открылась в ней эта пре-

лесть изящества, эта способность быть принцессой без заботы о наряде (то, что не зависит от происхождения, но и не дается наукой), эта врожденная четкость пристрастий, похожих иногда на болезненные причуды, эта фантастическая чувствительность к настоящему, «своему», которую она сама, кажется, не осознает — и может, слава Богу, природа хитроумно о ней позаботилась, иначе как бы она прожила столько лет в этом доме?» Да, это о Зое, убеждался Лизавин, но как темно! — поди вникни. Тут же, в скобках, Максим вспоминал зачем-то рассказ тети Ариадны о маме, которая, почти нищенствуя, отказалась когда-то от заработка машинистки только потому, что учреждение называлось «Жирклуб»... Что-то в этом чтении чужой тетради было все же непозволительное. Неужели Максим и вправду разрешил? Так пишут для себя, не для читателя, даже опасаясь нескромного глаза, а тем более служебного: мало ли к кому могло попасть. Недаром и вместо имен везде ставились инициалы: вот, дальше, Костя Андронов обозначен был буквой К, а сам Антон — А. Лизавин читал дальше, узнавая по намекам памятный разговор за столом у Кости, когда бывшие приятели предавались перед Зоей армейским воспоминаниям; впрочем, говорил за обоих Костя, молчавший Максим, как выяснилось теперь по тетради, думал тогда о каком-то Марате — это имя было названо полностью; тоже, видно, из армейских знакомых. «К. не вспомнил про него — неудивительно. Удивительно, как я сам столько лет обходил его мыслью. Боялся понимания. О да, теперь мне ясно. Срабатывал последний самосохранительный механизм, как у тети Ариадны — головная боль». Хорошо хоть это место Антон мог понять, он слышал раньше от Сиверса про замечательную тетушку, у которой возникали страшные головные боли, едва дошпливмый собеседник или собственная мысль нечаянно приближались к запретным, опасным областям памяти — боль засвечивала их, как пленку. Видно, и воспоминание о Марате было чем-то Сиверсу неприятно — Боже, мог бы все-таки объясниться вразумительней! — и при чем тут армейский приятель, когда уже начал о Зое? Вот опять: «Я, помнится, вначале решил, что он из горцев кавказских. Нет, казах, из простых, кончил школу. Браслетом своим восхищался

из цветной пластмассы, умельцы в казарме их делали из краденых мыльниц и зубных щеток, купил у них за десятку. Но откуда этот кодекс чести, врожденный, аристократический?» «Когда сословный, дуэльный стыд исчезает, — приписано было сбоку, на полях, — надежда только на личный. Равенство оказывается равенством лишь перед страхом наказания, перед кодексом уголовным. Регулируют поведение страх или стыд. Или наследственная болезнь вроде моей». «Как он может, изумлялся Марат, писать девушке такие красивые письма, а вечером спускать штаны для экзекуции? А если бы она узнала? Да я бы застрелился!.. Я сам еще не представлял, насколько это всерьез. Он видел, как я заступался за К., он верил, что я знаю, как быть, что я не испугаюсь, дойду хоть до трибунала. Увы, дальше госпиталя я не попал — без меня он лежал у караулки с тремя пулями в спине, но я так ясно вижу иногда эту сцену и знаю, что виноват».

## 11

Бог весть, какая невнятица! — качал головой Антон. От открытой форточки несло холодом, надо было прикрыть, но он лишь натянул одеяло повыше на плечи, чтобы не так знобило. Застрелился, что ли, этот Марат? Нет, пули в спине. (Но потому и называет его полным именем, что нет в живых. И чувствует на себе вину за его смерть? — ничего не понять.) Из-за чего Максим в госпиталь попал? — после какой-то стычки? Может, вернуться, заглянуть туда, где было «армейское»... — вот: «Если вечером не успеешь раздеться и все аккуратно сложить за пятьдесят секунд, поднимут всех, всех заставят одеться и все повторить. Именно всех, чтобы увидели зло в тебе, одиноком выпендреннике, вздумавшем доискиваться, какой смысл в этой спешке перед сном. И в морду чтоб тебе кинули сапогом. А не приспособишься дальше — в умывалке избьют до бесчувствия. Даже К., которого я защитил, не стал бы моим союзником, продержись я дольше». Нет, о Марате здесь, кажется, ничего. «Одно дело человек сам по себе, другое — когда он номер в шеренге, в прямоугольнике на параде, звено в цепи, узелок в узоре ковра, цветок в портрете на клумбе». Все не о том (но смотри, как писать умеет: цветок в пор-

трете)... «жизнь для тех, кто чувствует себя как рыба в воде, в зловонии школьных туалетов и армейских галюнов, кто готов часами курить там, читать надписи у настенных рисунков и добавлять свои»... Не о том; доберемся сперва до конца.

12

«О службе не любят рассказывать, вернувшись. А если рассказывают, то не об ипподроме, не о том, как тебя заставляли заправлять постель пахану. Унизительные кошмары вытесняются в область снов, переиначиваются юмористически. Все правильно, иначе нельзя жить. Человеческая жизнь невозможна без умолчаний, подмен, самообмана, упрощений, неправды. (Кому, кроме профессионалов, нужна правда судебно-медицинских атласов: краснота язв, крови, желтизна гноя, синева кожи, рубцы от удавок на шее, обугленные останки?) Жизнь может строиться только на общедоступном, окороченном, добром, неполном, прикрытом, но не на истине, предельной, нагой и страшной, как тела мертвецов (в морге, когда передо мной, санитаром, впервые включили свет и я увидел на цинковых столах мужчин и женщин разных возрастов, рядом; пол здесь значил меньше, чем в палате родильного дома, где так же на спине лежат новоявленные младенцы — и дышать было легко, Господи! Вот что всплыло при воспоминании о Марате, вот когда все соединилось, и я понял свою обреченность). Всякая красота — лишь выделенная нами для пользования часть хаоса. Предельная истина запретна, ее воздух не для нормального дыхания. Вся громадная многовековая культура с ее религией и условностями, костюмом и поэзией создана человеком, чтоб отгораживать и защищать себя от нее. Смешно этим болеть, но что поделаешь, я не выбирал, и для чего-то, может, нужно в мире и мое уродство, моя роковая неспособность довольствоваться неполнотой. Нас гонит куда-то сила непостижимая, выше нас. Поговорить бы сейчас об этом с А.! Я тогда второпях попытался изложить ему лишь начало догадки, возможно, с избытком беллетристики, но она подвела меня к пониманию ближе, чем схемы. (Может, в словесности и крылось мое действительное призвание.)» ...Бог мой, это он опять обо

мне, о той тетрадке, что оставил в Нечайске, — мучился смутным пониманием Лизавин. (Странно, он все вспоминал, откуда знаком этот почерк, четкий и в то же время дерганый — а ведь была еще та тетрадка; или где-то мерещилось еще?) Максим там обильно предоставил слово некоему алкогольному собеседнику в кафе, который увидел в приступах его аллергии сигнальную лампочку: опасно для существования. «Боясь, проблема, которую излагал его философ (не знаю, реальный ли; однажды мне показалось, что это А. взял себе псевдоним), серьезней и безвыходней, чем кажется». (Это о Милашевиче, о нашем разговоре, понимал Антон.) «То есть выход, наверно, один: искать и решать каждому по своей мере, понимать свою неполноту, тянуться к противоположному, которое могло бы тебя дополнять, и так без конца метаться — но жить. Я тоже испытал эту тягу. Но какой-то синтез или компромисс, видимо, не дозволен мне. И значит, я никого не вправе с собой связывать. Хватит моей вины перед Аней. При всем, что я ей причинил, надеюсь все же, у нее хватит сил устоять. Но ту, бедную, удивительную — мне ли оградить? Она и сама всю жизнь на пределе, на грани. Скорей, мог бы А. Как это сказать ему, он бы понял, и мне было бы спокойней. Нужна эта способность вовремя себя окоротить, не рваться за предел. Он думает, в сущности, о том же, что я, но с противоположным стремлением, и потому более способен выдержать, а может, и что-то выразить за других и дать поддержку».

13

Это обо мне, понимал Лизавин, это уже почти прямо ко мне. И именно это непонятное обращение дышало угрозой, которую так верно почувствовала Аня (ее он тоже назвал по имени, не боясь повредить). Она права (как ей теперь это утром сказать?), он зачем-то хотел, чтоб я это прочел, потому что сам не надеялся и не хотел вернуться. «Оставь надежду входящий сюда. Мне кажется, это о погружении не в символический ад, а в себя самого, в бездны совести и понимания. Цепляющийся за надежду меньше способен пройти. Надежда располагает жалеть себя, зовет вернуться, пока не поздно. И правильно, правильно.

Не зря так тянет иногда к открытому на высоте окну. Мы боимся свободы потому, что вместе с тюрьмой, глядишь, исчезнем сами». Антона било уже отчетливой крупной дрожью — пора все же закрыть форточку. Что это? — и зачем опять обращено было к нему? — словно он назначен был наследовать и толковать томления других, ушедших. Вздор, этот еще живой. Тут приступ депрессии, тоски; он, конечно, болен. Он ненормален, да. Но глядишь, пройдет. Антон поднялся наконец закрыть форточку. Оттуда шел в комнату черный, подсвеченный воздух. Форточка была крупная и расположена невысоко, как-то в середине окна. Антон подумал, что через нее вполне можно высунуться, и зачем-то так и сделал. В глубине был мрак, вокруг пустые окна, откуда-то — возможно, от фонаря за углом — исходил свет. Тень огромного животного пересекла пространство — это была кошка, и Лизавин спохватился, что здесь вовсе не высоко, два с половиной этажа. Смещение чувств, не более. Лизавин прыгнул с подоконника. Дрожь прошла. Он знал, что сказать утром Ане.

## 7. Ум цветка, или Попытка счастья

### 1

Над одной своей ошибкой Лизавин потом сам смеялся: несколько фантиков, пристроенных было к мерцающим персонажам, оказались просто выписками из жития некоего старца Макария, который в начале шестнадцатого века устроил себе келью где-то за Нечайским озером. Имя это мелькнуло перед Лизавиным в оглавлении трудов губернской Археографической комиссии за 1923 год, которые он взял полистать в московской библиотеке. Вначале просто зацепило совпадение с именем эпизодического персонажа у Милашевича (и, главное, опять же с названием местной секты); но чтение странным путем привело к мысли, что здесь, возможно, больше, чем совпадение. Апокриф, как показывал автор статьи, был написан много после смерти Макария, уже во времена раскола, и, очевидно, числился среди сочинений осужденных. У Макария при



жизни были сложные отношения с монастырем; обросшая мхом келья старца, вокруг которой образовался поздней целый скит, мешала обителю своей близостью, она отвлекала к себе богомольцев, а значит, и приношения, потому что этот самый мох обладал силой исцелять от многих скорбей и болезней, включая грыжу, сухотку и вздутие живота. Когда келья «вражеским умыслом» сгорела, Макарий ушел странствовать и где-то в пути окончил свои дни, как сам мечтал и предсказывал, «обратясь в ольховый куст», что в житии приравнивалось к чуду вознесения. Дело в том, что несчастную природу человеческую Макарий считал удалением от райской невинности и блаженства. Существа, одноименные людям (но только одноименные), — утверждал старец, — в раю жили подобно цветам, а не животным, не зная страданий и потому не нуждаясь ни в движении, ни в мысли, ни в речи словесной. В цветке видел Макарий изначальную основу Божьего замысла, он толковал как «цветы» части человеческого тела: лицо, ладони и даже подошвы, но сравнение выходило в пользу существ, которым удалось сохранить укорененный покой. «Они совершенней нас, у них нет кишок, отягощенных навозом, а то, что мы прячем как срам, у них прекраснейшее, благоуханнейшее и выставлено как лицо». «Тела их даже по смерти благоуханны», — сказано было о простом сене. Божественный дар, живое дыхание, был для них общим с людьми, а радоваться свету, теплу и влаге они могли куда лучше. Но замечательней всего, — удивлялся комментатор, — что даже способность различать добро и зло, которая связывалась для человека с изгнанием из рая, по Макарию, была вовсе не чужда и растениям. Если перевести его рассуждения на современный язык, эта способность по-разному откликаться на хорошее и плохое, приятное и неприятное вообще отличала живое от неживого. Живое умело защищаться от плохого и искать хорошее, запоминать пережитое и изменяться под его влиянием, вырабатывая и усваивая нечто вроде умственных идей. Удивительно, писал автор, что об этом рассуждал человек, не слыхавший не то что о фагоцитах или иммунитете, но вообще о клетке, о происхождении видов. Насколько можно было судить по описанию, философская часть «Жития» выглядела своеобразной поэмой о природе изначального счастья

и происхождении разума из страдания. Зародыш мысли, учил старец, сращен с оболочкой страдания, и кто растревлял боль, нарушая безмолвный покой, пробуждал мучение ума. Этой роковой тоской Господь наказал утративших рай, и за века истории взаимоусугубление ума и страдания вводило их потомков все дальше от начального и вожделенного блаженства. Еще в недавних книгах рассказывалось, как на крови татарских ужасов взошел цветок боранец, имевший головку с ягнячьими рожками и поедавший траву кругом своего корня — живой пример развития, застигнутого на середине. Но образ цветка и память о райской тиши остаются для человека мечтой и целью в поиске, сулящем преобразование и блаженство. «Не этого ли блаженства искали подвижники, что зарывались по пояс в землю и жили так, полагая, будто ищут истязания телесного?» — вопрошал старец, сам проведенный в своей келье недвижно многие годы, достигший такого совершенства, что уже не справлял нужды и гузном пустил корешки в скамью, а насильно исторгнутый с места, сподобился все же окончательного преобразования. Судьба и нынешнее местонахождение апокрифа были неизвестны; однако не исключено, что Милашевич знал его не только по описанию — кроме очевидных выписок, к нему могли иметь отношение еще несколько неясных обрывков, которые всплыли у Лизавина в памяти; там чьи-то тела уходили в землю, кто-то шевелил прораставшими корешками, раскрывался свету и влаге, как музыке, кто-то пытался проникнуть в молчание и мучился пробуждением мысли, как фикус в давнем рассказе.

## 2

*бледная почка раскрыла ресницы, на ножке стебля распускается зрячий глазок*

*Разве мы чувствуем только ненастье погоды, только телесный укол или ожог?*

*это входит щекоткой сквозь поры, проникает в нас с ветром, из земляного навоза, течет в волоски*

*сок, поднимаясь по жилам, становится красным и жгучим*

*страх пониманья*

*слово от боли*

*Так больно, так тяжело! Неужто не слышишь? Вот же я, вот! Ты трогаешь пальцами вещество души моей, моего ума.*

3

В соединявшихся наново фантиках, словно в шелесте листьев, можно было теперь при желании различить нечто вроде фантазий на темы Макарьева апокрифа. Задолго до чувствительных приборов, подтвердивших способность растений откликаться на ранящие прикосновения, чей-то невооруженный слух улавливал дрожь их и жалобу; кто-то рассказывал, как цветы в комнате и даже в саду заболели вместе с хозяином и засохли в день его смерти... Как описать новый рой внезапно завихрившихся в голове Лизавина идей? Именно рой мелких, как пылинки, насекомых, хаотическое завихрение, пылевая туманность, из каких рождаются миры. Здесь смешались и на время сцепились упоминания о смерти и о кладбище, на котором бесчинствовали называвшие себя макарьевцами, и какой-то кладбищенский опять же поп в Нечайске, и снова ученый батюшка-цветовод, должно быть, все же не случайно получивший у Милашевича то же имя. Мордовская редкая борода, тяжелые мужицкие сапоги, выцветшая шляпа, серый подрясник. Здороваясь, он протягивал большую руку в твердых от лопаты мозолях. Сюда же неожиданно пристроилась еще одна запись. *Бывший отец на своем месте. Работа рукам привычная, только ямы поглубже.* Много ль надо уже разогретому воображению? Кладбищенский поп, оставшийся не у дел, возможно, после революции, когда в Нечайске закрыли церкви, приспособился к работе могильщика. Допустим, а дальше что? Можно было добавить сюда кой-какие зарисовки или, скажем, надмогильные надписи, но после нескольких подобных проб кладбищенская линия истончилась и отпала; более заманчивым показалось собрать вокруг того же персонажа фантики не столько на религиозные, сколько на садоводческие темы: их у Симеона Кондратьевича была куча. Кто это толковал о разных пищевых

вкусах у растения молодого и старого, и записывал совет выщипывать у белых лилий тычинки, чтобы дольше не отцветали, и пытался продлить юность цветов с помощью табачной вытяжки, и воздействовал на них алкоголем, наблюдая, как блаженно и беспорядочно начинают шевелиться листья? А Бог знает кто. Почему бы не сам Милашевич? Развѣ не он возился с безымянными экзотическими семенами в ганшинской оранжерее, разве не его почерком записывались номера делянок, цветочных ящиков (или сортов) в протоколах неясных опытов, где № 2 обгонял в росте других, а № 5 все не давал всходов? Его пальцы, по свидетельству Семеки, тоже были черны от копанья в земле, и настоящим, не сочиненным было пятнышко навоза на бумажке с корявой надписью: «От Троцкого».

4

Этот странный и, прямо сказать, беспокойный фантик выскочил на пути опять, как заноза, требуя разобратся. Дело в том, что одна попавшаяся в газете заметка чуть было не предложила объяснение. Заметка сообщала о появлении в уезде самозванца, именовавшего себя Троцким. Этот человек объявлялся в деревнях, самочинно отменял налоги и уверял между прочим, что он с товарищем Лениным лично выслали в уезд три вагона с сахаром, табаком и чаем, но местные власти будто бы задержали товары у себя. Тут же описывались и приметы авантюриста: борода клинышком, рот большой, иногда надевает пенсне, припадает на правую ногу, носит мерлушковый полушубок. Его настоящая фамилия, как объяснялось, была Успенский. Сообщалось также, что меры к его поимке приняты. О дальнейшем сведений не было, и лишь на короткий миг в уме Лизавина мелькнула как бы составленная из обрывков картина деревенской избы с бревенчатыми закопченными стенами и тусклым оконцем. На полу вместе с новорожденными ягнятами дети. На полке в красном углу, возле божницы, среди пузырьков, веретен, бутылок — кривобокий осколок зеркала. Антон всегда видел в этих листках впечатления времен, когда Милашевич собирал по окрестным деревням для музея вещи, растасканные из ганшинской усадьбы; теперь он вдруг разглядел

в отражении зеркальном лицо человека в кожанке, с эспаньолкой, с пятнышком усиков под носом — непонятная, чужеродная в таком сочетании фигура. Заинтересовался ли Симеон Кондратьевич известием о самозванце, пробовал набросать портрет или сюжет об авантюристе, провокаторе, а может, искреннем сумасшедшем, одном из тех, благодаря кому история так пронизана легендами и мнимостями? А может, был с ним знаком взаправду и даже получил что-то с вложенной бумажкой?.. Попытка связать с этой личностью навозный фантик тут же лопнула, как пузырь; Лизавину предоставилась возможность посмеяться и над этим заскоком мысли — само собой подоспело вдруг объяснение иное.

## 5

Потому что Москва подарила кандидату наук находку поважней макарьевского апокрифа. Он уже потратил по библиотекам большую часть своего сомнительного отпуска, все еще надеясь встретить в воспоминаниях или публикациях о предреволюционных эмигрантах имя Александры Флегонтовны, а находя попутно, как видели мы, совсем другое, когда вылезшее где-то бочком в памяти имя Семеки не побудило его, наконец, еще раз заглянуть в мемуары покойного — но не в опубликованную книгу, а в черновую рукопись из архивных фондов. Мог бы догадаться и раньше: как-то не сразу пришло на ум, что в печатный текст попадет, право же, далеко не все из написанного. Ах, Антон Андреевич, Антон Андреевич! То есть ему даже помнилось, что нечто похожее на эту мысль вроде бы шевельнулось однажды, но он не задержался на ней. Ну, да что говорить. Страницы, посвященные Милашевичу, он знал без преувеличения наизусть, и в рукописи без труда стал находить опущенные или измененные места — где несколько строк, где слово, где целую страницу. Причины сокращений и поправок не всегда поддавались объяснению. Можно было понять, например, почему не попало в печать финальное сожаление автора об исчезнувшем с его горизонта человеке: «Не представляю, кому мог помешать этот тихий, уединенный в своем мирке фантазер». Значит, все-таки имел основания думать, что Милашевич не

просто умер своей смертью? — но предпочел эту щепетильную материю обойти. Можно было догадаться, почему исчезло упоминание о некоем С., конкуренте-книжнике, который, оказывается, опередил Семеку в Столбенце и окрестностях. Василий Платонович характеризовал его как фигуру одиозную в братском содружестве библиофилов, как одинокого и мрачного хранителя потайных богатств. Должно быть, человек этот к поре публикации был жив и даже по инициалу узнаваем — не стоило выводить его на страницы. Но почему оказалась вычеркнутой такая, например, подробность о Милашевиче: «Он выглядел невысоким, но когда стал рядом, оказался не меньше меня. А во мне, по-старому, два с половиной аршина»? (То есть метр семьдесят восемь примерно, быстро перевел Лизавин.) Отмечая такие сокращения, а иногда и вставки, даже просто замены слов, он все ясней начинал улавливать направленность этого редактирования. Скорей по собственному почину, нежели под чьим-то нажимом, Семяка старался выстроить образ более последовательный и цельный, а значит, и более достоверный, чем он складывался сам из разрозненных деталей. Судя по упоминанию, например, аршина, некоторые первоначальные записи сделаны были для памяти еще по свежему следу, когда метр не успел стать привычным, но что-то в них по прошествии лет стало выпирать, казаться сомнительным, не ложиться в мерку, в облик провинциала, который незаметно утвердился в памяти, возможно, не без влияния рассказов самого Милашевича. Да разве все мы не редактируем — сознательно или бессознательно — искренних своих воспоминаний? — даже странно полагать, что они могут иметь только один вариант!

6

Особенно существенны были два сокращения. Перед уходом из чайной оба собеседника в какой-то момент одновременно извлекли часы; дешевая луковица Милашевича раскрылась с музыкальным звоном. «Было четверть десятого. — Ваши на пять минут спешат, — сказал Симеон Кондратьевич. Я, как это бывает, покосился на его циферблат и не увидел на нем стрелок». Это очень смахивало на литературную

реминисценцию из утраченного рассказа, которого сам Милашевич будто бы не помнил. Наверно, Семека почувствовал, что ему все-таки не поверят, а может, постарался редактор, в рукописи это место не вычеркнуто. Но именно литературность эпизода, как это ни парадоксально, делала его для Антона достоверным — как и галстук с заплаткой на шее этого человека, точно разыгрывающего перед собеседником собственные страницы. Вторая замена была иного рода: вместо упоминания о ботанических опытах индийца Бозе в черновике следовал занятный разговор о возможном воздействии на живые существа радиоволн. Вначале Семеон Кондратьевич поинтересовался, верно ли, что в Москве взорвалась башня радиостанции — типичный вопрос захолустного умника, через слухи приобщающегося к большому миру. Семека эту чушь авторитетно опроверг (как, между прочим, опровергала его примерно в то же время газета «Плут и молот», бывший «Поводырь» — видно, слух всерьез занимал местное воображение: несколько дней Столбенецкая станция не принимала столичных сигналов); тут Василий Платоныч был на высоте, так что вычеркнул этот момент не из опасений внешних. Но собеседник его в ответ покачал недоверчиво головой — тоже повадка провинциала, которого так просто не собьешь: мы, дескать, себе на уме, читаем в своей библиотеке не только газеты уездные, и знаем кое-что, неведомое даже столицам. Потому что именно в эти несколько дней, совпавших с неполадками эфира, очень странно развивалась рассада на его опытных делянках. Да разве это может влиять? — не понял Семека, и Семеон Кондратьевич удивился в ответ: а может ли не влиять? Помыслите сами. Если какие-то невидимые, но материальные волны пронизывают теперь всех. «Всех, и нас с вами. Вот мы сидим здесь, пьем чай, а нас пронизывает каждое мгновение. Наш мозг, наши клетки. Нервы. Не бывало с вами: в голове будто вдруг начинают звучать слова или мысли, которых у вас самих не могло родиться? Откуда они? Если вникнуть здраво?» В этом месте, написал Василий Платонович, я догадался расхохотаться. Однако фраза насчет хохота оказалась зачеркнута особой жирной чертой, а против нее на полях подклеен отдельный листок с другим обрывком, непонятно к какому месту

разговора относящийся: «Мы не можем всего вместить,— (рассуждает, видимо, Милашевич).— Вот мы с вами, допустим, воспринимаем друг друга, эту еду, стол, людей, дым, воздух — что еще? А ведь каждый миг, вот сейчас, внутри нас и вокруг происходит жизнь бесконечная, неохватная. Внутри течет кровь, выделяются соки, работают клетки, движутся молекулы, а вокруг целая Вселенная, миллиарды людей, существ, и в голове память, мысли, да еще вне нас их сколько, если умеешь вслушаться». Как и все предыдущее, этот кусок перечеркнут карандашом крест-накрест, ниже на полях вписано мелким почерком, видно взамен, начало еще одной байки про заведующего конным двором в Нечайске, который, усердствуя, убрал из конюшни висевшие там прежде иконы Флора и Лавра, покровителей скота, зато повесил над пятью стойлами таблички с именами московских вождей. «Тут я догадался, наконец, расхохотаться»,— перенес на новое место свой смех Василий Платонович, и только эта фраза на всем листе осталась незачеркнутой, потому что взамен предыдущего был перенесен с другой страницы куда более безобидный сюжетец про опыты бразильца Сикейроса с кофейными листьями, так что заключительный смех и догадка о шутке вполне уместно подходили уже к нему. Эк сколько успел наговорить за один вечер сочинитель, наверно стоковавшийся по расположенному слушателю, да еще издали! Семека всего этого придумать не мог; наверняка тогда же начерно и записал кое-что для памяти, а теперь лишь отбирал, располагал и связывал свои переписанные черновики, производя работу над образом.

7

Потому что навоз-то, навоз «от Троцкого» существовал взаправду, Антон Андреевич не только собственными глазами видел его следы, но мог бы и понюхать собственным носом, если бы время не выветрило запах. Словно развивая собственный сюжет, естествоиспытатель получал и проверял удобрения с того самого конного двора, порциями из-под каждой таблички, означавшей новое имя обитателя стойла. *Такое имя не помянешь вслух на улице, замахиваясь*



кнотом... — в самом-то деле, да ведь и обязательно вслух; смысл поиска был в другом. *Может, имя загадочным, неизвестным пока еще науке способом производит воздействие на сам телесный состав и даже на извержения телесные.* Ах, Бог ты мой! Пять делянок удобрялись каждая своим сортом, семена высевались из холщового ганшинского мешочка без надписи. Номер второй бурно и преждевременно обгонял прочих, плоды были похожи то ли на стручок размером с огурец, то ли на огурец с заостренным, как стручок, концом. Всюду самосевом всходила непонятная мелкая травка, цветы переменчивых оттенков напоминали сыпь, корешки были переплетены под землей. Вдруг что-то произошло, необъяснимое одним лишь внутренним развитием, листья скорчились, скороспелые плоды стали рваться с хлопком, напоминавшим выстрел. Зазвенели разбитые стекла. Стебли усыхали и чернели. Оболочки стручков свернулись обугленными спиралями. Разве мы чувствуем только ненастье погоды? Разве не пронизывают нас волны, полные неслышных слов — каждого на свой лад?

8

*Пролетарии всех стран, соединяйтесь!*

**БИЛЕТ**

на прослушивание радио  
в течение 2 мин.

Цена 1500 руб.

Уполномоченный Гублита № 8.

*Прибор стоял на колокольне, провода тянулись от него к большому колоколу. Песочные часы отмечали время.*

*Сам квадратный, ножки кривые, на лбу две шишечки, щупальца двойные от темени вверх. И острозадый кулек — то ли рот раструбом, то ли ухо.*

*Пускали по одному, без толчеи. Голос был слышен тихо, надо было вплотную приклонить ухо, оттого казалось, что каждому нашептано что-то свое, особое.*

*Ну, что говорил? — допытывались у вышедших на монастырский двор.*

*Поставь, говорит, ноги пошире и нагибайся, говорит, правой рукой к левой ноге, а левой рукой — к правой.*

9

Смелей, смелей! пусть не смущает нас возникающий из фантастических сцеплений мир, который запечатлевал или преображал вокруг себя все еще не разгаданный, пожалуй, вегетарианец и садовод с большим ртом, в пенсне, сапогах и толстовке с оттопыренным нагрудным карманом. Вот он уже и ростом оказался крупней, как будто приблизился, не ему думать о скрытых внутренних каблучках, чтобы казаться выше, и томления недомерка следовало передать кому-то другому. Этот философ простой жизни вообще сам оказывался не так прост и жил не просто; в своем маленьком уголке он прислушивался к голосам и веяниям большого мира, переводя их на свой самодельный, не сразу понятный язык. В его крохотном, прикорнувшем за лесами пространстве отражались по-своему те же стихии, через него проходили те же волны, что окутывали всю землю и пронизывали страну, они оведали жизнь, взраставшую на местном навозе, и на перекрещенье рождались неожиданные плоды... Вот проявился из марева дальний монастырь, с колокольни еще не сняты колокола, трава проросла между камней кладки, доносятся отголоски толков о кривоногом устройстве, в раструб которого можно было не только услышать слова из далекого центрального источника, но и нашептать туда, к источнику, свое — да не допускали. Стынет в сумерках городок. Грязь подмерзла, стучит по ветру белье. Из облака лунной пыли, как в акте творения, рождаются и твердеют силуэты домов, очертания голых ветвей. Призрачно светятся белые стены торговых рядов, закутанные в платки фигуры прячутся в тени, жмутся к подворотням. Но вот отделилась от тени тень, скользнула к закрытым дверям бывшей обувной торговли, и тотчас к ней бесшумно, точно ночные зверьки, сбегаются другие, выстраиваются в мгновенную бесплотную очередь.

Накануне объявили разверстку распределения галош по уезду — был слух, что с утра начнут выдавать. «Разойдись! — приближается голос милицейского стража. — Разойдись, стрелять буду!» — и тени так же бесшумно рассыпаются, исчезают в тени. Мы видим это, мы слышим это вместе с Лизавиным ясней, чем то, что окружает нас — разве читающий эти строки воспринимает сейчас голоса и лица вокруг себя? Мы все плотней осваиваемся в воздухе чужой жизни, среди людей, которые для нас достоверней и ближе, чем вон тот исчезнувший прохожий за окном. Колеблется на фитиле огонек, вздрагивают переломленные тени. Печка гудит, красный отсвет из открытой дверцы падает на чужие листы, и снова все гаснет.

10

*Букв не разобрать впотьмах — да нужен ли свет? Это можно читать и так, потому что все знаешь на память, до расположения строк на странице и нечаянных опечаток.*

*В лунном свете уродец приплясывал на кривых ножках, отставя зад и сам для себя издавая музыку, а где-то по пространству земли шевелились в такт способные слышать, их брови и плечи подрагивали во сне.*

11

О чем эта музыка? О лунной ночи и криках спроста? О тающих облаках, о преодоленной боли? О рассвете над озером, о пробуждении от сна, о надежде и осуществлении? Она о тревогах вселенских битв и житейских тревогах. Она о том, что может сказать человеческой душе травинка и капля, о голодной стуже, о разметавшемся в жару больном, о тьюфяке, набитом вшами, и жажде, утоленной блаженным напитком — чаем из березовой коры. Она о голоде и насыщении, о жертвенности и казнях. Она о новых словах и вечных страстях, о глубинах, на которых честолюбие и корысть, жажда власти и обладания объединяются

стремлением обеспечить себе, своей именно жизни продолжение в потомстве — но оттуда же и любовь, и безнадежная верность, и многолетнее ожидание. Разносит взрывом ошметки человеческих тел, колокольчик перебивает оратора, со скрипом передвигаются мировые границы. На стене вокруг керосиновой лампы живой вензель из тараканов. Вечное захоластное небо сереет над крышами, пробивается между камней трава мшанка, выходит на затихшие улицы удивительный пес Серп и Молот. Плывет лодка в тумане, замирает душа, расправляются, потягиваются блаженно лепестки цветов. Повторяясь в новом времени и в новой связи, те же самые голоса меняют звучание, как тема фуги в новой тональности или новой последовательности, но музыка та же, лишь на переходах возникают порой как бы нечаянные синкопы, всхлипы, а то и взвизгивания, и тогда скребет сердце, будто что-то прорывается из темных запретных бездн, где кривляются черти и сумасшедшие.

12

Возглас потери и возглас торжества, смех и плач перемешаны были на листках, как в жизни, а о чем был смех и о чем плач, в чем потеря и в чем торжество, что было раньше и что позже? Откуда, скажем, этот голый толстяк под яблоней, на пятипалой руке блюде со славянской вязью по ободку: «Угодно мне сие?» Женщина с круглым румянцем поливает земляничным вареньем блины. Малыш на горшке ест персик — изваяние жизни, протекающей непрерывно. Откуда, позвольте, персик? Из каких времен мука для блинов и сахар для варенья, и этот румянец, и невзрослеющий херувим? Сам Милашевич несколько лет даже хлебных карточек не получал, числясь лишенцем — он, видно, не предъявил своих тюремных и ссыльных заслуг, которые в те годы могли содействовать мало-мальскому пропитанию. Не ему причитались фантики с талонами бесплатной выдачи, может, Александре Флегонтовне; он исхитрялся, как прочие; небось репу у себя на огороде вскапывал, свеклу, капустку, морковь, ну и огурцы, конечно, столбенецкие знаменитые, да еще табак — обменную ценность, сам он, кажется, не ку-

рил. Много ли нужно было сверх того? — керосин, да спички, да соль. Может, козу держал? — вряд ли. Но что из того? Это главного не меняло — музыка слышится та же. *Еще немного, еще чуть-чуть, и сойдется, сбудется, разрешится.* Вот, не оцените ли божественный вкус: пирожки из тертой моркови? И поймете ли вы это счастье: увеличили мыльный паек?

13

Да, исторические потрясения, перевернувшие поверхность жизни, как будто ничего не отменили и не опровергли в глубине его философии, наоборот, помогли быть последовательней. То, что выглядело комической фантазией чудака во времена Ганшина, когда придумыватель картин пытался утвердить равноценность для напряженной души богемского хрустала и жестяной кружки, становилось поневоле общим достоянием в пору, когда за буханку ржаного хлеба отдавали обручальные кольца, когда книгами топили печки, когда галошам можно было посвящать оду, а их счастливый обладатель чувствовал себя возвышенным над другими смертными, когда гнали вперегонки лошадей на солеваренный завод, где обещали давать рассол, а зацепившись оглоблями на узкой дороге, топорами рубили друг у друга упряжь, когда добыча керосина и дров обретала значительность, даже торжественность библейскую, когда, по слову поэта, домашний скарб вновь становился утварью — быт поистине оборачивался бытием. Жизнь готова была придать новую цену мудрости святых вроде Макария, ухитрившихся вкушать богатства мира, не выходя за порог, мудрости нищих дервишей, безразличных к внешним подробностям, но обретавших источник света и радости внутри. Вот когда впору было проникаться обособленным величием и полнотой любого мгновения — именно мелкие фантики, изъятые из связи и времени, укрупняли то, что в связанном сюжете выглядело проходной деталью: тут все обретало эпическое величие.

*Половина человеческого тела торчит из бочки. На толстых губах улыбка блаженства.*

*Разве больше наслаждался император в беломраморном бассейне с душистыми лепестками роз?*

*Оса в жарком колоколе цветка. Нежная пыльца на тычинках.*

*прозрачные крылышки стрекозы с натеками ржавчины у самого тельца*

*Можно ли видеть дерево и не быть счастливым?*

*Воздух светится, весь сделанный из вещества, которое идет на косые лучи солнца в туманном лесу.*

*Свет сквозь немытое окно — как сквозь бутылку плохо очищенного самогона.*

*древесный узор на стене — удлинённый глаз*

*гроздь пены*

*самовар — владелец неевклидова пространства*

*хлопок рыбьего пузыря под подошвой*

*звяк ложечки о стакан*

*шорох конфетной бумажки*

*Райская сладость*

*Мгновение жизни*

*Мгновение жизни*

*Мгновение жизни*

*Тираж 1500 экз.*

*и больше, если захочется*

Похоже, фантики были для Милашевича больше, чем записной книжкой, дневником без дат, черновиком литературных фантазий, способом обдумывать на бумаге идеи своей философии. Они сами были идеями

и философией, способом мыслить и представлять мир как вечный набор мгновений, измельченных, изъятых из времени. Тут был каталог материала, из которого строится жизнь великих и малых, счастливых и несчастных — так из одинаковых атомов строится уголь и алмаз. Чьи это бледные лепестки скла-ываются в подобие человеческого личика: бугристый двойной лобик, глазки, маленький подбородок? на чьих листах вздрагивали волоски и сладко дышали поры? Оранжевая орхидея запечатлена на бумажках или мелочишка, напоминавшая сыпь? То-то и оно. Если не заботиться о сравнении масштабов, о связи, все оказывалось равноценно значительным: сплошь ядра без протоплазмы, без соединительной ткани. Может, он надеялся из них составить бесконечное, всеобъемлющее мгновение, о котором толковал в столбенецкой чайной Семеке на невразумительном своем языке? — мгновение, которое вместит простор мироздания и мелкий укол чувства, всю полноту гения, красоты и любви. Попытка сделать непреходящим мимолетное состояние, закрепить его, удержать — как хотел удержать он рядом с собой женщину, воплощавшую для него мир, уязвимый, горбрый, поверившийся ему. Тут был теперь для него не просто умственный поиск — на этом, может, держалась жизнь. Не для себя, для нее устраивал он дома цветочный рай, для нее убирал стрелки с часов и даты из своего сознания. *Укройся в тишине, пусть даже часы не тикают. Не вечно же бежать. Всей нашей жизни — четыре времени года, детская карусель.*

16

Может быть, может быть. Но неужели он думал всерьез, что ему удастся не улавлившееся никому? Хотя бы потому, что жизнь упрямо заботится о цельности и не желает меняться по цвет каждого очередного мгновения. Мы их обычно не осознаем, как не осознаем жизни зрелого своего тела, паразитического космоса его устройства, где почки с колбочками и сосудами, где хрусталик глаза и разветвления нервов — не просто невообразимы и неохватны. Вот в чем противоречие: счастливый покой не позволяет ничего ощутить, о чувстве напоминает боль, а ее-то Милашевич никак не хотел, от нее надеялся увести. Каким об-

разом? Он-то знал, что такое обостренное чувство жизни. *На весах красный обрубок коровы.* Из этого чувства развилось, в сущности, все его вегетарианство — преувеличенное воображение мешало поедать плоть живых существ. Но человек по природе рожден плотоядным, его так просто не перестройшь. Что-то не получалось — пусть; в главном направлении мысли Симеон Кондратьевич, похоже, не колебался. (И ведь удалось же ему, в конце концов, главное: женщину он убедил, удержал, пусть нам ее и не разглядеть, там по-прежнему слепое пятно — не клякса, из-под которой еще можно что-то расчистить, а как будто на пленке поврежден светочувствительный слой: что проявишь из пустоты?) Нет, ему порой даже как будто казалось, что это направление мысли совпало с поиском великой эпохи, которая ведь тоже бредила мечтой о близком конце предварительной человеческой истории и осуществлении земных надежд. Он разве что переводил эту мечту на свой самодельный язык.

17

*Нужен финн, чтобы напомнить о счастье* — даже этот загадочный фантик однажды получил объяснение, соединившись с газетным известием времен, когда только что упразднена была центральной властью Нечайская республика, а Иона Босой-Свербеев получил под начало дом осиротевших детей. В окрестных лесах скрывались «зеленые», уклонявшиеся от мобилизации; в деревнях и слободах парни и отцы семейств пробивали себе карболовой кислотой барабанные перепонки, устраивали на глазах искусственные бельма и вкалывали шприцем в ноги костяное масло, чтобы опухли. Прямо под рисунком поворья публиковался список эзертиров, условно приговоренных к высшей мере социальной защиты; в случае непоимки их имуществу грозила конфискация, старших членов семьи забирали заложниками. «С глубокой болью в сердце приходится признать смертную казнь, против которой мы первыми восставали. Но кровавая борьба в крепости, осажденной всемирным врагом, не имеет других законов. Не казним мы — казнят нас. Из двух зол выбирается меньшее». Объявлялась также реквизиция на военные нужды лошадей, лыж и велосипедов. В электротетратре «Грезы» шла лекция об использовании



мороженого картофеля. «Продовольственный отряд вышла провожать вся деревня. С вами, родимые, точно свет был, а уедете, темно станет». Большая часть Западной Европы, как только что было обнаружено, медленно опускалась под уровень мирового океана и через пятьдесят лет должна была исчезнуть совсем. В Болгарии шла революция, вспыхнули беспорядки в Индии, а в железнодорожном пакгаузе Столбенецкой станции беспартийное собрание криками не давало оратору говорить о текущем моменте. Вот когда слово взял неназванный финский товарищ. Финнов было в уезде много, как и латышей — все владельцы богатых мыз, потомки ссыльных, оказавшихся в здешних местах после подавления разных восстаний; но этого никто из местных не знал, он только что бежал из самой Финляндии и мог, пусть с сильным акцентом, рассказать возбужденным людям про то, что увидел там своим единственным (как у покойного Перешейкина) глазом — второй, выбитый мучителями, был закрыт грязной повязкой. А видел он там, в Финляндии, как голод косил людей тысячами, как пьянствовали и насильничали в городах победители офицеры; он видел овраги, засыпанные трупами расстрелянных, и женщин, грудью кормивших господских щенков. Вы не можете оценить своей жизни, пока не потеряете того, что потеряли мы. Цените свободу и власть в своих руках; здесь жить и сейчас можно, а каково будет! Вот, говорят, уже мыла вагон подвезли и паёк увеличили.

## 18

Не примерял ли себе Симеон Кондратьевич роль этакого финна? Провинциальная идея уточнялась и переосмысливалась, вбирая в себя новый опыт. Умение отгораживаться от связей во времени и пространстве, способы сравнения с другими — во всем была своя наука, техника, а может, даже искусство, всерьез занимавшее Милашевича.

*О величии*

*Наука счастья начинается сравнением*

*Чего им завидовать? Того застрелят, не дав до сорока дожить, того на каторгу зашвырнет, того уже стариком тоска погонит из дома.*

*Вот Вась Васич до восьмидесяти дожил, и ни одного волоска седого.*

*Каждому месту может быть достаточен свой гений, увенчанный местным лавром. Пусть это будет не свойство, а профессия или должность в системе разделенного труда.*

19

Все время не оставляло чувство, что среди усмешек и ужимок Милашевич прячет очень нешуточное; он ведь и в разговоре с Семекой все балагурил и прибеднялся, все кого-то разыгрывал — так сказочный хитрец метит ложными крестами соседские дома, чтобы скрыть среди них от угрозы единственный, свой. (Лизавин отчасти знал по себе, как это бывает.) Он, может, и рассказы свои Василию Платоновичу отдал не просто из тщеславия литературного, а чтобы пустить вместо себя по свету второстепенного двойника. Там был один сюжет про захолустного стихотворца, никому не известного за пределами своего городка; зато для городка он был действительно символом, выразителем души, — а может, наоборот, его душевный настрой и способ мыслить сказывались на строе жизни, самом характере обитателей, так что даже в очереди за керосином спорили здесь с тем же комичным пафосом, даже в любви объяснялись строками его стихов. Наивно было искать в персонаже этой фантазии черты автора — человека, который у себя в Столбенце, скорей, боялся, как бы его не узнали; здесь вычитывалась разве что грустная мечта — но при всем том задушевная российская убежденность, что литература — это все-таки не просто так; слово, что ни говори, способно влиять на жизнь, менять ее и перестраивать, как изменило и перестроило когда-то судьбу неосторожного кассира в другом старом рассказе; пусть даже оно и не записано, а только произнесено — с него началось движение в воздухе, и до кого-то оно может дойти.

*Я написал это, зная, что сожгу, но зачем-то поправил слово, нашел поточней. Как будто не все равно, гореть бумаге с этим словом или другим. Себя ли имел Милашевич в виду? Предназначал ли эту речь персонажу? — здесь было что-то от первобытного чувства, от магии еревенских колдунов, которыми в самом деле печально славился кога-то уезд; там, в деревнях, и после революции верили, что словом можно свести бородавку и вызвать пожар. Это были места, где больных детей обмазывали тестом и ставили в печь, «на дух»; где мужики на вопрос агронома, почему не истребляют они сусликов и мышей, отвечали, подумав: «Мышей много — значит, к урожаю; а сусликов мы бережем на случай: будет опять голод — ими питаться будем, как в прошлые голодные годы». Провинция Милашевича жила на перекрестке городской грамотности, которой отличались вернувшиеся из Питера отходники, и языческих суеверий; упрямый философ продолжал осмысливать, что значат для нее слова в пору, когда они что ни день обновлялись вместе с обновлявшимся миром. Менялись название страны и названия улиц, менялись фамилии людей и переосмысливались святцы, а на конфетных фантиках множилось надпечатки: карамель «Народная» становилась «Массовой», простой «Петушок» — «Красным петушком», а название «Опохмельная» перекрывали буквы «Долой пьяный угар!». Слова оказывались небезразличны для вкуса и могли его изменить. Четверть жмыха, ржаной помол да третья картошка — чем пахнет это липкое, тяжелое? Словом хлеб. Не заварка благоухает, а слово чай. Существовали слова-агнцы, их можно было переосмысливать, но и сохранять; слова-козлица изгонялись во тьму внешнюю, куга-то туга, откуга продолжали грозить враждебные племена керзонов и либеранов, где оставались палачи и полиция, смертная казнь и цензура.*

*Сборщик податей, урядник — скверно пахнет, не правда ли? А вот — фининспектор, милиционер.*

*чиновник — совслужащий*

*острог — ардом*

*хвост — очередь*

*разменять — убить*

*болезнь № 5 — сыпной тиф*

*Красноармейская (бывш. Солдатская)*

*больница бывш. Креста Господня, ныне Красного креста*

— *Значит по-вашему, по-новому ситец теперь 66 копеек аршин?*

— *Да не аршин, а метр, сколько вам толковать?*

— *Ну-ну. Ты еще свой аршин Феклой назови, по рублю будешь брать.*

*Бывало напишешь: человек в трехрублевом картузе — и про него ясно, какого сословия, богат ли, каков вкус. А тут берешь займы десять тысяч — через неделю изволь отдавать миллион.*

*Семь старых рублей теперь на миллионы считают. Вот и семь Божьих дней переведи по новому исчислению.*

*Новая вера начинается с новых слов.*

## 21

Слова обвевали нечувствительным ветерком голову; входили в тело, меняли клетки в мозгу — провинциальный мыслитель прислушивался к их действию. Слова порождали стихийные бедствия, словами заклинулась жизнь. Ими вполне можно было, например, переименовывать прошлое — то, над чем, казалось, была власть одного Господу, мы гоним повседневно, меняя окраску воспоминаний или перенося в минувшие времена побольше худа, чтоб лучше ценить время нынешнее. «Как жили раньше люди? Прямо сказать: по-звериному жили. И даже хуже: по-скотски! Рвали друг другу глотки, сосали кровь и сыты не бывали». В словах расцветали видения будущего. Провинциальная почва питательна для утопии — уж это Милашевич знал. Это от нас приходят мечтатели с растравленными до красноты глазами, со зрачками, устремленными валь, это наши виденья носятся на страной

и миром, как смутные сны. Другим не до того, они все заняты подручными делами — мы придумаем для них, как окружить землю громадным магнитом, чтобы управлять облаками, обеспечив навеки погоду и урожай; как выровнять поверхность земли, сгладив горы и засыпав болота, а поверхность всемирных вод выстлать плотами и основать на них удобное земледелие; как выделить общество мужское и общество женское, учредив для каждого врозь наилучшее управление; как при помощи сеток, прикрывающих поселения, очистить воздух навсегда от бактерий и пыли, а людей избавить от всех болезней; это нам видится полет легких счастливых существ над цветами. *Распаренная земля наливается молочным соком. Растут ровными капустными рядами пальмы, уменьшенные для удобного пользования.* Но главное, мы, не в пример другим, не задерживаемся на бессильных видениях, а рвемся без промедления их воплотить. И если, говорят нам, для этого не обойтись без переделки самой человеческой природы — что ж, кто-то у нас и над этим готов подумать. У нас и новые люди раньше появятся — надо внимательней посмотреть вокруг. У вас, в тесноте, и проглядеть недолго. Мы ведь не знаем еще, как действуют на нас новые всемирные волны; может, они уже понемногу уравнивают всех, как гальку на берегу, делают нас пронизываемыми друг для друга, избавляют от одиночества; может, это уже не просто о будущем — у нас, у нас проклеваются ростки всей грядущей цивилизации.

## 22

*Мы для Москвы — что для Рима Иерусалим.*

*Таких провинций в любом ихнем квартале уместил-ся бы десяток. Но в тесноте они душат друг друга и теряют уверенную идею.*

*волны ваши, навоз наш*

*От века рвались мы исполнить для мира какую-то предельную роль. Может, исполнить слова о времени, которого не станет.*

*Все дороги ведут к нам.*

*Париж — это от нас далеко? Пять тысяч верст?  
Боже мой, какая провинция!*

## 8. Вегетарианец

*О судьбе*

*Это, как Бог, внутри. А извне приходит случай.*

*- В старину его называли ангелом. Может, и не к тебе летел, да ненароком задел крылом.*

*Жизнь складывается на пересечениях.*

### 1

О суевериях. «Кукушка, кукушка, сколько мне осталось жить?» — и слушаем, как дураки, отсчитываем в пригородном лесу свои годы, не замечая рассеянного за деревьями хора себе подобных. Коллективный счет. Бомба, что ли, упадет на всех разом? Не то чтобы даже веришь в приметы, но загадаешь номер автобусного билетика — все-таки есть что-то в цифре, пифагорейское чувство мирового порядка, может, даже закона, по которому, глядишь, и сбудется наконец заслуженная у ача. Не сбудется — так ведь заранее знал, что чушь. Или вот идешь по Москве, по асфальтовой улице бывшего князя Кропоткина, где ни деревца, ни травинки — вдруг на тротуаре прямо перед тобой живая курица. Ей-богу! Неизвестно, откуда взялась, неизвестно, куда бредет, заблудившись, рябая, толстая, себе на уме, голова дергается, глаз безумен. Явление жизни. Нерастолкованный фантик. Но вдруг неспроста? Вдруг что-то значит?.. Ах, Господи, Господи! Пора уже было Антону Андреевичу покидать столицу, истекали скудные московские денечки, он даже по магазинам не успел походить, хотя и надо было сделать покупки, если не для себя, то для мамы, но почему-то в этот раз неприятно было становиться одним из толпы провинциалов, спрашивающих дорогу к ГУМу или колбасному «Гастроному», дежурящих в унизительных очередях; вместо этого он все свободные часы бродил среди толчеи в комической надежде перехитрить теорию вероятности, встретиться вот так, прямо на углу. Хотя

почему он был убежден, что она вообще здесь? Попытка вернуться в сновидение — все выйдет насмешка, перелет или недолет. Но ведь бывает же: нужна позарез монета для телефонного звонка, ищешь ее по ногами, и если желание окажется достаточно страстным и терпеливым — ан, блеснуло что-то в грязи. Было так однажды, на Ярославском вокзале. Может, страстность желания есть энергия материальная, способная неведомым нам путем что-то пододвинуть в мире? Да тут еще курица. А еще кандидат наук незаметно сжимал на правой руке три пальца — вроде бы христианское троеперстие, самодельная гетская магия, постыдная слабость. Потом он даже поеживался, вспоминая, как вздрогнул, услышав свое имя. С другой стороны перекрестка смотрел сквозь квадратные толстые очки доцент Никольский, бывший его официальный оппонент.

— Ну, Антон, кто говорит, что нет направляющих сил? Только что о вас думал: надо бы повидаться. Писать вам хотел. Тут конференция назревает, есть возможность пригласить. А главное, вчера почему-то вспоминал Милашевича: ну с кем, думаю, кроме Антона...

## 2

Сработало. Считанных знакомых имел Лизавин в Москве — вольно ж было подсунуть ему сре́зь миллионной толпы именно того, кого никак не мечтал видеть. В насмешку, чтобы опомнился. Что кому, а зуб неймет. Вот уж не хотелось обсуждать свои дела, свой угол из института с парадоксальным умником, который науку о литературе ценил больше литературы, а людей — меньше, чем знание о них. К удивлению Антона, доцент ни о чем не стал расспрашивать, осведомленность же свою выразил единственной странной фразой: «Слыхал, слыхал. На гениальность потянуло, а?» — но на ответе не настаивал. Ответы он сам знал. Ах, умен был доцент Никольский, хоть и любил изображать из себя человека, который сложность жизни сводит к нарочито упрощенным формулам. Метания и порывы юности назывались для него гормональной перестройкой, как для анатома грудь — молочной же-

лезой. «Что, бабы небось давно нет? — поставил он однажды диагноз смутному настроению Лизавина. — И пошли идеальные видения, мысли, да? А всего-то сперма попадает не туда, куда надо. Надеюсь, вы не поймете меня буквально. Но в принципе; потом уже мозг вырабатывает умственные обоснования, результат кажется причиной, и наоборот. Ничего худого сказать этим не хочу, отнюдь. Так иногда рождались высокие всплески». Конечно, он и лихостью выражений слегка щеголял, но ведь насчет бабы, черт возьми, попал в точку, и всплеск разных идей Антон тогда действительно переживал. А главное, за всем этим чувствовалось: я, мол, шучу, но кое-что про себя и всерьез знаю, только так просто не выдам. С тем же как бы подмигиванием он произносил нужные, неизменно умные слова, когда выступал оппонентом, лектором или рецензентом, а что он там знал взаправду, всерьез? — до конца Никольский не открывался. Слишком он всегда был трезв и, будучи, как Милашевич, вегетарианцем, пить умел, не пьянея. Нет, умен, умен был процент, но до чего же голеньким чувствовал себя человек перед этим умом! За всем открывались ему доступные механизмы, которым можно было найти название и из которых выводилось любое движение души, любой человеческий тип, объяснение рая и ада, религии и любви. Острым скальпелем снимались покровы; уходил трепетный туман (так много скрывавший у Милашевича); самцы и самки осуществляли заложенную в них программу сохранения рода и продолжения жизни, поодиночке и в системе подключений друг к другу, из которых рождались культуры и войны, и загадочные порывы народов. Литература же была интересна тем, что поставляла наглядные, отчасти препарированные модели для анализа, структурных сопоставлений и мифологических соответствий. Серая шапка с козырьком была сейчас на доценте, точно такая же, как у Лизавина. Взгляду, впервые увидевшему его, почему-то представлялись под этой шапкой волосы мятые, неряшливые, потные. Лицо в свете сумерек казалось обрюзгшим, на мучнистых щеках бородавчатые островки белесой недобритой щетины. Но когда в прихожей он шапку снял, по лампой засиял совершенно бритый мужественный череп. И хотя лицо все-таки осталось мучнистым, впечатление обрюзглости



и даже недобротности почти исчезло, а две-три легкие выпуклости цвета кожи не стоило, право, считать бо-  
родавками.

3

Для интимного обихода Никольский после двух разводов выработал сподручную философию, суть которой довольно полно вмещалась в сентенцию: «Женщина должна быть проходящей». Вербовались эти проходящие обычно из аспиранток, а то и студенток, что не раз вызывало разнокалиберные скандалы и даже служебные неприятности; хладнокровный и опытный доцент умел, однако, с такими вещами справляться. Женщина, открывшая им дверь на сей раз, была представлена как Лариса. Красавицей ее Антон никак бы не назвал: широколицая, с неровным каким-то ртом, и свежести, как говорится, не первой; но главное, тут оказался еще мальчик лет семи, и в его присутствии доцент так странно терял уверенность, что наводил на вздорную мысль вроде «попался» или «влопался». Или, может, «нашла коса на камень». Они сидели за столом (никак не удалось отказать), и мальчик закапризничал, не желая есть суп.

— Он вот не ест.— Кивок в сторону доцента позволил не называть ни имени его, ни степени родства.

— Я не ем, потому что он мясной,— попробовал объяснить Никольский.— Это другое дело.

— Почему другое?

— Потому что я вообще не ем мяса.

— Почему вообще?

— Сейчас не время объяснять,— начал немного раздражаться доцент, стараясь в то же время сохранить — тем более при госте — тон снисходительного юмора.— Я, как бы тебе сказать... не ем ничего живого.

— Мясо не живое.

— Оно было когда-то коровой.

— Курицей,— уточнила женщина.

— Коровой или курицей — я не смотрел. И это неважно.— Никольскому явно не хотелось втягиваться в столь примитивные объяснения.— Важно, что это бегало, дышало. Словом, ешь, слушай маму.

Мальчик ненадолго задумался и в задумчивости отхлебнул из ложки. Но не более того.

— Да,— сказал он.— Картошка тоже живая. А ты ее ешь.

— Что значит живая? — снисходительная гримаса давалась доценту все натужней.— Она не может чувствовать... и вообще...

— И убежать от тебя не может.

Лизавин едва замаскировал неуместное прысканье под кашель человека поперхнувшегося и, чтобы замаять подозрение, сам поспешил перехватить разговор:

— А вы знаете, есть странные представления — Милашевич, видимо, ими интересовался,— будто растение именно способно чувствовать, скажем, боль. И даже угрозу. Я тут в библиотеке читал про действительный будто бы случай, когда цветок запомнил человека, поранившего его. Как слышит его шаги...

— К-хм,— неопределенно произнес доцент. Тон его не выражал особой благодарности за вмешательство, скорей наоборот: ты, дескать, на чью же мельницу? И вообще профанировать тему... Опять Лизавину приходилось что-то заглаживать, сочувствуя чужой растерянности и уязвленности, непонятной, но всегда почему-то вызывающей симпатию.

— Я, знаете, много в этот раз начитался занятного. В Южной Америке будто бы есть растения, которые стреляют.

— Стреляют? — заинтересовался мальчик.

— Да. Семенами созревших плодов. И даже очень чувствительно.

— Убить могут?

— Ну... если в висок... — не захотел разочаровать его Антон, но сам отчего-то запнулся. Никольский мрачно постукивал по скатерти белыми ногтями.— А вообще,— вспомнил наконец Лизавин нечто более подходящее, специально для Никольского,— о вегетарианстве у Милашевича есть забавные сюжеты. Например, краткое жизнеописание поросенка по имени Флик — я вам не показывал? — из ранних, журнальных. Картинки поросячьего детства, невинные радости, игры на траве, возмужание — вплоть до последнего изумленного взгляда на синие прекрасные небеса. Потому что все это жизнеописание с симпатичным портретом Флика было напечатано, как

выясняется, на этикетке свиной ветчины или, не помню, тушенки...

— М-да,— не оценил поддержки Никольский, а мальчик совсем отвернулся от тарелки и, кажется, побледнел. Что это я? — спохватился Антон Андреевич. И зачем все лезу утрясать чьи-то отношения?.. Тут же Лариса принесла в кастрюльке что-то вроде тефтелей или паровых котлет, смотреть на них оказалось неприятно — пропал, черт возьми, аппетит. Вдруг кандидат наук увидел, как Никольский поддел вилкой кусок и отправил в рот.

— Смотрит,— заметил его взгляд доцент, не слишком тактично толкая в локоть женщину.— Он думает, это мясо. Думаете, это мясо, а?

— А что, нет? — не стал запыряться Антон, хотя оказываться опять в дурацком положении было ему неприятно.

— Здесь ни грамма мяса, представьте! — развеселился хозяин. (Ну, слава Богу, хоть развеселился.)

— Не может быть! — попробовал Лизавин с изумлением, немного преувеличенным.

— Это называется фальшивый кролик,— скромно улыбнулась женщина. А у Никольского как-то напряженно вздернулась верхняя губа, открыв два крупных белых резца.

— Личный рецепт. Умеет! Единственная в Москве. Особенно для дорогих гостей.

— Вадим, вы же знаете, я не ждала гостей,— почему-то побледнела она.

(Вот те раз, они на «вы»,— насторожился Антон.)

— Вы хотите сказать, что стараетесь ради меня? — еще выше оскалил резцы Никольский; ему, возможно, казалось, что он улыбается.

— Вы прекрасно знаете, Вадим, все, что я делаю,— для вас.

— О да! Я знаю даже больше, чем вам хотелось бы. Ваше здоровье!

Нет, тут что-то не то,— все больше пугался Лизавин; он даже машинально чокнулся с Никольским и выпил рюмку с зеленой настойкой, от которой только что отказывался. Здесь, в Москве, у Сиверса, он уже однажды нарушил зарок, данный самому себе после памятного срыва, но теперь опять требовалась какая-то солидарность, от которой нельзя было уклониться. Никольскому хорошо, он даже любил демонстриро-

вать стойкость своего вегетарианского организма к алкоголю, как-то связывая эту стойкость с вегетарианством. У настойки был вкус приятной травы. Только вот улыбка его не нравилась Антону. И вообще надо было уйти, выждав приличную после угощения минуточку. На счастье, мальчик захотел спать, и Лариса увела его в другую комнату.

— А мы перейдем в кабинет,— заявил хозяин, вставая.

4

Квартира у доцента была двухкомнатная, и кабинетом он именовал угол у большого письменного стола, отгороженный книжным шкафом. При погашенном верхнем свете здесь можно было чувствовать себя достаточно обособленно. На стене в золоченой рамке висела цветная репродукция: портрет коротконового человека в мундире с белыми обтянутыми рейтузами по моде позапрошлого века, с косой прядью на лбу и ртом любящего себя человека. Графинчик, хлеб и салатная закуска перекочевали сюда же.

— Давайте по маленькой,— сказал доцент.— Ну, чуть-чуть. Это тархунная настойка, полезная. Вы что-то начинали про Симеона Кондратьевича? Я тут как-то просматривал вашу статейку, о вариантах «Откровения», там у вас вскользь пущена интересная мысль. О том, что сами сцепления образов у Милашевича могут сказать о его идеях больше, чем прямые высказывания. Это интересней, чем вы сами думаете. И вообще вы молодец. Ну, что же вы?.. За вас!

Увы, приходится еще раз признать, что Антон Андреевич не устоял, но как-то не поднимается рука прекратить его за слабость. Так редок был человек, способный всерьез говорить и слушать о Милашевиче, что это уже временами томило, как одиночество. Раззадоренный похвалой, пусть даже не до конца понятной, он стал вкратце и по возможности с юмором рассказывать Никольскому о последних выводах и находках, о предварительных догадках: о старце Макарии, о свидетельствах Семеки — но умолчал почему-то о главном, о новой встрече с Александрой Флегонтовной, как будто тут было личное, даже интимное, чего он не хотел без надобности выдавать доценту.

— Замечательно! — рассмеялся Никольский шутке о навозе.— И радио, и старец этот. Ох, умел Симеон Кондратьевич запудрить мозги! И ведь даже нельзя сказать, что нарочно: может, это просто его способ мыслить, жить, объясняться. Значит, страдание уподобляет растение животному, а животное — человеку? Прекрати страдание — будешь блажен?

— Да. Но это значит, оказывается, прекратить мысль. Выходит, человечество своим развитием обязано в конечном счете страданию.

— Молодец! — неизвестно кого похвалил доцент. Он был сегодня явно возбужденней обычного.— Я все больше убеждаюсь... даже не ожидал от вас.

— Почему это не ожидали? — Антон Андреевич понял, что похвалили все же его, но опять неясно, за что, и даже слегка обидно.

— Ну-ну! — сказал Никольский.— Нет, мне всегда в вас что-то виделось. Но все-таки... Я помню, в свое время мне было немного забавно вам оппонировать. Вы так по-родственному комментировали эту провинциальную философию, так всерьез...

Если что помешало Антону сразу вскинуться самолюбиво и оскорбленно, так это внезапное воспоминание, как на московской ночной улице Максим Сиверс обратил к нему странную свою усмешку: «Хочется вас подергать за бороду: настоящая ли?»

— Но давайте еще по одной. Нам с вами не повредит, уверяю вас,— предупредил его реакцию доцент. (Все-таки «нам с вами». Как будто это могло польстить.) — Да, Симеон Кондратьевич не прост, что говорить. Надеюсь, вы все же не будете меня уверять в обратном. Он каждому дает по способности. А главное, по потребности. Чего хочешь, что готов понять, тем удовлетворишься. Смешно сетовать, почему современники не понимают гения. Он их опередил. Послушав вас, я готов думать, что он до поры, может, даже не желал понимания.

— Да? — промямлил Антон Андреевич неопределенно. Хотя и с оттенком иронии. Он как-то все не мог сориентироваться: намекалось ли, что ему чего-то не понять, или наоборот? И эти слова о гении... Милашевич над гениями как раз посмеивался, он себя и свою идею противопоставлял им, даже с вызовом. Но ос-

паривать пока не стал; было в этом возвышении Симеона Кондратьевича что-то приятное.— Вы что имеете в виду?

— Постановку идеи. Начало века затосковало, как вы помните, по духу трагедии. Высокие умы смутило, не торжествует ли в мире идеал земного довольства, буржуазной пошлости, посредственности и мещанства. Они, лучшие-то умы, носились, как с находкой, с идеей, что счастье вовсе не может быть целью человечества. Известное довольство, конечно, желательно, без него и дух захиреет, это, как говорится, условие развитой жизни. Но только условие. Цель — нечто более высокое. Истина, там, или красота. Или добро. А счастье может лишь сопутствовать этим высшим устремлениям. Но не обязательно и ненадолго. Не в нем дело. Упаси Бог осуществиться когда-нибудь счастливому идеалу — Достоевский заранее его опровергал. Нищие плевались от отвращения. (А в душе подозревали и надеялись, что это невозможно). Лучше быть недовольным Сократом, чем довольной свиньей. Добродетель сродни пошлости, она урезывает аппетит, полагает предел стремлениям и страстям ради устойчивости и покоя. Я, кажется, цитирую, только не помню кого. Занятно, что наши именно идеалисты особенно ужасались торжеству западного мещанства после каждой их очередной революции. Обыденное счастье ведет к мельчанию человека, спокойное благоустройство предвещает упадок народа, страны, человечества, наконец. Опять же приносится в жертву что? — Свобода. Стремление к свободе неизбежно трагично, как стремление к истине, к совершенству, как трагична неизбежная смерть. Но с этим трагизмом связано все самое прекрасное в жизни, поднимающее нас над посредственностью и пошлостью. Без него не будет прогресса, только застой, жизнь начнет загнивать. Ну и так далее. Замкнутый круг. Об этом целая литература, вы сами знаете.

— Допустим,— сказал кандидат наук.— Но Милашевич со своей философией и не претендовал на общее решение.

— То есть как не претендовал? — удивился Никольский.— Что вы, право, Антон? Я, конечно, не знаю Милашевича, как вы, но я сужу по вашему же изложению, по вашим работам. Вы же сами

показываете, к чему все ведет. Как будто не желаете выйти из ампула. Он-то, я думаю, все понимал.

— Вы хотите сказать...— смешался Лизавин. (Ирония, что ли? Не понял.)

— Есть старая проблема западных религий,— не стал дожидаться доцент его застрявшей формулировки: — считать ли разум и опыт источником истины? Или, наоборот, грехопадение человека, погнавшего за знанием, скорей закрыло от нас источник подлинной истины? Тогда отказ от такой погони и приведет людей к искуплению, освободит от ужасов жизни. Что, на мой взгляд, делает Милашевич? Если вдуматься? Он оставляет двусмысленное понятие истины тем, кто без нее почему-то не может, но для массы остальных объявляет в сущности необязательной. Ее отнюдь не всем надо знать, а главное, не всем хочется. Каждому дается та правда, которую он способен выдержать.

— Да, да... удивительно... мне как раз в эти дни пришлось встретить... почти дословно...— забормотал Лизавин, тут же, однако, спохватившись, как бы не сказать лишнего.— Но вы сами только сейчас говорили, не так это просто. Зависит от человека... все время устраиваться между несовместимостями. У одного моего знакомого развилась, знаете, такая болезнь, странная аллергия...

— Это вы не про Сиверса?

— А вы... откуда вы знаете? — почти испугался Антон Андреевич. Непонятно даже чего: совпадения знакомств, неожиданной известности Максима? Или загадочной проницательности этого Фантомаса с тускло блестящим черепом и мучнистым лицом? Впрочем, глупый, наверно, испуг, у московских людей свои отношения. О недавнем намерении уйти он между тем совсем забыл, как и о досаде из-за бессмысленной встречи. Поди угадай, где смысл, где бессмыслица.

— Вы, часом, не были у него на дне рождения? — Ах, прищуренный, как будто даже красноглазый взгляд из-за толстых квадратных стекол говорил не столько о загадочной проницательности, сколько об осведомленности, впрочем не менее загадочной. Некоторое время доцент наслаждался замешательством гостя.— Зачем вам эта компания, Антон? Она не для вас. Это несерьезная публика. Обреченная. Дело даже не в конфликте с властями. Они только думают, что их не

устраивают недостатки или ошибки власти, на самом деле они существа ее не принимают и не понимают. Для них это понятие отождествляется с людьми, которые сидят в кабинетах. Они лезут в политику, по сути брезгуя ею. Да те, что в кабинетах, сами, может, не представляют, какие ими руководят силы, могучие, непостижимые, космические, сродни тем, что обеспечивают продолжение природной жизни. А вот Милашевич, я думаю, представлял.

— Ну, не знаю,— попытался, наконец, выразить Антон смутное чувство протеста (к которому примешивалось, ослабляя его, тоже неясное, но подозрительное удовлетворение).— Темы власти и политики Симеона Кондратьевича, мне кажется, не интересовали. О непостижимости каких-то сил у него на фантиках есть, правда, несколько странных восклицаний...

— А вы покопайтесь, покопайтесь. И не в прямых восклицаниях, а в сцеплениях, как сами выразились когда-то, образов. Уверен, он думал об этом больше, чем кажется. Ведь в чем идеальное стремление любой власти? Ублаготворить именно массу, основную массу населения. Тело, желудок, душу, мозги. Обеспечить безопасность, устойчивость и довольство. А высокие умы не удовлетворить все равно, по определению. Жизнь всегда несовершенна. Для них. Также можно понять. Неравенство, глупость, ложь и иерархия — извечны, естественны и неустранимы. Презирай их, борись, разбивай себе голову. Я, кстати, ничьей правоты не оспариваю. Опасность жизненного застоя и загнивания на всех уровнях — тоже не выдумка высоких умов. Она существует вечно, и всегда в противодействии возникали механизмы, подпуславшие страстей и крови. Надвигались чужие народы, сталкивались интересы и группы, обострялась воля к сопротивлению и превосходству, выдвигались страстные вожди, полководцы и идеологи, начинались войны и революции — все для дела, все, чтобы род человеческий не хирел. Но удовольствии, согласимся, сомнительное. И главное, чем дальше, тем сомнительней. Мне кажется, Милашевич раньше и лучше многих почувствовал близость времен, когда эти прежние, стихийные механизмы себя изживут. Станут непосильными. В этом смысле наша цивилизация действительно ощутила тупик прежнего, то есть исторического развития.



Посмотреть хотя бы, какая громадная доля человеческих усилий уходит на создание всяких орудий гибели — будем надеяться; они никогда не пойдут в ход. Я не склонен на эти темы морализировать. Выхода, возможно, нет. Похоже, в самом деле приближается пора устроить людей окончательно. Без потрясений, кризисов, войн, полководцев, героев. Кстати — мечта и замах любой революции. А отчасти русская, христианская мечта о конце истории. Можно, конечно, все предыдущее назвать предысторией и объявить, что подлинная история только учреждается. Я в этом вижу неточность терминов. Но вот что учитывал Милашевич: что правоту высоких умов нельзя при этом применять к человечеству. Нельзя исходить из того, что масса людей тоскует по тому же, что они. Дёскать, только бы прониклось человечество их возвышенными представлениями — и воссияет что-то там такое. Один из деятелей нашей последней революции провозгласил, что средний человек будущего окажется равен Гете. Представляете, сотни миллионов Гете! В автобусах, на улицах, в пивных! Но если кроме шуток, это ведь центральный вопрос любой утопии: для кого она? Для таких, как я, высокоумный мятущийся автор? Или для других, не только не похожих на меня, но и не видящих в таком сходстве особой радости? Милашевич делает вывод: всеобщее счастье не только невозможно, оно не нужно и опасно. Возможно и необходимо счастье основного большинства. И для него вполне может пригодиться то, что вы называете провинциальной идеей.

— Парадоксальный выходит у нас разговор, — вдруг рассмеялся кандидат наук. — Вы возвращаете мне знакомые мысли, даже почти моими же словами. И я все не пойму, что же вызывает во мне сопротивление.

— Может, вы просто ещё не уяснили, к кому себя отнести: к большинству или к меньшинству. Я имею в виду не инфантильное меньшинство, не Сиверса и прочих, а зрелое, сознательное, если угодно, затаенное меньшинство, без которого невозможна счастливая устойчивость большинства.

— То есть вы хотите сказать, — свел наконец вместе раздерганные концы мысли Антон, — что сам Милашевич к большинству себя не относил?

— При таком-то уме? Ну подумайте сами. Ведь даже чтобы понять мысль как страдание, нужен же был ум, взявший на себя эту муку. Старец-то этот ваш, Макарий, небось знал, что говорил. Куда такому в ольховый-то куст? То есть в принципе возможно личное преобразование как окончательная блаженная успокоенность, личная, так сказать, нирвана, в восточном смысле — но только личная, к общей жизни это уже неприменимо. А Милашевич думал о других, если я верно вас понял. Сам-то успокоиться вряд ли сумел. Не похоже. Он сам из тех, кто взыскует смысл больше жизни, он, может, фигура трагическая. А значит, понимал, что кустарник — это, как говорится, для бедных.

— И провинциальная идея — для бедных? — уразумел Антон.

— Вас смущает слово? Скажите: для счастливых, будет даже верней. Другие-то все к этому пробиться не могли. Человеку развитому страдать надо, страдать. И с новыми подробностями, на новом историческом материале объясняли, доказывали, почему окончательное общее счастье все-таки невозможно. А в Милашевиче вашем прелестна эта провинциальная невозмутимость. Для вас, может, и невозможно, а мы поищем. Смейтесь, если угодно. Над Циолковским тоже смеялись. Об истине спорить не будем. Истинно то, что способствует счастливому состоянию, личному и совокупному. Вы говорите, общественное счастье само по себе не может быть долго устойчивым? Значит, кто-то должен направлять, обновлять его постоянно, взять на себя заботу о мысли, о движении ради здоровья. О свободе, между прочим. Так, чтобы счастливый человек все же считал себя свободным, не сознавая, насколько предопределен и направлен всякий его выбор, все его вкусы, движения. Тут нужно и вмешательство художника, в широком смысле творца, то есть помощника и даже соперника Творца божественного...

— Да постоит, откуда все это? У Милашевича нет ничего подобного.

— Нет, значит, пока не нашли.— Замешательство Антона явно доставляло Никольскому удовольствие.— Покопайтесь, последовательность мысли должна к этому привести. Я не говорю о технике, конкретных системах. Циолковский тоже дал идею, образ, да

попутно какого только вздору не понаписал. Но другие теперь делают ракеты.

— И образов у него таких нет.

— Не знаю. Он сам для меня, если хотите, образ. Я, впрочем, не настаиваю. Повторю еще раз: речь не идет об истине. Истина может представлять ценность только для отдельной личности. Ради нее кто-то может и на смерть пойти. Бывало. Но совокупность людей подчиняется законам выживания, самоутверждения. А для этого бывают необходимы и ложь, и безумие, разветвленные механизмы воздействия. Может, даже умышленная провокация — вам не кажется, что Милашевич и в этом знал толк? Этакий экспериментатор. Покопайтесь еще, покопайтесь, мне интересно, что вы у него найдете. Представим, что счастье можно составлять из конструктора, только уяснить правила. Вот дело профессионалов, высоких, многознающих, несентиментальных.

— Он начинает выглядеть у вас каким-то... суперменом,— криво усмехнулся кандидат наук.

— Тогда это называлось сверхчеловеком,— невозмутимо и как будто слегка забавляясь, ответил Никольский. Вдруг он изменился в лице — надел улыбку.— Тс-с. Ваше здоровье.

## 5

Включился верхний свет. Лариса вошла убрать оставленную на столе посуду. Никольский, откинувшись в кресле, с рюмкой в руке следил из-за шкафа за ее движениями взглядом маски. *Не до конца переосмысленный оскал*,— вспомнил Лизавин и подумал, что это, наверно, вот о такой же улыбке. Когда-то она должна была означать: дескать, показываю зубы, как выложенное на стол оружие, в знак доверия и дружбы. Еще немного, и вышла бы настоящая улыбка. Но от этой не по себе становилось. Какое-то слово я хотел записать на бумажке, чтоб не забыть, подумал Антон. В бритом черепе доцента отблескивали голубые и красные огни законной рекламы, в очках шевелились крохотные перевернутые человечки.

— При ней остерегайся,— вдруг наклонился он доверительно к лицу Антона, когда женщина, выключив свет, ушла.— Я ее раскусил, она чувствует.

— Остерегаться? — невольно отстранился Лизавин. Он только сейчас заметил, что Никольский сильно вспотел. Дыхание из его рта было неприятно. — В каком смысле? — (Это он про Сиверса, мелькнула догадка.) — Мне, правда же, нечего.

— Кто знает, — усмехнулся доцент, выпрямляясь. — Кто знает, с каких сторон смотрят на нас. Кому мы потребуемся. До вас пока не дошло... У вас голубые глаза. Наивная здоровая кровь. Это хорошо. Это пригодится. Может, не зря мы сегодня встретились. Посмотрим... А в глазах уже огоньки появились, — он вдруг посмотрел на Антона задумчиво и грустно. — Ни к чему бы вам, а? Да ведь не всегда спросят. Ушибет — а там кричи об ошибке. Сам не понимаешь, что с тобой случилось, а? — неожиданно перешел он на «ты». Взял с тарелки зеленую маринованную травку и стал жевать.

Человеку захмелевшему собеседник поневоле начинает казаться таким же. Лизавин не сразу понял, что доцент действительно захмелел. Это было непривычно, да и произошло внезапно, словно последняя рюмка переполнила критический объем.

— Кхм, кхм... Не слишком ли вы все-таки Симеону Кондратьевичу приписываете? — осторожно вернулся Антон к разговору (нащупывая между тем в кармане короткий карандаш и бумажку, чтобы не глядя, прямо в кармане, записать слово). — Он все-таки вряд ли претендовал.

— Может, и не претендовал, — неожиданно легко согласился Никольский; он все жевал свой стебелек, задумчиво и как бы отрешенно. — Бывает что-то и неосознанно. У пророков и безумцев. Но я в нем не зря что-то угадываю. Сам вегетарианец.

— Ну, с вегетарианством я вообще не все понимаю, — согласился не уточнять дальше своего смущения Лизавин. — Я не обсуждаю саму тему, вы не подумайте, но именно у него, мне кажется, что-то не сходится. При его-то взглядах на растения, при такой способности воображения. Если даже в травке видеть живое, способное страдать существо — как ее есть? И чем вообще питаться? Не помните, как он описывает в одном месте поросенка на блюде: бледный детский трупик с зажмуренными глазками, с ресничками слипшимися? Даже на меня подействовало.

— И вегетарианство для разных разное.— Никольский улыбнулся, выбрал на тарелке еще стебелек и, прежде чем отправить в рот, посмотрел на него с непонятной Лизавину усмешкой.— Как и христианство. Кто сюда не поналез! Можно тут видеть диету, путь к здоровью, к умиротворению животных инстинктов, страстей. Очень полезный взгляд. Чтобы слегка видоизменить природу человека, созданного поедателем плоти. Ослабить агрессивность, волю к соперничеству и власти. Способствовать успокоению. Для бедных. Возможно, скоро и сбудется. Мяса-то уже не на всех хватает.

— Ха-ха-ха,— уловил кандидат наук злободневную шутку; в голове все-таки была мешанина, и при том снова чувство, будто именно сейчас ты готов что-то ухватить.

— Но тогда и выяснится, что для других — для немногих — способность к самоограничению связана с трезвостью, силой и бесстрашием ума. Вы это называете воображением, но правильней говорить о готовности ума не бояться и не смягчать никаких выводов, ни от чего не отгораживаться смягчающими словами. Смягчающие, успокоительные слова — для бедных. Для слабонервных. Тоже способ и принцип отбора и различия.

— Ничего не понимаю,— искренне признался Антон Андреевич.

— И не надо. Поймешь, когда потребуется.— Доцент вновь сбился на «ты». Откинулся на спинку кресла. Маленький Наполеон торчал вверх белыми рейтузами из зеркального черепа.— Не слушай... ты не слушай меня сейчас,— вдруг опять наклонился он, обдавая Лизавина запахом нехороших внутренностей.— А что слушал — забудь. Я что-то не в себе. Никогда не было. Ты ведь пил со мною, скажи: было со мной такое раньше? Она мне подмешала в этого кролика мяса, я убежден. Хочет связать меня по рукам и ногам. Лишить силы, как Юдифь Олоферна. Вот таких всегда подсылают.

— Кто? — уже в настоящем испуге отстранялся Антон от этого лихорадочного, дурно пахнущего бормотания; в нем было что-то не просто пьяное.

— О, есть кому! Но об этом пока — тс... Не пока-

зывать виду. Потом дойдет. Ты, считай, уже на примете, ты знаешь Милашевича. Продолжай пудрить мозги. Я потом объясню. Все объясню. И какие ведьмы бывают. Сиськи до сих пор. Тс-с...

6

Вернулась Лариса. Включила свет и, как на освещенной сцене, села в кресло в дальнем углу, с выражением полного безразличия к зрителям там, за шкафом, но так, чтобы они ее все же могли видеть. Долго ждать начала действия не пришлось. Никольский, пошатнувшись, встал и вышел из кабинета, по пути коротко обернувшись к Лизавину — как бы приглашая его внимательно оценить спектакль.

— Нехорошо мне что-то, а? — Потрогал женщину пальцем за подбородок. Она вытерпела это как застывшая кукла, даже позволила повертеть своей головой. Ох, что-то нехорошее, ненатуральное, жуткое крылось за играми этой пары. Кто-то из них безумен, с нарастающим испугом подумал Антон. Да, конечно же Никольский не просто вдруг опьянел. Он сумасшедший, как не дошло сразу? — Вы случайно не подложили чего-нибудь в своего кролика? Очень фальшивого кролика? Скажем... э... бледную поганку? — Доцент на миг показал зрительному залу два бобровых резца. Наклонился и сзади обхватил женщину правой рукой под грудь. Она была совершенно бледна, однако ответила здраво:

— Какой смысл мне вас отравлять, Вадим? Вы мне нужны живой. — (Нет, из них двоих она, пожалуй, нормальная.)

— Ах, живой?

— Да, живой.

— Приказано взять живьем?

— Держите себя в руках, Вадим.

— Если вы будете говорить мне такие вещи, я вас пну.

— Ну, я пошел, — вскочил с места кандидат наук.

— Что? — цветом безжизненным она уже превзошла доцента.

— Пну! — повторил тот с торжествующим смешком и подмигнул уже начинавшему бегство Лизавину.

— Попробуйте только, — сказала в комнате

женщина, не обращая внимания на исчезновение гостя. Тот уже возился в прихожей, не мог найти пальто. (Нет, и она сумасшедшая. Оба психи.) Никольский вышел наконец его проводить.

— Понял? Все понял? И молчи. Никому. Потому что дело пахнет смертельным случаем. Это очень серьезно. Запомни мои слова при свидетелях.

— Да ладно... брось ты,— попробовал подстроиться под ту же фамильярность кандидат наук. Так по-свойски стараются успокоить разволновавшихся пьяниц. Торопливо нахлобучил шапку — голова утонула в ней. Черт возьми, это оказалась шапка Никольского. Совершенно похожи. Но какая, однако, голова! Какой череп! И какой же все-таки мозг должен скрываться в таком черепе?

7

Ну их всех к лешему, гениев, психов ненормальных, думал Антон, вышагивая по улице и постепенно успокаиваясь; протрезвел он уже в лифте. Что он там накрутил вокруг бедного Симеона Кондратьевича? Как будто и тот сумасшедший. А может, и сумасшедший. Один я нормальный. Или каждый нормален по-своему, только им с этой Ларисой нельзя соприкоснуться — возникает взаимный сдвиг. Как она могла захомутать его, хладнокровного, чуждого всякой сентиментальности? Так успешно отрешивался до сих пор от семейной жизни — и вот, похоже, попался. Почему от нее не может избавиться? Мрак, темный лес. Что мы знаем о любом человеке, даже сравнительно близком? Он приоткрывается нам, как в окошечке, в короткие минуты встречи, разговора, прикосновения. А какой он в другие дни, в другие ночи, с другими людьми, наедине с собой, в жизни цельной и непрерывной? Нам доступны лишь фантики, остальное додумывай. Мы и себя-то не знаем. Наверно, я перегнул от неожиданности, просто здоровье у человека не прежнее, нервы, перепил и сам не осознал. Как ни странно, именно в таком виде — болезненный, потный, уязвимый, с дурным запахом изо рта и нетрезвым бормотанием — Никольский показался Антону Андреевичу по-человечески немного понятней. Рациональный иррационалист, он мог что угодно знать о любви, страстях,

страданиях, смерти, даже о Боге, сам ни с чем не соприкасаясь, от всего отстраненный, бесстрастный. Но какие-то зачатки способностей, чувств есть у каждого — к любви приобщается на мгновение даже тот, кто называет это совсем другими словами. Никольскому понимание до сих пор компенсировало остальное — с помощью своего ума он мог приставить к культе протез, которому доставало электрического импульса, чтобы он функционировал как живой, до обмана или самообмана, в мире, где не нужно ни любви, ни Бога — все было там проще и куда интересней. Но чтобы прищемило культу, чтобы протез заболел взаправду, вопреки пониманию!.. Как это он даже в Милашевиче ухитрился увидеть сверхчеловека-экспериментатора в своем духе. (И над чем, интересно, эксперимент? или над кем? — то ли следит за развитием идей, то ли за живыми судьбами? *Зачем так? Я этого не хотел!* Тоже поворот мысли.) Ведь он не знает про Шурочку, утерянную и обретенную, про нежность и боль, про жизнь ради нее. Хорошо, что я не сказал, он бы и это постарался переиначить, испортить. Нет, ненормальный, бедный, безумный, пусть голова у него хоть с котел. Даже именно поэтому. Пусть кто угодно воображает себя гением и сходит с ума. Ты держись своего. Впрочем, как, интересно, ты сам выглядел, когда бродил по улицам с бессмысленным троеперстием? Может, насмешливые силы решили для чего-то встряхнуть тебе мозги, а к другой встрече ты просто еще не готов. Может, тебе, такому нормальному, чего-то именно и не понять. Да, что я, кстати, записал там в кармане?

8

Фонарь на высоком стебле горел вполнакала, розовый, как бутон. Лизавин остановился под ним, извлек бумажку. Она оказалась мятым библиотечным требованием. С трудом нашел и стал разбирать карандашные царапины: кон... конструктор? Не мог понять слова. И смысла не помнил. Некоторое время стоял так, сняв шапку, чтобы охладить голову. Разгульная компания прошла мимо: двое мужиков с ржаньем тянули под руки бабу, растягиваясь в стороны и сходясь, как баян, одного роста, коротконогие, и лица у всех были



до фокуса одинаковые, обширные, плоские, багровые, с копеечными носами, несущественными глазками. Только у женщины брови были подведены полумесяцами, да рот раскрашен. Ну, рожи! — качнул головой Лизавин и почему-то вспомнил опять Максима Сиверса. Он проводил их взглядом и увидел, как через несколько шагов все трое оглянулись на него и заржали снова.

— Ну, рожа! — услышал он голос женщины.

## 9. Утраченный сад, или Божья хитрость

### 1

*Наш плоский ум и взгляд — лишь упрощенный осколок полноценной божественной кривизны.*

*самовар, владелец неэвклидова пространства*

*Ты все можешь принять, все вместить: небо, траву, клумбу, и растекшееся солнце, громадное кривое блюдо на пятипалой руке, и где-то там крохотное личико, не способное раскраснеться даже от духоты, черное пятнышко тужурки, выездной шарабан без колес*

*с петухом на козлах, изогнутый угол кабинета, циферблат со знаками зодиака, но без стрелок, постройки хозяйственного двора среди зелени, остаток зеркала в наклоненной раме и на поленнице кусок собственного изображения.*

*Над клумбой, точно цветок, распускался раструб граммофона.*

### 2

Надо было держать в уме чуть ли не весь сундучок, чтобы вдруг узнать в этом кривом самоварном наборе предметы из амбарной книги: фламандский кабинет, декорированный черепахой на фольге, часы с данцигского секретера, зеркальную резную раму (еще с остатками стекла), да впридачу граммофон фирмы Патэ из той же описи — все оказалось выставлено посреди зеленого двора под ярким небом. Зачем? — для выво-

за? для упаковки? — и кусок коврика или клеенки с изображением самовара был разложен на полотенце, как домашний половик для просушки... почему, однако, кусок?

3

Лизавин полагал, что обрывок описи перечислял предметы, сохранившиеся в ганшинской усадьбе после разгрома 1917 года или подобранные Милашевичем по деревням для музея. Усадьбу громили одной из последних, уже в сентябре, хотя она стояла без хозяев и без охраны: между наследниками все продолжалась тяжба, последняя сторожевая прислуга разбежалась, прихватывая кто что горазд, а смехотворные стены, обрушившиеся еще при постройке, только дразнили своей незащитностью. Но что-то словно удерживало окрестных мужиков на расстоянии, они пока рубили леса и травили луга где поближе и вдохновились лишь после того, как чеченцы из отряда, который заполучил для своей охраны отставной полковник Брыкин, поймали однажды сареевского пастуха, выгнавшего коров на брыкинский луг, вырезали ему на ногах икры и окровавленного пустили ползти в деревню. Поквитаться с полковником не решились — у Ганшина мужики отвели душу. Разгром был бескорыстен в своем неистовстве: топтали ногами фарфоровые вазы, рвали, взявшись за края, портьеры итальянского полотна, крушили палками бесчисленные зеркала, топили в пруду канделябры, кресла и книги, мочились в кирасы и чепцы ганшинских предков, разрушили грот, что передразнивал голоса с бестолковостью идиота, но когда кто-то попытался сунуть за пазуху шкатулку с серебряными накладками, ему этой же шкатулкой проломили нос. Лишь после стали приходить и с телегами приезжать к усадьбе для поживы, но уже поодиночке, таясь и как будто стыдясь друг друга, подбирали с земли обломки. Долго еще по окрестным деревням дети играли молоточками и клавишами от разбитого немецкого рояля, а Милашевич находил по избам и дворам кавалерийскую шпору, шлепанец без задника, старинный кринолин, который использовался под клетку для кур, кожаные пластинки от фехтовального доспеха, приспособленные вместо шор

для лошади, что вращала на солеварне круг. А у волостного сареевского писаря оказался во владении не совсем понятный обломок то ли деревянной статуэтки, то ли неизвестного механизма, он имел вид изогнутой лопаточки на длинной и прямой лакированной ручке; нашелся знаток, увидевший в этой лопаточке специальный китайский прибор для чесания спины — и вот ведь что интересно, — замечал в рассказе Милашевича музейный собиратель обломков, — никогда прежде не испытывал человек такого уж постоянного зуда в спине, а тут вдруг от одного присутствия этого необязательного устройства появилась именно постоянная потребность чесаться, так что он расстался со своим трофеем охотно и даже испытал облегчение.

4

*беломраморная ручка с отогнутым пальцем поднялась над засохшей кучей*

*в жухлой траве костяная полоска пейзажа с вишней*

Это, наверное, тоже были усадебные впечатления: обломок скульптуры, пластинка японского веера — клочок бумаги казался приспособленным по природе именно для таких описаний. Жизнь подмигивала философу, предлагала или подсказывала идею, измельчая предметный материал, и он с интересом всматривался в эти куски, обрезки, фрагменты, описывал на фантиках даже отдельные осколки зеркал с застрявшими в них отражениями. В одном мелькнул все тот же знакомый самовар и еще кто-то чужеродный в тужурке, с эспаньолкой и усиками; другой все не мог расстаться с сумрачным углом кабинета (виднелось кресло с золочеными гвоздиками обивки); еще в одном показался как будто край живописного полотна без рамы...

5

Вдруг Лизавину пришло на ум, что живописное полотно тоже могло существовать в разрезанном виде. «Утраченный сад» было название картины, три куска удалось Милашевичу собрать, они были прибиты в из-

бах, как коврики. И если это так, отчего не предположить, что Симеон Кондратьевич, по своему обыкновению, зарегистрировал на листках и их, описал каждый в отдельности? Можно было даже попробовать их угадать. Несомненно, имелся в виду тот сад, что в русском переводе был назван когда-то раем. Такой картине могли принадлежать все фантики с деревьями, цветами, плодами, все образы счастливых утопий. *Растут ровными капустными рядами пальмы, уменьшенные для удобного пользования. Распаренная земля наливается молочным соком. А может, даже и это,— примерял заново Антон Андреевич: рогатая голова с человеческими зубами — искуситель выглядывает из-за ствола? Бледные ноздри утонченного выреза, пот болезненной прохлады на прозрачных, с голубизной, висках...* Нет, так можно без надобности увлечься. А вот голый толстяк за самоваром под яблоней, чайное блюдце с вязью по ободку «Угодно мне сие» вполне могли быть отсюда. Если бы Милашевич взялся вообразить рай — что ему еще надо? Он и без сада бы обошелся. Угретая комната, печка трещит, огонек колеблется на фитильке. *За что тебе такое счастье? Бессмысленно спрашивать. За способность к счастью.* Да, самовар скорее всего был оттуда — кусок холста или клеенки, обрезок не собранной до конца картины «Утраченный сад» лежал на поленнице во дворе бывшей ганшинской усадьбы, отраженный в самоваре настоящем. Чем больше фантазировал Лизавин на темы этого названия, тем больше картина виделась ему одной из клеенок, которые приобретал для своей причудливой коллекции меценат Ганшин у местного живописца, разве что, может, особых размеров (если могла быть еще разрезана). Ангел Николаевич заказал Босому-Свербееву тему, душевную тему собственного сочинения, которая для него была как-то связана с неизбежностью революций. И если картину писал Иона, там должны были оказаться легкие существа с детскими личиками — для него обитателями рая могли быть только дети, так они поначалу и были созданы, среди цветов и цветам подобные, пока, вкусив плода, не пустили себе на беду ход времени. Здесь был уместен все тот же золотоволосый херувим, Ганшин хотел его видеть изображенным, вкус Ионы совпадал

с пристрастиями заказчика, — ах, недаром, недаром питал Ангел Николаевич слабость к самодельным его работам.

6

Уже два года спустя после неразъясненной смерти фабриканта «Столбенчанин» еще раз помянул имя покойного в связи с пожаром в его пустовавшей усадьбе. Подозревался поджог, возможно, замешан был кто-то из озлобленных обделенных наследников — дело как раз находилось в губернской судебной палате. Журналист, скрывшийся за инициалами Н. К., смаковал пикантные подробности: объявилась вдова покойного, с которой он, оказывается, не был формально разведен, хотя и не жил вместе так давно, что о ней никто здесь не знал; она специально поспешила в губернию из Ниццы, где обитала постоянно, чтобы оспорить завещание; там, в секретной части, будто бы фигурировал некий молодой человек или мальчик, чье имя не подлежало огласке, причем витиеватый Н. К. с многозначительной усмешкой предупреждал слишком поспешные умозаключения тех, кто захотел бы предположить у Ганшина морганатического сынка. Нет, подразумевалось другое. В этой скользкой усмешке пробивался намек на область столь чуждую и физически непонятную Антону Андреевичу, что, лишь перечитав заново у Милашевича весь ганшинский цикл, он впервые заметил и оценил странное отсутствие женщин рядом с этим ущербным, томящимся персонажем, и мелькнувшее единственный раз упоминание о книге в его руках: роскошном издании платоновского «Пира» на французском языке. Похоже, сам Милашевич не сразу что-то уразумел, иначе он не пустился бы на экспромт с подобранным бог знает где сироткой. То есть, может, никаким и не сироткой, и не подобранным — подвернулся кто-то случайно под тему полуплутливого разговора, еще не розыгрыша, но так вдруг понравился бедному Ангелу, и так захотелось поддержать в нем хоть недолгую радость! — пусть ценой временной недомолвки, даже лукавства... Нет, Милашевич конечно же не подозревал, куда угодила эта шутка, куда она может завести, — *единственная несчастная возможность прошла мимо моего понима-*

ния...— та самая, та самая... Боже мой... А может, даже сам Ганшин до поры не отдавал себе отчета в природе своей внезапной привязанности к приبلудному мальчику, запретной, непозволительной нежности, он еще не успел понять, что именно детские личики пленяют его на клеенках столбенецкого маляра — больной отросток вырождавшегося дерева (лацкан пиджака присыпан, как перхотью, кокаиновым порошком), человек, пытавшийся огородить стеной ковчег возможной радости, но знавший заранее, что не сможет там задержаться.

7

*там сияют холмы и белые долины, шевелятся  
в ущельях реки из чистого дыхания облаков*

*Воздух светится, весь сделанный из вещества, кото-  
рое идет на косые лучи солнца в туманном лесу.*

*звяк ложечки о стакан*

*муха в варенье*

*Никто нас не знал, мы бежали сами, томясь оско-  
миной.*

*Не зря подвешено было яблочко на самом виду.  
Хитрость, ловушка, заранее инсценированная по ролям.*

*Замыслу нужно, чтобы кто-то его все время подде-  
рживал, двигал, не давал остыть, тянул лямку.*

*есть имя оскомине: скука*

Вот что знал про себя Ангел Ганшин и, может, пытался развить свою мысль в не дошедшем до нас трактате. Чем хотел подменить эту правду не в меру сострадательный друг, ненадежный философ? Кого надеялся опровергнуть? И как? Советом обособить кусок жизни, отсечь себя от сравнений и связей, от вины предков, от первородного греха?

*Остаться там, остаться и не хотеть ничего боль-  
ше. Вот предел, вот блаженство.*

— *Я бы рад, я бы хотел, но не могу.*

— *Как знаешь. Тогда уходи.*

— *А разве можно?*

*Так просто. Как выход из сна.*

*Укройся в тишине, пусть даже часы не тикают. Не вечно же бежать.*

*еще немного, еще чуть-чуть...*

8

Не получалось, все время что-то не получалось. Проваливалась едва отстроенная стена в ямы, ходы, полости, прорытые кем-то до нас, планы были утеряны — смешно, в самом деле, добраться по цепочке причин до первоисточков происходящего. Бессмысленно и невозможно. *Замысел был прекрасен, вмешалась стихия, да материал подвел, соединилось неточно. На третьем ярусе надломилось. Вечная история.* О чем это? О строительстве древней башни? О катастрофе в Москве? О случайности, которую невозможно учесть? которая неумолимо вторгается в лучший замысел, превращая его в насмешку и бедствие? Неточность соединения. А ведь уже казалось, что чуть воспрял, чуть ожил Ангел, казалось, могло выйти даже хорошо, к общей радости — если б только не злосчастный подвох, выверт природы. Вдруг стал недвусмысленно ясен. Похоже, к стыду и замешательству обоих. Похоже, что в замешательстве, в преувеличенном смущении Милашевич слишком поспешил увезти из усадьбы мальчика, неизвестно откуда взятого, пусть даже чужого, совсем незнакомого — вдруг увидел себя в сомнительной роли. Трудно сказать в точности, что там произошло. Может, в этой поспешности было что-то обидное. Но может, дело было даже не в этом особом случае, может, тут был лишь последний повод, последнее разочарование, усугубленное стыдом или обманом или двусмысленностью, и так ли уж важно, какая заключительная случайность опередила пулю, заменив ее словно для смеха другим орудием?

9

Не получалось. Да, в фантиках можно было увидеть не просто философские пробы, они были сами философией, только не такой, как думал, возможно, писавший, когда призывал и пробовал измельчать вещество жизни. Мы уже и забыли, что было написано

на листках, брошенных в сундучок, что было задумано, что имелось в виду — слова сами по себе шевелились, складывались в темноте; сцеплялись под землей белые корешки; соединения меняли весь смысл, именно они обновляли его и создавали заново: так цветок по-разному соединялся с весенним лугом и со щелью в окне, замазанной серой краской, так меняла звучание музыка, соединяясь с другими словами, менялись люди, соединяясь в толпу или любовную пару. *Она соединила с ним свою жизнь. Именно так.* Тела подгонялись друг к другу каждым изгибом и обменивались соками:

*Мужчина и женщина  
имя и человек  
конфета и фантик  
голос и отзвук  
вымысел и история —*

в каждом сцеплении таилось что-то, непредсказуемое для ума. В разраставшемся из частиц мироздании все было связано со всем: жизнь существовавших, но давно истлевших людей и мысль их, преображенная на бумажках, видения столбенецкого маляра и строки газетного шрифта, литературные фантазии Милашевича и оторопь читавшего их: как будто продвигаешься во сне, в неверном, нереальном пространстве, и вдруг возникает из другого измерения, вырастает перед тобой твердое — и ударяешься об него и чувствуешь: это на самом деле боль, тут смерть взаправду.

## 10

Растерянные, сами над собой усмехаясь, пробуем мы возможности новых соединений — с нами перемигивается эпоха, когда все делалось из переосмысленных ошметков старья, когда носили штаны из церковной парчи и туфли из бильярдного полотна, а к воротам городского собора приколачивали вывеску общегражданского кооператива. Нерабочие дни календаря: Первое мая и Троица, Пасха и День Парижской коммуны. Комната гостиничной проститутки Фени оклеена новыми газетами, и заголовки волнуют здесь грамотных гостей неожиданным смыслом: «Кто кого?» К камню на Столше приставлен оказывается недолговечный памятник: три гипсовые фигуры героев-борцов; в центре



подразумевался погибший Перешейкин, но и двум другим, справа и слева, приглашенный ваятель придал портретное сходство с местными деятелями, правда еще живыми; наверное, потому промелькнули они на постаменте так коротко, что даже не запечатлелись на фотографии, разве что в строках из неизвестного полностью стихотворения: «*В нас жили общие и общее дыханье, И общая температура тел*». Впрочем, это, может, и не о них. Подтвердился слух о возвращении в обиход серебряных и медных монет, предприимчивый мастер Голгофер вовремя поспел с кошельками — старые не у всех сохранились. В кооперативной лавке вместе с гвоздями и дегтем продают иконы и портреты вождей, а магазин «Новый мир» рекламирует книги, рыбу, пиво, закуски, в заключение присовокупляя: «Имеется отдельный кабинет». Да, обновились времена, уже звучит слово нэп, составное, дутое, усеченное, как и то, что оно обозначало. В Фомин понедельник на площади против Народного дома собираются батраки и хозяева — идет наем. Приехал записываться в комсомол внук деревенского знахаря, балагур и любезник; в книжке «Азбука коммунизма» хранится у него сложенный вчетверо дедовский заговор для присухи любовной. В клубе вечером разучивают частушки:

Девушки, подруженьки,  
Вы не красьте рожи,  
Лучше мы запишемся  
В союз молодежи.

С улицы несется свое:

Распутина любила, Распутина любила  
Саша поздно вечером.

— А из клубного окошка в ответ:

Эй, товарищи родные,  
Что ж вы хулиганите?  
Если не перекуетесь,  
Вновь рабами станете.

Объявлен конкурс на звание Столбенецкого красавца и Столбенецкой красавицы; победителям обещаны призы. Рядом с объявлениями властей на заборах и тумбах — афиши сомнительных гастролеров. Заманивает проезжая хиромантка, персидская подданная: «Пред-

сказываю будущее, настоящее и прошлое». Уже гурман Василий Платоныч Семека угостился в столбенецкой чайной знаменитыми здешними карасями, и выпускает вновь сладкую свою продукцию еще не сгоревшая фабрика, бывшая ганшинская, ныне акционерное предприятие «Герой труда», в сокращенном обиходе — «Гертруда». *Федор Иванович и Гертруда*. Ба! да ведь это инженер Фиге возник из нетей, бывший создатель фабрики, его так по бумагам и звали — Федор Иванович Фиге. Как иные существа зиму во льду, перетерпел он пору, когда детище его стояло, зарастая травой, а приводные ремни растаскивались и разрезались на лошадиную сбрую. Вдруг ожил, закрутился, как будто его, ржавевшего без дела, точно деталь ненужного механизма, подобрали, протерли керосином, смазали и вставили на прежнее место. Инженер Фиге, еще один герой будущего процесса о поджоге; Милашевич, конечно, его знал — и значит, не упустил из виду, уже примеривал заголовок сюжета, который пока складывался сам собой. Он, явно похож! В сатиновой толстовке до колен, под белым картузом потная лысина. Живот раздут не жиром, а жидкостью болезни. Короткие, но проворные ноги обещали смерть на бегу. Мы, отсюда, увы, точнее знаем его действительную судьбу, но там, на бумажках, пока еще куда-то спешит комичная толстенькая фигурка, а неизвестный паломник записывает себе в поминальный листок имя Федора Ивановича, которому вздумал выпросить у кого-то новый котел и защиту от притеснений. Может, в самом деле успел прошептать, пусть наскоро, перед хрустальной ракой нужные слова — вот на фантике удивленный возглас о результатах, превзошедших ожидания:

*Что баба выздоровела, замуж вышла или даже понесла,— это, допустим, дело природное. Но чтоб такая фигура потекла и слетела!*

*Должно быть, в теле там имелся внутренний порок, каверна, трещина. Скорей всего, в голове, но разошлось дальше. С весны вода накопилась, и полилось из-под мышки, слева.*

*Если б просто капало, можно бы как-то замазать. Но сказано: «уклон» — тут не замажешь, только обрубить. Как я угадал, как предупредил вовремя!*

Слетал с поста левый уклонист, обрубалась с поста-мента фигура; двое теперь стояли на камне. Невнятным пунктиром, словно кого-то таясь, набрасывал Симеон Кондратьевич шифр совершавшегося сюжета. *На ощупь, наугад, в гулкой пустоте, удивляясь и не понимая целого, с тревогой и любопытством.* Одно дело из поздних времен знать, во что вылилась история; изнутри всё неизвестность, потемки, блуждание, отчаяние и надежда. Капля протачивает в толще возможностей единственный прихотливый ход, остальные навеки слиты с мраком, их нет и как будто не было, но лишь как будто. *Я знал, что так будет, я думал, я хотел, я старался... Ну вот, говорил, еще будем чай пить?..* Остановленная шахматная позиция может восхитить хитроумной взаимосвязью, выверенной целесобразностью фигур: каждая поддерживает другую, защищает, перекрывает одни ходы и вынуждает другие; нарочно — попробуй такое составить, это выстраивалось из сцепленья ходов, которыми не ты один владел. А у истории не бывает одного-двух творцов, это ублюдок слишком многих родителей, стоит ли удивляться, что он оскорбляет любой отдельный вкус? Словно чьей-то насмешкой сцепленье листков все уводит нас, отбрасывает на поверхность событий, не подпускает к какой-то глубине — а мы не в силах отказаться от убеждения, что она есть, эта глубина, нам нельзя отказываться от себя, — и все пытаемся проникнуть через поверхность, как муха через стекло.

*Зачем тебе туда? Разве там лучше? Но манит и притягивает прозрачность твердого воздуха, и си-лишься пробить его головой, проникнуть за недоступный предел, в соблазнительную загадку, вместо того, чтобы пировать в комнате, где с блюда еще не доедено варенье.*

*Из самовара смотрела сквозь пенсне мордочка большеротой печальной обезьяны: перышки растительности вокруг увеличенных губ...*

(И кто же все-таки видится там, за самоваром

второй, не снявший даже в жару черной кожанки, отразившийся в остатке зеркала, вынесенного на двор среди прочей музейной мебели? Податливая мягкая почва не давала устойчивости, тяжелая рама накренилась, стекло, упрямо хранившее в сумрачной глубине воспоминание о кабинете и стульях с золочеными гвоздиками обивки, неохотно, как бы в полглаза, осколочком, согласилось принять чуждую фигуру: эспаньолка, пятнышко усиков — новый властитель судеб, музейный эксперт прибыл отбирать для Москвы остатки ганшинских ценностей?)

*Как то бывает, малая уступка не могла не повлечь дальнейшего, пришлось принять хотя бы частично хамскую обстановку с сараем и дровами.*

*То-то и оно. Не первый раз та же история. Или зажмурься, ослепни, тресни, или отражай, черт возьми, что показывают.*

*Надлом веков рождает такие лица, время, облюбовавшее для живописи своей Саломею, роковую плясунью, поцелуй в мертвые уста.*

*бледные ноздри утонченного выреза, пот болезненной прохлады на прозрачных, с голубизной, висках*

*запах уксуса, прикосновение тóски, в какой прозябают души где-нибудь между раем и адом, но еще не в чистилище, в преддверье не начавшейся еще жизни, а может, смерти не состоявшейся*

*Ну вот, говорил, еще будем чай пить?*

*...мы ухитрились при встрече даже не задать друг другу вопросов, которые висели в воздухе, как частицы парной духоты, так и не выпав, однако, влагой. Все казалось, нужно еще время, чтобы до вопросов дозреть. Нельзя же в самом деле так, между прочим, после двадцати-то лет, среди общих поверхностных междометий, разговоров о картинах и зеркалах, мебели и книгах. Отдаю должное виртуозности твоей, именно виртуозности, особой, женской какой-то уклончивости. Хотя и я был хорош. Начать следовало мне,*

я знаю. Все думалось, еще будет время. Увы, напоследок времени-то и не хватило.

Почему я не остался хотя бы на ночь? Могу повторить все деловые причины, они будут правдой. Но если ты скажешь, что я бежал (сам не зная, от чего) — возможно, я не смогу оспорить. Казалось, так уже далеко все бывшее между нами, обиды и недосказанности — в другом рождении, в другой жизни. Но если я бежал, чтобы не бередить себя, то достиг, пожалуй, обратного: теперь я чувствую, что не найду покоя, не объяснившись с тобой вдогонку, после прощания — и кто знает, не перед прощанием ли иным?

Я, видимо, оказался растерян, просто не готов к такой встрече. Фамилия, которую я знал по бумагам, с тобой не связывалась никак. Прими, кстати, запоздалые поздравления за все годы сразу. Я даже это упустил сделать, а наверно есть с чем. И не сочти обидой мою неосведомленность. Она лишь подтверждает, как основательно я был оторван от здешней жизни. Не только литературной...

При чем тут, однако, литературной? Писавший имел к литературе отношение? Не впервые перечитывалось это место, но сейчас вдруг пришло на ум, что вовсе не обязательно подразумевалась здесь перемена девичьей фамилии в замужестве. А может, псевдоним, ставший фамилией? Давным-давно. Встреча после двадцати лет неведения друг о друге. И адресат вовсе не женщина? Милашевич хранил письмо к себе?.. Ничто, кажется, не утверждало противоположного... Но почему таким знакомым казался почерк?..

Теперь я вспоминаю, что уже по дороге испытывал непонятное волнение. Даже не думал, что еще на такое способен. Было ли тут просто предчувствие встречи с памятными местами? Не знаю. Вряд ли. Прежде меня такие вещи не трогали. Но неужели предчувствие встречи с тобой? Удобное объяснение, однако остерегусь обмана. Было что-то еще...

Нет, сперва договорю все же то, что осталось между нами недосказано. Я даже на письме как будто оттягиваю. Надо освободиться. Не ради самооправдания, мне не в чем себя винить. Невелика для мужчины честь в таком признании, но выбор тогда был совершен не мною. Любила, а значит, выбирала только она, увы.

Я был пленен ее заботой, самоотверженной преданностью. Сыграла свою роль болезнь. Она тогда отрезала и продала косу, чтоб раздобыть деньги. Да что говорить. В ней было нечто, способное на время поразить воображение. Эта неподдельность чувств и фантастическое простодушие, внезапные порывы неутомимой энергии — и столь же внезапная прострация, эта способность чувствовать вкус пересоленной еды на чужом языке, угадывать произнесенную мысль, успокаивать боль — и податливость чужому внушению. Тут все способно вызвать суеверное восхищение. Я это хорошо могу понять. Но я же различал за этим и болезненную основу. Не то чтобы медицинский случай, выражусь так: состояние тела и духа, не похожее на то, которое принято считать нормальным и здоровым. Поздний ребенок, с трудом выхоженный, отрада несчастных родителей... Да тебе ли я стану рассказывать?..

Помнишь, как я впервые привел ее к нам на квартиру, совершенно не представляя, что будет дальше, надеясь более на тебя? Легкомыслие, возможно. Тогда все выглядело иначе. Мы с ней пригодились друг другу на время: она мне — хотя бы для прикрытия; я для нее значил, возможно, больше. Но ни о чем таком всерьез я не думал. Мы не были ровней ни по развитию, ни по образованию — ни по чему. Кстати, она потом оказалась весьма восприимчивой, прочла уйму, вообще проявила способности неожиданные... К чему я, однако, все это? (Решил писать, как пишется, и вряд ли стану перебеливать — решимость уйдет. Это из тех случаев, когда пишешь не столько другому, сколько чтоб самому разобраться в чем-то.) Да, стало довольно скоро ясно, что долго нам вместе не прожить. Правда, возобновлялись иной раз мгновения, когда мне казалось, что я люблю ее. Но именно мгновения. Счастья не было. Если тебе хоть сейчас это отрадно услышать — что ж. Испытывал я чаще неловкость, неспособность ответить на чувство.

Ты вправе, усмехнувшись, сказать — я даже предугадываю этот вопрос, я сам его себе задаю: может, я вообще не способен чувствовать? Не буду отвечать торопливо. Ты все-таки меня тоже знаешь. Равнодушным меня назвать никогда было нельзя, не правда ли? Мне знакомы были страсти сильные, страсти

истинные. Были влюбленности и увлечения. Наконец, она во мне что-то нашла, что-то почувствовала, это ведь тоже не так просто.

Конечно, что-то связывало нас и помимо любви. Я для нее много значил. Я был для нее как пророк, сказавший девице: «Встань и ходи!» Я сделал для нее то, что бессильны были сделать отец с матерью, я избавил ее от кошмара. (Эта история, оказывается, потом нашумела, о ней даже писали.) Я словно вывел ее из полусна в жизнь, но ты знаешь, как эта жизнь обернулась для нее с первых шагов. Я лишил ее привычной опоры, но не дал новой и порой невольно чувствовал себя в долгу перед ней — было и это. Было и чувство вины, и надежда что-то изменить. Она ценила меня, мой ум... Нет, именно способность к страсти — вот что она распознала во мне.

Я прежде всего не мог выносить лжи, это определило когда-то и наши с тобой отношения, и всю мою жизнь. Угнетение, нищета, чужие страдания — да, это все побуждало к действию. Но может, больше справедливости мне хотелось предельной правды. Эта общая страсть не давала мне употребить свои способности на цель положительную, простую, но частную. Мне ведь было от природы немало дано. В ссылке я имел репутацию энциклопедии и вполне могу представить себя каким-нибудь профессором, знатоком древностей. Чрезмерность требований мешала. У меня бывали минуты, которые я вправе назвать великими, говорю не для хвастовства — какое теперь хвастовство! Только вот победителем я оказаться не мог. Увы. Все по той же причине. Ничто исполненное и достигнутое не приносило окончательного удовлетворения, в минуту торжества лишь острее становилось томление неполноты, из каждого осуществленного мгновения хотелось поскорей ускользнуть; таким оно становилось сразу изжитым. Так бывает после опьянения любви...

А, понятно, что напомнил почерк: очень похожий был у Максима. Отпадает.

...вдруг заметишь прыщик на коже. Увы. Я, помнишь, в ссылке просил присылать мне духи, чтобы смягчать дурные запахи. Не в оправдание, а в пояснение замечу, что брезгливость эта не только физическая, я ведь и политики реальной, как оказалось, не выношу.

Уже в Париже не знал, куда бежать от этой закулисной кухни, групповых игр, интриг, соперничества, распределения средств, талонов на обед.

Мы развелись с ней почти сразу, как оказались за границей. Да, знаешь ли ты, что до этого у нас был ребенок, сын? Роды оказались тяжелые, оба долго болели, и потом все не могли оправиться. Я числился в бегах, она еще хотела следовать за мной, но мальчик был слаб, она ненадолго оставила его у своих стариков. То есть мы думали, что ненадолго, она собиралась скоро вернуться. А там стечение обстоятельств, война. Перед самой войной старики умерли, она узнала об этом с большим опозданием. Кто-то ей будто бы написал, что мальчик здоров и устроен: достоверно не знаю, мы к тому времени уже не виделись. Слышал, что она в Россию вернулась, но где и как нашла его? Жив ли он, чье носит имя? Не знаю и — суди об этом как хочешь — до сих пор не старался узнать ни о нем, ни о ней. Родители ее жили где-то в здешних местах... но опять же, кому я это говорю?

Вот, я написал и подумал: а вдруг за волнением моим крылась надежда нечаянно встретить здесь кого-то из них? Бессмыслица, безумие. Запретна даже мысль об этом. Такому, как я, вообще нельзя, наверно, иметь детей. Да по нынешним временам и его вряд ли обрадовало бы родство со мной. Не для таких, как я, эти времена. Впрочем, бывают ли времена для таких? Мне ведь даже словами не удавалось долго обманываться: ты счастливее, я мог в этом убедиться еще раз. Знаешь, я ведь иногда о тебе думал. И когда еще жил с ней, и потом. Это случалось в не лучшие для меня минуты. В минуты слабости и неуверенности, беспричинного смущения, когда, как ребенок, тянешься закрыть глаза и поскорей уткнуться в материнскую теплую юбку.

Нет, я ничего не хочу искать, ни на что не хочу надеяться, даже ничего не боюсь — ты знаешь, что и это не хвастовство. Чувства страха я был лишен патологически, и годы этого уродства не излечили. Выйдя невредимым из стольких переделок, я привык к чувству, что ничего со мной не может случиться больше, чем уже случилось. В конце концов всякая жизнь обречена на крушение, и больше, чем мысль о смерти, может испугать мысль о невозможности умереть.



Но тогда — что все-таки значило это волнение и это бегство? Откуда эта потребность тебе написать, что-то выяснить? Казалось, во мне уже не может быть этих чувств. Я ни о чем не сожалею. Хотя судьбы по меньшей мере трех человек оказались изломаны: моя, твоя, ее, — а может, еще и четвертая, о которой совсем не знаю. Не смейся над тем, что сейчас скажу: пока мы сидели за чаем, у меня все время было смутное ощущение — сейчас оно проявилось, и, пожалуй, я все же договорю...

## 10. Чужая слюна

Поверхностью кожи разделены миры. Когда не дано проникновения, как в любовном соитии, что знаем мы друг о друге?

трезвый и пьяный  
сытый и голодный  
мужчина и женщина  
разные возрасты  
разные народы  
разные времена  
жизнь и смерть

Чужим глазом увидеть выпуклое отражение: кровавые сосуды на белке, переменчивый цвет радужины и зрачок, как дыру, отверстие в бездну, где кишат звезды.

Вы думаете: дурачок слюнявый. Думаете, он устроен не как мы. А у меня такая же сложность внутри, и нежные органы, и таинственная жизнь соков. И я тоже субъект истории, даже именно я. Потому что именно со мной она происходит, для моих глаз в белых ресницах, для моего слуха, направленного в эфир, для ума, который ворочается во мгле медленно и тревожно.

Кто перенес свой глаз в другого, не может быть правым.

В юморе есть понимание и высота, и скромность перед Господом, догадка, что ты лишь касаешься чего-то, во что лучше до конца не проникать, и милосердие к тем, кто даже догадки этой не хочет.

*Зная толк в одиночестве, мы объясним одиночество других и утешим: у всех то же.*

*Общепонятно лишь годное для всех. Слишком личное не может быть таким же, как наше — зачем тогда нам оно?*

*Пусть икс будет единообразен в пределах системы, тогда он может служить основой гармонии. Несоответствие иксов ведет к разладу и столкновениям.*

*пусть волны все уравниют, как гальку на берегу*

*Возможность понимать друг друга сполна, без остатка и несовпадений всех уподобит Вась Васичу.*

## 1

Отчего был Антон так смущен в тот приезд новым чувством? Городок, привычный с детства, как собственная одежда или даже тело, вдруг словно остыл, чужой. Да, именно как старый пиджак, может, не бог весть какой, но удобно разношенный, приспособленный складками к твоим плечам, локтям, бокам, даже вполне приличный, просто провисевший зиму на вешалке — и ставший неузнаваемым: подкладка чужеродно холодит кожу, пропотевшая и где-то прорванная, карманы оттопырены, рукава неудобны, коротковаты, и засаленный воротничок неприятен шее. У тебя другая температура и глаз постороннего, оценивающего то, что еще в прошлый приезд воспринималось вне оценок или сравнений. Пятиэтажки в центре, перерытые траншеей улицы (постоянное обещание чего-то, вечная перерытость, грязь по щиколотку). Мусор, выброшенный за зиму на улицу, еще не просохший, был какой-то не прежний: печной шлак каменноугольный, ржавье, пластмассовая, резиновая гадость изменившейся цивилизации. Незнакомый возчик коммунхоза, сменивший покойного дядю Гришу, вез на телеге ящики с бутылками, на этикетках крупное название «ВИ-НО» — новинка районного производства. Телега на резиновых шинах — прогресс, нет, что говорить, прогресс. И в магазине новом, блестящем, с просторными кафельными секциями, надписи зачем-то на двух языках: «МЯСО — МЕАТ». Но почему не хотелось даже поиронизировать над пустотой под этими надписями?

Почему не тянуло последовать за афишей, обещавшей в парке новый аттракцион — катание на пони? Катание на пони, Боже мой! сказочная мечта детства! Но может, она лишь нам и нужна? Антон когда-то любил слушать песни из простенького репродуктора, хриплой черной тарелки; за бодрыми голосами представлялись ему юноши и девушки в белых спортивных костюмах, на ветру, среди знамен красочного парада; потом он впервые увидел телевизор и на экране — хор, певший знакомую песню, лысых толстых мужчин и некрасивых дам с двойными подбородками; из-за этого разочарования, наверно, он до сих пор не завел себе телевизора, хотя все собирался. Вот тоже: теперь в Нечайске над всеми крышами торчали крестовины и штыри, воткнутые в эфир, чтобы каждый был подключен к измерениям общей жизни и не чувствовал себя сиротой — тебе просто этого не дано. Тебе еще хотелось видеть Нечайск в дымке детского, юношеского простодушия, когда родители так успешно ограждали в общем-то домашнего, воспитанного мальчика от слишком ранящих впечатлений. После десятого класса Антон наезжал сюда разве что на каникулы, а потом в отпуск, уже вооружась легкой, усмешливой и удобной философией Симеона Кондратьевича. Вдруг почему-то перестал ощущать смысл и удовольствие этой возни в домах за палисадниками, в сарайчиках и огородах, от которых далеко несет весенней поливкой, в приозерных дворах, где смолят лодки для рыбной ловли, хотя после двух зимних заморов в озере выжили, говорят, одни ерши, жизни, где с утра идут на крахмальный завод, в контору или на стройку, мимо стенда с показателями сдачи молока по району, мимо афишки о сессии выездного суда над бульдозеристом Хреновым (который в пьяном виде вздумал косить своим бульдозером, как траву, телеграфные столбы вдоль дороги), а вечером — да, впрочем, и с утра тоже и в обеденный перерыв — с шумком умиления и мудрости в доброжелательной голове подолгу держат друг друга за пуговицы: «Ты человек и я человек, правильно?» Правильно, а ты эту мудрость утерял, потому что пить теперь опасаться из-за здоровья, а новой не обрел. Чужая слюна, и нет любовного единства с миром, вот и все.

Опустевший родительский дом промерз за зиму, сразу стал нежилым. Мама исполнила обещание, она умерла осенью, сухой, звонкой, прозрачной, когда воздух пахнет картофельной ботвой, печным дымом и палыми, но еще жесткими листьями, умерла в одночасье, легко, даже напоследок избавив сына от обременительного для его чувств присутствия, но в полной готовности, оставив подробные описания и распоряжения о порядке похорон, вплоть до того, в каком шкафчике взять изюм и рис для поминальной кутьи, расписав, какие вещи раздать соседям, какие оставить двоюродной сестре из Ярославля, если придет на похороны, и какие переслать ей все равно, если не придет, как поступить Антону с подушками и постельным бельем, чтобы не отсырели в нетопленном доме. Завещание заняло целую ученическую тетрадь и заканчивалось напоминанием сыну, чтобы на холоду не стоял долго без шапки, особенно если будет дождь. Почерк был корявый, полуграмотный до комка в горле. Антон увез тетрадку в город вместе с семейным альбомом и различной мелочью, а с другими, громоздкими вещами все медлил, не зная, на что решиться. Надо было, наверное, продавать дом, чтоб не погиб без ухода. Печка, растопленная с трудом, согревала лишь временный воздух, но не промозглую плоть жилья. Даже запахи, выстуженные, разлагались и подгнивали, как в нечищеном погребе, прокисал добрый хлебный дух, который мама приносила с собой из пекарни и которым здесь все было пропитано; это ранило острее, чем порча вещей, к которым прикоснуться можно было лишь как к мертвому охладелому телу, чтобы заплакать над безвозвратной жизнью. Мертв был театральный бинокль, выменанный у эвакуированных на хлеб; мама прятала его, не позволяла трогать, бинокль напоминал о погибшем Алеше, старшем брате Антона, это он когда-то позарился на безделушку, мама бы не взяла (какой здесь театр!), она бы дала хлеб задаром, да мальчик вцепился, упросил, заставил ее терзаться угрызениями совести, а сам и поиграть не успел — в стволе соседского ружья уже притаился заряд несчастного случая. Теперь в руках взрослого было вождеденное

перламутровое чудо, стали доступны богатства и власть — смотри, сколько хочешь, приближай или отдаляй обстановку. Обои цвета плохого, уже несъедобного кофе, на которых разрисовывай теперь сколько угодно случайные пятна под новооткрытые острова. Пара стульев, он и она, почти одушевленные некогда существа со своими характерами и судьбой. Шкаф, за которым был потайной закуток, пристанище уютных мыслей, волшебных шорохов и теней, а теперь лишь плесень да мушиная мразь. Будильник, который еще можно было завести и слушать сколько угодно, держа трепещущее тельце в руках, наблюдая, как поворачивается на его затылке кольцо. Пружинная кровать, на которой, возможно, начиналась твоя жизнь, никелированные шишечки, незвклидово пространство художника, где так увлекательно было, еще ничего не зная о Милашевиче, примеривать себе облик из переменных частей, то с марсианским лбом, то с подбородком неандертальским. Потускнели шишечки, почернели и не отражали уже ничего. Где свежая акварельная влага? Где цветные стеклышки детства, одухотворявшие простую окрестность? Испустил дух домовой, разлагался где-то его крохотный трупик, и ни один предмет уже не перенести было на новую квартиру — не приживется.

### 3

Да, новая квартира — вот ведь еще какое успело случиться к тем временам событие. Дом на улице Кампанеллы вдруг объявили назначенным к сносу, причем спешному, на его месте не терпелось встать целому Дворцу быта. О жизнь! о суета! о борьба, вражда и счета, жалобы в суд и помои, подброшенные в соседские кастрюли! Пока оформлялись ордера, жильцам поспешили даже выдать ключи, чтоб устраняли недоделки. Вот когда кандидат наук оценил предусмотрительность соседей: его собственная мебель никак не переносилась в комнату с гладким пластиковым полом, с ровными стенами и потолком — ну, пусть даже относительно ровными, можно было пренебречь вздутиями, трещинами в углу, потеками скверной побелки и прочими подобными мелочами; без этого не бывает — но все-таки! Разве сравнить! Даже книжные

полки Антона представляли собой старые доски, прилаженные к деревянным стенам — на бетоне их было не укрепить. А главное, от сопоставления с современной коробкой жилья все так усохло, перекошилось, такая обнаружилась во всем провинциальная — да, именно провинциальная — убогость... старая кожа, из которой вдруг вылез, смотришь смущенно: пора, пора обновить жизнь. Чтобы поскорей улизнуть от соседей, Антон даже не дождался подключения газа, перевез на легковом такси крохотный свой холодильник «Морозко», перевез посуду, белье и одежду в коробках из-под телевизора и заграничной вермишели — холостяцкие немудреные пожитки, перевез книги и рабочие бумаги раньше полок и письменного стола (который тоже стал разваливаться, изъятый из привычного простенка), все оставил пока нераспакованным, но один раз уже переночевал в новом доме на раскладушке, дыша запахом масляной краски и неясной еще новизны. Дом возвышался на пустынной окраине, называвшейся прежде селом Кулижки — башня цвета слоновой кости (если опять же пренебречь потекшей краской). Из окна восьмого этажа открывался простор в бетонных сталагмитах. Пустота небес, новый силуэт земли. Маленькая церковь, возносившая когда-то божественные главы над людьми и жилищами, смотрелась теперь как безделушка, сверху вниз. Здесь, говорят, было кладбище, потом свалка металлолома, в церкви помещалась контора; грузовики еще вывозили останки ископаемых механизмов. Растительность, если прежде тут и была, переродилась, вытравленная стройкой, в бетонные грибы или, может, кактусы. Знаем ли мы вполне, как еще скажется на наших душах этот новый пейзаж, — думал Антон, глядя в голое окно без форточки, озирая незнакомое, не освоенное пока пространство, — это жилье без чердачных и запечных тайн, без дворовых сараев, чуланов, крылечек? Он решил, что новую обстановку подбирать будет постепенно, не бездушным разовым гарнитуром, а естественно обрастая вещами, приспособленными именно к нему и к этому месту (деньги на сберкнижке имелись). Неожиданное нечаяское впечатление придало его мысли новый ход.

Он приехал в город воскресным утром, чтобы навестить родительские могилы, но по пути из дома заглянул в отцовский пришкольный музей. Новая директриса Панкова Лариса Васильевна передала, чтобы Лизавин освободил помещение, понадобившееся для других целей. Экспонаты, представляющие мало-мальскую краеведческую ценность — например, доисторические кости и черепки, найденные когда-то в Козьем овраге, — размещены были по кабинетам, остался разный хлам, которым предлагалось распорядиться кандидату наук. Музей был сравнительно недавним увлечением покойного отца; прежде он не особенно интересовался местной тематикой, на своих уроках географии охотней рассказывал ученикам о путешествиях по дальним странам, приспособляя для первого лица истории из довоенных подшивок «Всемирного следопыта» или «Вокруг света», и сам жил, казалось, цветными воспоминаниями о местах, в которых никогда не бывал, о песчаных бурях и пустыне Гоби, о нездешних казнях, о тревогах портовых городов, о ночных голосах в джунглях — там было его душе свободно и нехлопотно. Музей начался со случайной находки этих самых черепков, потребовавших места, к ним присоединились, как водится, образцы местных почв и кустарных изделий, в качестве предметов старины экспонированы были лапти, в которых еще недавно ходили рабочие на здешних торфоразработках, колотушка сторожа, деревянная банная лохань и разошедшееся корыто, которое вернула-таки старухе золотая рыбка — так пошутили они оба, когда Антон однажды и как-то наспех наведалься в крохотную, с темным оконцем комнатушку; ему показалось, что отец немного стесняется его ученого интереса и бедных своих экспонатов; поэтому он заметил поощрительно, что обиходные предметы даже недавнего времени как никогда быстро становятся в нашем веке этнографическими реликвиями, не зря Милашевич интересовался ими как музейной темой. «Да, да, я читал у тебя, — замылся старик. — Может, как-нибудь поговорим. У меня тут еще запасник, разместиться негде». Не успели поговорить, и только теперь впервые ступил Антон Андревич в этот запасник — каморку вовсе без

окон, с полками по трем стенам, загроможденную, как склад утиля.

5

В свете пыльной чуланной лампы перед ним стали проступать из этого нагромождения, как из беззвучного детского сна, предметы полужнакомые, исчезнувшие из дома, из жизни, казалось бы навсегда, за ненадобностью: высокий, под уголь, уют с деревянной ручкой, чья тяжесть еще помнилась руке (им надо было помахать, чтоб поддержать жар); керосиновая лампа с разбитым стеклом, еще распространявшая вокруг себя сладковатый вечерний запах, что заполнял комнату, когда выкручивался фитиль и черные хлопья, как насекомые; летали в воздухе, оседали на занавески, на белые подушки; клеенчатый коврик, висевший когда-то над кроватью, с желтым львом и полосатым тигром на берегу синего лебединого пруда, где распускались кремовые розы, похожие на пышки, и на том же стебле — красные колокольчики, цветы утренних полудрем. Над безвкусной нелепостью этого кустарного изделия он пошутил как-то, приехав уже студентом, в следующий свой приезд коврика уже не увидел, он исчез и объявился теперь неожиданно, как объявилась исчезнувшая еще раньше страховидная кошка-копилка с мордочкой усатого мушкетера, пышным алым бантом и напомаженными губками, бумажная пищалка «тещин язык», которая умела оживать от дыхания и снова скручиваться спиралью; остаток трехцветного карандаша; резинка для поддержки носков; одинокая галоша «Красный треугольник» — экземпляр вымирающей обуви, ради которой пострадал отец в последней своей очереди; и к скомканной шкурке неузнаваемого зверька булавкой была пришпилена табличка «Чулки фильдеперс».

6

Антон обнаружил здесь на полках тетрадь с описанием исчезнувших игр: бабки, свайка, казаки-разбойники — всего восемьдесят шесть номеров; и сами бабки — кости съеденных, но когда-то живших животных; кастрюлю с приваренной дужкой и замком —



памятник коммунальной кухне и неумышленный шедевр поп-арта; бумажные мятые цветы на проволоке; авторучку величиной с сосиску — личную вещь покойного актера Меньшутина, его же шляпу и трубку в виде резной головы Мефистофеля; папку с эскизами местного художника Звенигородского к спектаклю о Золушке. У стены стояла мишень из тира — вся в оспинах от неточных пульков рожа капиталиста (бац — и перевернулся вниз цилиндром); свернутый в рулон фотографический холст с прорезью для лица; в тесноте его нельзя было развернуть и посмотреть который: всадник среди гор или матрос на пароходе. Здесь оказался также альбом любительских фотографий, иногда подписанных: серые застывшие лица, одежда в мелких мягких складках выглядела многократно стиранной и в то же время как будто пропитана была засаленной пылью. Комсомольская ячейка г. Нечайска почему-то представляла гимнастическую пирамиду: коренастые тела, толстые шаровары, нижние симметрично поддерживали верхних. На других снимках слушали радио (ящичек с двумя лампами на темени), жгли иконы на площади Свободы — за костром видны были знакомые двухэтажные дома, чайная, монастырская колокольня поодаль. Под непонятным решетчатым сооружением на фоне белесого неба карандашом было пояснено — если это считать пояснением: «Башня для полетов». Между страниц застряли бумажки: обертка сливочного мыла «Секрет красоты»; газетная вырезка об австралийских аборигенах, которые стали вырождаться и сходить с ума без своих колдунов и суеверий, без смысла первобытной жизни, потому что замены ему не обрели; литографская иконка с точным изображением знакомой фантичной красавицы, только эта держала у губ длинный указательный палец, словно призывая к молчанию; тетрадный листок в клетку, исписанный на четверть вмятым учительским почерком отца. В заголовке стояло: «Объяснение музея». Лизавин начал читать, и в груди у него защемило.

7

«Прочел Антошину статью, — писал отец, — а ночью мне приснился сон. Я хотел рассказать, но это

объяснить, наверное, невозможно. Будто я пробираюсь на ощупь в темноте крошечной, но чувствую, что это в родительском доме. Не знаю почему. Пальцы касаются предметов, гладких, шершавых, не могу сказать, что это, но они все не просто знакомы, а как будто живые. Единственная опора путеводная, они могут вывести из потерянности и страха. Как будто умывальник холодный с соском, кружка со свечой внутри, бахрома скатерти, тарелка с обитым краем (помнится, я уронил). Потом еще что-то выпуклое, костяное, округлое, я трогаю и вдруг понимаю, что это голова батюшки... Нет, невозможно выразить. Дело не в описании, а в чувстве. Я проснулся с язвой тоски, вины и потери. Хотел рассказать Антоше и не знал как. Неужели это можно понимать только для себя?»

## 8

Боже мой, боже мой, думал Антон Андреевич, не отирая слез. Мы не успели поговорить. И с ним тоже. Но не во мне же одном было дело, не только в лености поздно пробудившегося интереса, не только в вечной суете, отодвигавшей все на потом. Отец сам вольно или невольно уклонялся от откровенности, как будто стеснялся — вроде бы разговорчивый, простодушный, словоохотливый, особенно как подвыпьет; но бывало чувство, что он все к чему-то еще подбирается, все хочет еще что-то сказать, намекает, кружит, уводит в сторону и в последний момент словно замыкает створки. Однажды за столом он стал вспоминать, как году в тридцать втором задумал учиться пасечному делу. «Я к пчелам уже без сетки ходил, меня уважали, не трогали. Хорошо! Живи себе на отшибе, ничего не бойся, никаких анкет». Тут мама почему-то строго одернула его, он смешался, перевел разговор, и лишь с задержкой на много лет созрел у сына вопрос: «Чего было бояться-то?» Была, была у страха этого предыстория. Андрей Поликарпыч уехал из родимых мест, где знали его отца, сельского батюшку, при пчелах укрывался недолго, слишком хотел поступить в учительский техникум, в анкете отягчающее происхождение скрыл, объявил себя сиротой, сыном учителя (что было в своем роде правдой, поскольку батюшка учил

в приходской школе), а потом спрятался в Нечайске, где тайну его узнала лишь жена, и то не сразу. Когда в игривом настроении, под хмельком, отец иногда принимался рассказывать историю своей женитьбы: как, дескать, обманула его местная сваха, тетя Паша, подсунула приезжему учительнице невесту без образования, да еще хроменькую, а он сразу хромоты не заметил, потому что в день смотрин видел ее лишь сидящей с книгой в руках (причем книгу она держала вверх ногами, утверждал отец), — так вот, когда маме начинали досаждать эти байки, она могла оборвать их одним намеком на куда менее безобидный обман, жертвой которого оказалась. И отец умолкал, как бы признавая без спора, что благодетельствованным и осчастливленным в этом браке был он. В тощем семейном альбоме не имелось фотографий этого деда и вообще отцовских родственников, только маминых; может, не добрались фотографии до той глухомани. Антон поступал в педагогический институт с легендой наследника учительской династии. Мама из привычной, уже превеличенной осторожности считала благоразумным и дальше на всякий случай не открывать лишнего. Она всегда берегла его от чего-то: от болезней, от острых железок, от воды и огня, от обременительных переживаний, от ненужного знания. Мы наследуем гены родительских страхов, хотя сами страхи давно утратили смысл, а может, и никогда его не имели. Мы хотим больше спокойствия, чем тревожной достоверности, приученные бояться происхождения и родства; мы сочли бы справедливым действительное осуществление принципа: «Сын за отца не отвечает» — и вдруг осознаем, какая за этим утрата. Вот чем, наверное, томился отец — он тоже! Не видя уже возможности вернуться к родительской вере, к Богу, которому молился в младенчестве, он запоздало пытался нащупать, создать, удержать какую-то опору хотя бы посредством вещей, твердых, но уязвимых и тленных, как бумажные цветы. Антону казалось, он понимает, почему объяснение музея отец пробовал начать с чувства горького сна — и не закончил, не договорил. Наверно, отшучивался или, по обыкновению, что-нибудь сочинял, когда его спрашивали, зачем он собирает по городу старье, зачем улавливает в пробирки, взятые из химического кабинета, во флаконы с притертыми пробками запахи потрескиваю-

сих березовых дров, печного угара, колесной мази, лошадиного пота. А сыновьего интереса стеснялся, может, больше, чем постороннего. Может, он внуков ждал — с внуками проще, они без насмешливого предрешения воспримут кустарные коврики и песни ушедшей, не своей юности; с ними нет ни счетов, ни споров. Не дождался; и этим не порадовал его сын, нелепый холостяк — на четвертом-то десятке! — из комсомола выбывший по возрасту, а в партию не вступивший, оторвавшийся от земляков, обособленный даже от сожизнителей — одиночка в пространстве и времени.

9

Лизавин вышел на улицу, ослепленный до слез после чуланной темноты солнцем, с ясным решением в следующий же приезд перенести отцовский музей к себе домой, а потом, сам не помня зачем, оказался на колокольне бывшего монастыря. Монастырь был старинный, трехсотлетний, но былой постройки совсем не осталось, последнюю колокольню и церковь обновили в восьмидесятых годах прошлого века, специально собирали пожертвования, чтобы заменить неприглядную древность башенками в псевдорусском стиле, с узорами из красно-белого кирпича на манер вышивки крестиком. Отсюда был далеко виден город — до леса, до бетонных надолбов фаянсового завода с кирпичной датой на высокой трубе: 197 — последняя цифра ушла за край видимости, да она все равно не имела значения, потому что стройка оставалась еще не закончена. На Базарной площади под слоем ушедших в грязь булыжников, возможно, еще хранился пепел сожженных икон, а ниже, если копнуть, погрузившиеся в ископаемую глубину мостки, настилы, торцы, а там черепки и зола былых поселений. Над озером, среди голых деревьев городского парка с вороньими гнездами просматривался помост танцплощадки с провалившимися за зиму половицами, люльки качелей в облупленной ржавой краске, и где-то там круг, по которому будет бегать работяга-пони. На мостках женщины полоскали белье в стильной воде. Небо над озерным простором было громадное, в три обычных неба, вытянутые облака плыли по нему, как длинные серьезные рыбы, обведенные светлым контуром. Ветер

напевно шумел в ушах, доносил издалека голоса женщин, крики ворон, запахи влаги, клейких листьев, свежей зелени и дыма — вечные запахи, вечные звуки, и что-то пульсировало, дышало в воздухе. Цокали за озером копыта, оголенные берега заросли, как встарь, щетиной глухих лесов, деревянный острог высился над обрывом, где когда-то горел сигнальный костер, передавая весть о враге, и перед языческим истуканом приносились человеческие жертвы, по едва различимой дороге неспешно скакали всадники жечь разбойничье гнездо князей Ногтевых-Звенигородских. Перегнойный слой покрыл пожарище, кровь, впитавшись в землю, стала пищей корням, окрасила ягоду землянику, только в дыхании ветра, в ноздрях, в памяти растворился запах паленой роговицы, недоумения и страха. Ушли в труху и в мох кельи заозерных старцев — вот стали редеть леса, земля кроилась на лоскуты, набухали, густели прожилки дорог в одеревенелых наростах селений — здесь однажды прошло войско взбунтовавшихся крестьян с пестрядинным красным знаменем; тело их предводителя, повешенного в Тотье, привезли и выставили потом на площади в Нечайске, потому что здешние мужики не хотели верить в его смерть — да, может, и увидев почерневшего, с лицом, исклеваным птицами, до конца не поверили; тут жили всегда своим, местным знанием. Вода и ветер занесли песком и глиной сползшего с обрыва идола, по новому слою земли прошли новые люди, в армяках, лаптях, шинелях, в сапогах и галошах, в телогрейках, в плащах «болонья». Медленно, потягиваясь и почесываясь, уходил от сна богатырь, пролежавший тридцать лет и три года на распутье захолустных дорог и очнувшийся с чувством не успевшего повзростеть подростка. К запаху рыбы, вара, навоза, дегтя подмешивался бензиновый дух, ветер нес его со стороны оврага, превращенного в песчаный карьер. Как-то весенний паводок подмыл здесь склон и открыл многолюдное захоронение; во всех черепах на лбу было по лишней дырке. Кости тут же перевезли и закопали экскаватором в лесу, на четвертом километре, породив в городке недолгие, вполголоса, толки о старинных расстрелах, но определенно никто ничего не утверждал, происхождение братской могилы осталось для жителей темным — как темной была история улыбчивого ис-

тукана, чье каменное тело на свою беду открыл под обрывом покойный Андрей Поликарпыч. Приезжавший из Москвы доцент с ходу исключил мысль о его древности: у подлинного божества не могло быть на лице усмешки, вообще никакого выражения, смеяться могла лишь нечистая сила, а ей изваяний еще никто, как известно, не ставил. Но кому и зачем могла понадобиться подделка? Какой-то интеллеktуал из местных пустил словечко, что Поликарпыч сам из 'музейного патриотизма вытесал для себя эту древность. Надо будет перенести и поставить камень в изголовье отцовской могилы, вернулся к мысли Антон. Пусть стоит памятником ему, он этого хотел. В стороне кладбища, за пятиэтажками дымила черная железная труба котельной. Беззвучный самолет тянул нитку из белого облака.

## 10

Пришлось одолжить у знакомых лопату и грабли, чтобы немного поправить могильные холмики — сам не сообразил прихватить. В следующий приезд, все в следующий приезд. И осмотреть поближе конторское здание — бывшую кладбищенскую церквушку, а главное, деревянный, тоже конторский домик по соседству, там в давнишние времена жил поп с мозолистыми руками, и, может, Милашевич в самом деле бывал здесь. Сад за 'конторой выкорчевали, расчистили место для новых могил, раскопали, освободили в дальнем углу безымянные, ничейные участки. Нет вечной памяти — нет и вечного упокоения. Прервался чей-то род, новые требуют места. Кладбище наглядно напоминало про ход времени: сегодняшней день — это крайняя и лишь потому самая свежая могила в ряду других, но вот прошел год, выросли вокруг новые утраты, твой холмик затерялся уже посередке, как воспоминание, надо дорожку к нему топтать. Сейчас крайним был участок супругов Недрышкиных: он вздумал выбросить из окна пятого этажа старую тумбочку, чтоб не таскать по лестнице, жена в этот момент как раз выкапывала под окном проросток шиповника, чтобы пересадить; в больницу он с ней не поехал, в тот же вечер повесился на потолочном крюке. Они жили счастливо и умерли в один день. Повсюду хлопотали:

подновляли ограды красивой серебрянкой, убирали прошлогоднюю траву, сыпали на блюдца зерна для птиц, печенье «Шахматное», конфеты в обертках и без, наливали свежую воду в молочные бутылки и банки, чтобы поставить туда пластмассовые цветы, стойкие к любой погоде — дивное изобретение века, не хуже бывших фарфоровых роз в бывшем склепе князей Звенигородских, над которым еще высился однокрылый покосившийся ангел. Было многолюдно и как-то празднично. Давно не собиралось на кладбище столько народу. Принаряженные, иные даже при галстуках, хотя из-за грязи и в сапогах резиновых, в рыбацких ботфортах с отворотами, женщины как бы в облачке духов, супруги их — скорее в перегарном аромате, но тоже праздничном, майском. Кое-кто принес крашенные, как на Пасху, яйца. Правда, Пасха три недели как прошла, но в городе распространились смутные сведения про день, который назывался то ли Рахманским, то ли весеннего Николы, когда будто бы полагалось поминать такими яйцами покойников; при этом считалось правильным катать яйца на могиле, а потом зарывать в землю. Была, правда, другая версия, будто яйца достаточно просто покрошить на холмике. На таких распутьях в прежние времена зарождались секты — но можно было ведь и совместить толки, то есть, покатав яйца, зарыть их в крашеном виде, как иные, поглядев друг на друга, и делали; если кто сверху следил за обрядом, считали, видимо, они, он сам мог из запаса отобрать для себя что надо. Главным был захвативший многих порыв прийти сюда в этот новоявленный день, не известный никакой церкви — не осталось под боком попа, чтобы посоветоваться, до ближайшего ехать было четырнадцать километров, но туда в церковь если кто и выбирался, то лишь по нечастым надобностям, а для постоянного обихода выявились в городке новые авторитеты. Первой была Шелекасиха, служительница городской бани. Это она объяснила и про весеннего Николу, и про яичный обряд, она знала, что, если на Ивана Постного поститься, весь год голова не будет болеть, могла подсказать, какое соблюсти приличие на свадьбе ли, похоронах — многих уже тяготило незнание, как ступить и что молвить. Нельзя ведь, чтобы каждый шаг требовал личного напряжения и решения души. Вдобавок Шеле-

касиха издавна гадала на картах, а занимаясь в бане резкой мозолей, была причастна и к врачеванию: нарывы могла, например, снимать голый рукой. По медицинской части у нее, правда, уже объявился конкурент из приезжих, некто Иван Смурной, обладатель какого-то диплома (никому, впрочем, не предъявлявшегося, потому что устроился он в потребсоюзе сторожем), и, что куда важнее, книги «Наука невидимых сил» — этот лечил магнитом и проповедовал вред железобетона, который задерживает и искривляет необходимые для организма волны. Оба они тоже присутствовали на кладбище, стояли среди приверженцев недалеко от входа, в том углу, где уже готовилось к новому употреблению место, освобожденное от чьих-то забытых костей — не Милашевича ли? Кто знает. Птицы с веток смотрели на людей глазами покойников.

## 11

В тот час уже готовился выйти из дома пенсионер Бидюк, бывший бухгалтер райфо; уже перекусил простоквашей с хлебом — здоровой научной пищей одинокого старика, уже отпил на дорогу молодящей жидкости из двухлитровой банки со слоем белой плесени, называемой гриб; уже с трудом помочился перед уходом, выдавив несколько капель, и почистил последний раз щеткой темно-зеленую шляпу-тирольку с объеденным перышком птицы, родившейся раньше него, — загадочный человек Бидюк, когда-то, в былые годы, пока не ослабели глаза и не начала трястись голова, любивший наблюдать жизнь города, как из скворечни, из башенки в своем доме посредством морского бинокля с шестнадцатикратным увеличением; он наловчился даже угадывать слова, как глухонемой, по шевелению губ и все копил неизвестные никому выводы, что-то писал у себя по вечерам — Бидюк, который перечел в библиотеке все книги насчет разведок, секретных служб и, видимо, проник в первопричину многих, на взгляд поверхностный как будто стихийных, на деле же управляемых сознательными силами событий, будь то колорадский жучок или обмеление озера, — Бидюк, который выяснил и пустил на всю страну немало подноготных сведений, из числа тех, что не для всех



сообщаются напрямую в газетах, например, как выбрали Сталина в генералиссимусы на закрытом совещании мировых генералов, том самом, где получили свои звания и Франко и Чан Кай-ши. Теперь он интересовался чем-то другим, чуть ли не космического масштаба, имел картотеку, делал выписки из газет и журналов, что-то подчеркивал там разноцветными карандашами, выстраивал схемы со значками и стрелками, но о сути своих занятий отпуская разве что многозначительные, не слишком внятные намеки, которые в былые времена могли довести собеседника до сумасшествия. Теперь, пожалуй, они впечатления не производили; поумирали сверстники, готовые подозревать за этим опасным занудой какое-то секретное и, может, подноготное знание; новые им не интересовались — одиночество порой сосало пенсионера, хотелось найти собрата по разуму и по духу — но не в Нечайске же, среди рож, синюшных от пьянства и похабного ржания. Вы живете в области, вы себе не представляете, — говорил он Лизавину, которого встретил по дороге с кладбища; встретил случайно (прибыв в город перед войной холостяком, он так и не обзавелся здесь своими покойниками) и заговорил экспромтом, по старому знакомству, но вообще Бидюк давно присматривался к этому кандидату наук, которого помнил еще мальчишкой, даже сходил к нему на платную лекцию за двадцать копеек (Антон Андреевич не подозревал, как возрос его престиж в родном городке после того, как он приехал сюда однажды за казенный счет с печатной афишей) и послал с записочкой вопрос почему-то о Тунгусском метеорите; полушутливый ответ лектора не удовлетворил его, и все же в нем был намек на понимание. Вы не представляете, как трудно интеллигентному человеку среди этого хамства, отупения, мордобития, матерщины, среди людей, которые даже не способны задуматься, зачем их жизнь. Дикость, разврат, суеверия, как в мракобесные времена. В Сарееве — знаете эту деревню за озером? — объявились опять колдуны. То есть они сами считают себя колдунами, сами верят и им верят. Я лежал в больнице с одним, у него обе руки были в гипсе, затянуло в пьяном виде под шкив, но он считал, это сосед-конкурент ему устроил. Да что там! Молоденькая сестра боялась стереть ему с лица пот — сам он не мог. Боялась порчи, вы представля-

сте? И поощренный молчаливым вниманием собеседника, Бидюк стал рассказывать про какую-то обнаруженную им книгу, где описывался совершенно уголовный случай массового психоза именно в этом Сарееве, в начале века, причем центром культа оказалась некая девица, действительно, между прочим, заслуживающая внимания. «Как фамилия?» — неожиданно сам для себя задал Лизавин глупейший вопрос, какой только был возможен, и переложил из руки в руку портфель; он слушал докучного пенсионера вполуха, думая о своем. К счастью, Бидюк этого не понял. «Который писал? Наизусть не помню, но могу посмотреть. Они ведь почему избрали наши места своей, так сказать, явкой? Одной из нескольких, конечно. Во-первых, потому, что именно глушь, в стороне, так сказать, от цивилизации». — «Кто это они?» — наконец попробовал сосредоточиться на ходе его мысли Антон. — «Ну я же к тому и подвожу, Антон Андреевич. Тут все одно к одному. Явно здесь был и резидент, так сказать, ихний оставлен, надо было к нему время от времени наведываться. Таких визитов было минимум восемь, я вычислил! Вот сопоставьте дальнейшие факты»... — Бидюк оглянулся, не может ли их услышать кто посторонний — и к досаде своей, убедился, что именно может: с Тургеневской улицы выходил им наперерез Костя Андронов по прозвищу Трубач, заведующий мастерской по ремонту радиоаппаратуры и давний знакомый Лизавина — он уже махал приветственно рукой и окликал Антона, так что дальнейший разговор стал для Бидюка невозможен, не пришлось ему в тот раз изложить кандидату наук удивительные факты и выводы, объясняющие так много в нечайской жизни и даже в мировой истории; с досадой отступил пенсионер в сторону, отложив заветный разговор до лучших времен.

12

Трубач шел с новой женой, Клавой; знакомя, он назвал Антона доцентом, чтоб видела, какие у него знакомые, и даже сам в первый миг чуть не сбился на «вы».

— А я и не знал, что ты женился, — сказал Лизавин, не понимая, откуда эта горошина в горле.

— Так всего месяца три.

— А на вид, я бы сказал, все шесть,— пошутил кандидат наук, кивнув на округленный живот женщины. Шутка была немного рискованна — но ничего, такому человеку позволялось. Трубач даже рассиялся, довольный, и Клава улыбнулась, хотя потупилась малость. Она была удивительно похожа на мужа, такая же широкая, впрочем, уже и отекая слегка. По ее лицу с выщипанными бровями можно было без паспорта вычитать происхождение и склонности домовитого характера, и принадлежность к сословию буфетчиц. Ах, как сохла она девчонкой по этому обормоту, недостижимому красавцу, первому парню с Тургеневской улицы, как плакала из-за его внезапной, нелепой женитьбы на Зойке Меньшутинной, чувствовала, что не для нее он, и она не для него, но вот сумела дожждаться, выдержала незамужнее состояние (хоть и не совсем ее была заслуга, что оно затянулось, и не так уже выдержала, да Косте не нужно было о том знать), зато первой среди прочих уловила миг растерянности, когда удрала от Трубача его чокнутая — а кто мог уловить это раньше? кто следил так за его жизнью? кто способен был использовать момент с практичностью женщины, которая всегда лучше знает, что действительно нужно человеку, которая в буфете у себя умела, как фокусник-виртуоз, подбросив в воздух одно яйцо, делать из него на сковороде глазунью в три глаза? Теперь все утвердилось на местах, он уже чувствовал, как ему повезло, ей надо было только поддерживать это чувство, следить за ним бдительно, чуть свысока.

— Это конечно,— признал Трубач.— С оформлением задержались. Развод время занял.

Ну, конечно, развод. Значит, он видел ее. Как глупо было не понять сразу этот комок в горле.

От приглашения в гости, на свеженькие пельмени, Антон сумел отказаться, договорились в другой раз — пора было на автобус; но Клава сама предложила мужу проводить приятеля. «Может, в «Озерное» зайдете, пивка выпьете в честь встречи». Костя глядел ей вслед, сияя, гордость была в этом взгляде: а? у всякого ли такая баба? Все понимает. Хоккей по телевизору — не ворчит, не гонит, сама подсядет, посмотрит, и тоже с пониманием, обсудить можно. А пельмени у нее! —

но ведь не в них дело, пельмени многие умеют. С ней чувствуешь вкус жизни, простой вкус, когда ты простой мужик и приятель твой простой мужик, пусть даже доцент...

— Зойка? — расслышал он, наконец, вопрос.— Что Зойка? Я же говорю, развелись. Виделись у вас в городе раза два... нет, три. Я ей вещи отвозил, пальто демисезонное, деньги.

— Деньги? — переспросил Лизавин механически, просто чтоб не сказать чего-то другого. Трубач понял по-своему.

— Да, я тоже боялся, что не возьмет. С ней ведь не разберешь. Взяла. У нас еще пианино ее осталось, так она пока без квартиры. Снимает. Собиралась вроде в больницу устраиваться. Санитаркой.

— Санитаркой? — (Значит, она живет в городе, у нее есть адрес, и Костя, наверное, его знает.)

— Я тоже говорю ей, чудачка,— с готовностью поддержал Трубач.— С восемью классами не можешь найти другой работы? Даже почти с девятью. Ну, ей, говорит, обещали послать на какие-то курсы и полторы ставки. Обманут, боюсь. В санитарки-то нынче даже бабки неграмотные не очень идут, вот нашли ду...— он осекся.— Ну, что с ней говорить. Я уже не советчик.

(Значит, она говорила с ним. Все-таки говорила, он слышал ее голос и не удивлялся? Не забыть про адрес. Только не прямо, конечно, спросить, а как-нибудь мимоходом, окольно.)

— Я, может, чего не понимаю,— качнул головой Андронов и усмехнулся каким-то своим мыслям.— Я простой мужик. Нет, ничего о ней не скажу. Просто разные мы, наверно, люди. Теперь даже не вспомнить, зачем было так? Будто во сне, ей-богу. Как наваждение какое. Вот с Клавкой все понятно, и она меня понимает... Я простой мужик,— повторил он с видимым удовлетворением.

Два пацана, лет шести и восьми, бежали к ним, расплескивая лужи резиновыми сапогами.

— Дядя Костя, дядя Костя!

— Сделал, сделал,— сказал им Андронов. Достал из кармана жестяные свистульки, отдал. Мальчишки опробовали переливчатый звук и побежали дальше, едва вспомнив, что надо поблагодарить.— У нас тут ездит один на телеге,— пояснил он Антону.— Тряпье

берет, утиль разный. Ребята ему несут, а он расплачивается такими свистульками. Со взрослыми крышками для консервирования, а с этими — свистульками. Но не всем хватает. Одни бегают свистят, другие завидуют. Несправедливо. Ну, они ко мне: дядя Костя, дядя Костя! Знают, что я все могу...

13

Фью-лю-лю, выводили свистульки наперебой свою нехитрую музыку, фью-лю-лю. Солнце на небе, грязь на земле, в печке огонь, дым из трубы. Фью-лю-лю. По холодной воде, по сияющим лужам, как по ярким морям, в сапогах, только брызги блестят, да по стенам домов пляшут блики. За промытым окном на подоконнике стоял кораблик из сосновой коры с прозрачными полиэтиленовыми парусами, рядом отряд пластилиновых раскрашенных индейцев. Чистота стекла, опухшие железки, сладость детской простуды. Простенький напев держался на ветру естественно, как будто им был порожден. Солнечные зайчики возникали сами собой из бутылочных осколков. Прошли, срезая путь, дворами пятиэтажек. На скамейке у крайнего подъезда сидела, обхватив колено, молодая женщина в облегающей кофте цвета осы, на плечах внакидку куртка, с открытого подоконника играл ей транзистор, а она покачивалась в такт музыке, покачивался на кончиках пальцев туфель, снявшийся с пятки. Потасканное накрашенное лицо выражало задумчивость, левый глаз был подбит, взгляд правого казался отрешенным. Жесткие плоскости домов, полосатая кофта, губы под кривой помадой, и над всем — жесткое синее небо. Укрупненно. Укол понимающего чувства. Бензиновая черная радуга на воде прекрасна взгляду, только ум отравляет красоту ядовитым знанием о ее свойствах. И все-таки... Много ли нам надо от жизни? Фью-лю-лю. Фью-лю-лю. Приходить в пещеру под вечер усталым и жене брюхатой гордо говорить: я убил сегодня мамонта большого, много будет мяса нам теперь на всех.

14

Он помнил этот внезапный перелом настроения, это необъяснимое предчувствие — и новую уязвлен-

ность жизнью, и обостренную открытость слуха в кафе, где не было теперь скатертей, столы блестели полированными плоскостями. Зато появился помост с гроздью разнокалиберных барабанов, да еще музыкальный автомат в придачу. Роспись местного художника, покойного Звенигородского, давно заменена была шикарной мозаикой: девушка тянула руки вдаль, вернее, в угол, где застыл спутник, как символ века. Под ним почему-то изображена была роза ветров. Может, чтобы польстить своим морским смыслом честолюбию приозерных жителей. «Пиво есть?» — спросил Антон незнакомую официантку, а она сказала: «Бывает». Странное русское слово, наверно, не вполне понятное иностранцам (было? есть? будет?), но способное их восхитить, ибо в нем открытость и приключение нашей жизни, где ни в чем нельзя — и не надо — быть уверенным; а может, вообще в нем новое мироощущение века, где вероятностное мышление потеснило сухую механическую определенность; в нем провинциальное чувство, которое, не нуждаясь в несомненной истории, сгущает жизнь из фантиков и памятники из идеи... да вот и пиво несут, а вы думали? Было? есть? будет? — только иностранцу и впору так спрашивать. Трубач даже посмотрел на Антона, как на непонятно сострившего. Славный мужик. Еще раздобрел, полысел за год, успокоенный, довольный, на удивление в меру пьющий. Не надо было, наверно, задавать ему этого бессмысленного вопроса про экзекуцию — почему вдруг вспомнился Максим Сиверс (хотя понятно почему) и это слово неразъясненное? Приспичило выяснить, будто не было другой темы. Не такого разговора он от тебя ждал. Улыбка сошла с Костиных губ, добродушных и мокрых от пива.

— А, это ты про армию? — с трудом понял он, чего от него допытываются.— Да было там у нас всякое. Духарились.

— Избивали кого?

— Зачем,— усмехнулся Трубач добродушному воспоминанию.— Просто по заду тапочком. По голому,— он засмеялся.— Зовут, допустим, салажонка. Грамотный? Грамотный. Ну, будешь мне на календарике отмечать, сколько осталось до дембеля. До демобилизации, значит,— перевел он на всякий случай.— У нас любили следить за сроком. Вечером

стариков полагалось приветствовать хором: «Дембель стал на день короче, всем отцам спокойной ночи!» Отцы — это самые старшие. Ну вот, а кто, например, не выполнил, не отметил день — тому экзекуция. Столько раз, сколько дней осталось...

Вот ведь как все просто — чего тебе хотелось знать еще? Как все-таки Максим попал в госпиталь? Попал и попал, нарвался, избили его однажды втемную. Зачем было упоминать имя это, неприятное Трубачу, зачем было извлекать из успокоенной памяти кровь на цементном полу умывалки, холодном, мокром — не зря же это было уведено в дальние закоулки, да еще про Марата какого-то — он едва взял наконец в толк: «А... тот псих несчастенький? Был такой». Несчастенький — какое глубокое слово! Ты что, несчастный? — предупреждали недовольного, который все нарывался, напрашивался, как Сиверс. Лучше не надо, зачем быть несчастным, ведь даны же нам юмор, забывчивость и поэзия. Чего ты вздумал доискиваться? Откуда у тебя право въедаться в собеседника, о себе умалчивая, и почему собеседник отвечал, точно на сеансе психоанализа, хотя мог бы послать тебя подальше — точно признавал невесть на чем основанную умственную власть?

— И что с ним случилось?

— Я же говорю, психанул.

— С собой покончил?

— Нет, его пришлось. С ума, видно, сошел, а в руках автомат. К нему в караулке хотели подойти, он стрелять. Хорошо, разводящий сзади подоспел.

— А кто подойти хотел? Зачем?

— Не знаю. Меня там не было. Всегда есть люди, которые психанут. Хотя можно и по-хорошему, по-людски... У меня, знаешь, на посту была тоже история. Под праздники как раз стоял, под ноябрьские, и заснул. Вдруг будит меня капитан наш, Васюков. Ты что, мать твою перетак, под трибунал захотел? А от самого, я чувствую, несет на два метра. Я только спросонок сперва испугался. Васюков, Саша, мы с ним в футбол вместе за округ играли. Поорал, потом достает бутылку: ну, давай со мной. Дернули, значит, из горла, он опять: трибунал, хребунал. Я говорю: а я тогда, Саш, расскажу, как ты с часовым водку пьешь. Что, ты думаешь, он отвечает? Он меня целовать полез: Костя,

друг, скажи! Пусть погонят меня к долбаной матери, надоело, сил нет, сопьюсь. Ведь если по-простому-то, по-свойски — все люди...

За окном, над сарайчиком автобусной станции, виднелись обломанные монастырские маковки. Скаты крыши порос травой, называемой бурьян. Светились среди бела дня зеленым неоновыми буквами: «ворец ку ры». Мимо кое-как шел из бани стройбат: распаренные лица, обмылок в прозрачном пакете, полотенце в руке. Утром салабоны бегали по кругу, старики держали на них тотализатор, каждый подбадривал своего пинками. Проститутку Фиму прятали в казарме на чердаке, расплачивались деньгами, продуктами, даже мылом, понемногу вроде бы, а глядишь, дочке машину купила. Выносливости невероятной, по десятку за раз пропускала, с перерывами, конечно. В маленький старый автобус на Сареево запикивался народ. Шофер вышел, уплотнил массу плечом, чтоб можно было закрыть дверь. Какой-то проезжий в штормовке изучал на скамье карту области. Беззубый, с дергающейся небритой щекой старик ткнул в карту пальцем, захрипел: «Порядок, да? Куба в порядке, правильно? Египет в порядке. Везде будет порядок, правильно я говорю?» И отошел, оглядываясь почему-то со злобой, как будто готовый ответить на любое противодействие последнему, чего не хватало ему вместе с человечеством до полной гармонии. Старик еще недавно был городским сумасшедшим, и звали его Федя Кизильбаш. Раз в день, в один и тот же час, он входил в чайную, ставшую затем рестораном, а еще позднее — кафе «Озерное», входил в телогрейке, подпоясанной веревкой, по земле волочились пустые ножны от оружия гражданской войны. Его уже знали, даровая кружка пива служила обычным откупом — Кизильбаш выпивал ее стоя, смачно плевал в знак презрения ко всем присутствующим, к их нынешней жизни. Вдруг выяснилось, что он действительно знаменитый герой своих времен, а не просто чокнутый их обломок. Приезжал из Ленинграда журналист, оставил в подарок старинную фотографию, где молодой Кизильбаш стоит рядом с конем при шапке,



в богатырском шлеме со звездой, но почему-то голый по пояс. Его чисто выбрили, сфотографировали для истории заново. Как единственный оставшийся в Нечайске живой активист революции, он получил вдруг льготы и праздничное довольствие наряду с самым высоким начальством, вплоть до московской копченой колбасы. Он даже мог ездить бесплатно на любом внутрирайонном транспорте, если б у него появилось такое желание. Но ездить ему было некуда и незачем, зато возникла вдруг откуда-то родственница, чуть ли не двоюродная сестра, стала обихаживать его и вести хозяйство, которого прежде не было. Кизильбаш казался сбит со своего сумасшедшего толку, даже плевать приучался не на пол, а в специальную фляжку, вроде тех, что носят при себе чахоточные для мокроты. Подкатывались к нему с разговорами разные кандидаты наук, удивлялись фотографии: почему он здесь голый? Рубить удобней, — хрипел Кизильбаш. А как же вы различали без формы своих и чужих? — А мы и не различали. Родственница из-за спины намекала — пальцем у виска: что с ним разговаривать? А сколько вам здесь лет? — не унимались кандидаты наук. — Восемь. (Ну вот, без слов показывала родственница, предупреждала ведь.) Лошади восемь, — уточнял Кизильбаш. Ой, так ли он был безумен? В дергавшемся глазу с мутной поволокой застрял осколок нарастающей злобы и ужаса — может, лучше не извлекать? Он и сейчас грезит рубкой, стрельбой да высшей мерой, другого от него не добьешься, а что там кроется на самом деле? Лучше стоило подумать, не пригласить ли героя на торжественную трибуну помахать населению ручкой. Риск был, конечно, но массам тоже полезно увидеть человека, для которого осуществились с опережением срока обещанные льготы будущего — это работало на мысль, что круг заслуживших войти в него станет расширяться и постепенно охватит все население...

Прибывший из Столбенца «Икарус» — междугородный желтый красавец венгерского производства — притормозил, чтобы не сшибить инвалида. Кизильбаш, матерясь, погрозил водителю кулаком и вошел в «Озерное».

А из «Икаруса» вышел и направился той же дорогой еще один персонаж судьбы — человек по имени Саша Кайф. Впрочем, где тут имя, где прозвище, надо было еще выяснить. Хотя и необязательно. Он шел ритмичной пританцовывающей походкой, жирный, женоподобный, в серебристой курточке с рисунком крылатой обезьяны, с длинными сальными волосами и попыткой бакенбард на угреватых щеках — ударник и шеф ансамбля, называвшего себя рок-группой «Жарптица». Вечером они подрядились играть в «Озерном», надо было наладить аппаратуру, и за столиком, как по заказу, сидел нужный человек, Трубач, местный радиомастер, он уже помогал им однажды. В углу за высокой стойкой три местных алкаша собрались под табличкой, запрещающей делать как раз то, что они собирались. В сущности, табличка звучала зазывно — каков еще был смысл этого укромного, как раз на троих, угла с удобной нишей для пустой бутылки? Саша Кайф сунул по пути пятак в музыкальный автомат и нажал, не выбирая, кнопку. Он мог бы этого и не делать: внутри его собственного тела бесплатно и постоянно звучал легкий, чистый, с синкопами, механизм, заставляя подергивать в такт головой, плечами, на ходу, стоя и сидя, прихлопывать подошвой; этому ритму подчинялась речь, покачивался на пальце вправо-влево брелок в виде прозрачного шара на цепочке с подвижной каплей внутри; он вызывал почему-то мысль о дикарях, менявших золото и слоновую кость на безделушки колонизаторов. Но что значит золото и кость? Где критерий вкуса и ценности? А Кайф — вот он.

— Пожалте, ваше величество! — приветствовал музыку из своего угла Гена Панков, уполномоченный промкооперации и, что существенней, законный супруг Ларисы Васильевны Панковой. Лишь человек неосведомленный, как Саша Кайф, мог заподозрить в нем алкаша. Не выпивка интересовала Панкова, а возможность беседы, ради нее он и завлек даровой бутылкой людей, которых ничто другое не свело бы вместе.

И собеседники-то были староваты для настоящей выпивки: что Кизильбаш, зашедший в кафе по старой инерции, что Бидюк, зачем-то последовавший за Лизавиным, а сейчас для угощения доставший из бокового кармана персональную мензурку с делениями, которую носил при себе для разных okazji, как Кизильбаш фляжку для плевков, ибо общественной посуде не доверял. Панков был много моложе обоих, он еще работал, а до недавних пор держал даже голубятню. Его многие и звали-то без отчества, просто Геней. Супруга однажды запретила ему эту несолидную забаву, он раз-другой попробовал было взбунтоваться, но с тех пор, как Лариса Васильевна стала директором школы, сдался окончательно. Это лишь для Антона Лизавина взлет Панковой оказался неожиданным, он привык видеть в ней секретаршу роно; между тем, получив демократическим заочным путем высшее образование, она еще год назад стала инспекторшей — а теперь вознеслась через ступени на вакантное место. Впрочем, как сказать — вознеслась. Из роно — в простую восьмилетку. Не учительницей же, в самом деле. Порядки, заведенные ею в школе, подтверждали талант, который другим не дается даже ученой степенью: здесь ученики выставляли друг другу баллы за поведение, а дежурные ежедневно докладывали директорше с глаз на глаз обо всех происшествиях, конфликтах, примечательных разговорах; здесь в учительской закреплен был за каждым раз и навсегда под ответственность определенный стул, в буфете булочки получали первыми отличники, последними троечники, а двоечников у Панковой не было. Да, казалось бы, Гене Панкову впору было смутиться душой, как старику из сказки, оставшись лишь за давностью, как говорится, срока супругом столь возвысившейся женщины. Нет, ничуть не бывало. Он других мог поучить способу извлекать из жизни особый смак удовольствия, обставляя каждый свой шаг вроде бы игрой для самого себя: он всегда мысленно водил рядом с собой человека из прошлых времен, чуть ли даже не царя Ивана Грозного, и, демонстрируя этому царишке возможности своей жизни, на каждом шагу его изумлял, а главное, изумлялся сам: он восхищался, нажимая кнопку электрического освещения или московского лифта, ступая на лестницу эскалатора или стоя перед самооткрыва-

ющейся дверью автобуса. Или, скажем, идут они по дороге, пить хочется, а ни речки, ни колодца, ни лужи, что делать? — и тут он, Панков, подходит к придорожному столбику, нажимает там на что-то: «Пожалте, ваше величество!» — загадочный и себе на уме, как пророк, высекший воду из скалы. Эта нехитрая техника расцветивала жизнь чудесами, которыми уже не способны восхищаться современные дети, как ни пытаются освежить их чувства новые сказочники. Машины, возможность переноситься с места на место со скоростью, недоступной царским скакунам, телевизор, наконец! Можно ли было в этой жизни тосковать вместо того, чтобы восхищаться сбывшимися мечтами прежних людей? А что еще будет! С недавних пор спутник Панкова стал приобретать черты скорей экскурсанта-иностранца, которого можно было впечатлять сравнением нынешней жизни с перспективами. Цифры будущих планов, городских, районных, восхищали уполномоченного, обеспечивая дальнейшие надежды, но все-таки сейчас, когда простой кружок медной монеты извлек неизвестно откуда музыку, да не какую-нибудь, а сразу десятки дудок, литавр, скрипок, он не удержал возгласа удовольствия и торжества: «Пожалте, ваше величество!»

18

Чей глаз взирал на них всех из пространства? чей слух внимал сразу всем голосам? «Что это?» — спрашивал Лизавин, пробуя алюминиевой гнутой вилкой комок подозрительного жира в маскировочных сухарях. «А вы что заказывали?» — демонстрировала школу своей логики официантка. «Бифштекс». — «Значит, это бифштекс». Музыка из аппарата казалась знакомой, только никак не вспоминалось откуда: та-та, та-та, ля-ля-та... «Два куска в месяц гарантирую, — соблазнял радиотехника Саша Кайф, подливая в стаканы вместо пива напиток под местным названием «Вино». — Ресторанная еда, хату устрою. Подумай». — «Нет, мне и здесь хорошо», — блаженствовал Костя, безнадежно старомодный в своем спортивном свитере с полосой вокруг шеи, со своим знанием нот и умением играть на трубе. Кайф смотрел на него лениво и снисходительно: помочь старикан уже обещался, а там на

хрен он вообще нужен, лысый мудака, еще слюнявивший танго и марш «Прощание славянки». «Что ты, у нас же в той пятилетке рыбозавод, — напоминал собутыльникам перспективу Гена Панков, обсасывая скелетик морской кильки. — Не только в район и область — на экспорт пойдет. Одних мальков в год полтора миллиона». — «Вспомнил, — сказал неизвестно кому Лизавин, — это, кажется, Гендель. Музыка на воде». Музыка, впрочем, кончилась, но жирное тело ударника колыхалось в том же приятном ритме, а весь вид приглашал присоединиться: наслаждаемся, да? Пить вино после пива, конечно, не следовало, но, может, стоило чуть-чуть продезинфицировать желудок после сомнительного бифштекса? «Ничего. Даже полезно, — подтверждал из угла бывший бухгалтер. — Сюда настоящую землянику кладут, а она чем хороша, — в ней железа больше всего». — «Смотря с чем сравнивать», — не желал уступать в эрудиции Гена Панков, и только Федя Кизильбаш молчал, сверля собутыльников желтым презрительным глазом. Чем он все был недоволен? Мало ли чего пришлось ему навидаться — мы-то сейчас живем, да еще как, не сравнишь; значит, все правильно. Панков не дурак, он понял что-то лучше других. «Да, — подтвердил Лизавин, — важно уметь сравнивать, в этом все дело. Вот, скажем, была на стене самодельная роспись, теперь эта казенная мозаика. Дорогая небось?» — «Шесть тысяч», — назвал в углу цифру Панков. «И что в ней, современный вкус? Ерунда! Почему в гарнитурах или Пикассо больше вкуса, чем в канарейках, копилочных кошечках или неизвестном мне шедевре «Утраченный сад»? Отец не зря этих кошечек и лебедей сохранял. Увидите, их скоро станут искать, как бывшие иконы, за большие деньги». — «А где это он их сохранял?» — интересовался Кайф, расстегивая серебристую курточку и открывая рубашку с иностранными текстами: читай, кто знает язык, без всякой цензуры, пожалуйста. Что там? Лозунги свободной любви, результаты позапрошлого бейсбольного первенства штата Пенсильвания? Буквы, перебитые швами, складывались не подряд: SYV и FRE и EFO или FREE FOR SYV ... ну, знаете!.. этак можно было сложить FOR SYVERS... «У нас, у нас, — торжествовал Панков. — А через три года будет вдвое больше: полмиллиона условных единиц на жителя».

Лишь в автобусе Антон спохватился, что так и не узнал адрес. Ах, Господи! Ну ничего. Ничего. В другой раз спрошу. В справочной можно узнать. Если прописана. Все отчего-то стало казаться вдруг проще. Все еще устроится. Самолетное кресло № 25 уютно и спокойно. В таких креслах не слышно окружающих разговоров, да и не тянуло говорить. Сиди как европеец. Смотри в окно на весенний многообещающий пейзаж, слушай ровный гул мотора да простенький напев свистульки сквозь него. Впрочем, кто-то включил транзистор. Мальчик в кресле № 3 вспомнил, что завтра их с Сашкой будут разбирать на собрании: подрались на демонстрации портретами, которые несли на палках, и продрали их о головы. Позавчера он спросил у пионервожатой, почему это по телевизору и в «Пионерской правде» у всех что-то интересное, Артек, путешествия, костры, а у нас ничего, и она отмахнулась с непонятной злостью: у всех то же. Неужели у всех? Пионервожатая сидит тут же в восемнадцатом, ей зябко, мысль крутится вокруг одного: кажется, попалась. Да, уж явно попалась. Мерзкое видение гинекологического кресла, чувство холодной клеенки у кожи, дрожь, унижение, страх и боль. Рядом еще беременная, вслушивается во что-то внутри, лицо светится тихим изумлением. Страна Гермафродия! — бормочет, шевеля губами, старушка в двенадцатом: серый платок, плюшевая, с проплешинами, шубейка. — Женщины в брюках ходят! Красоту забыли, скромность забыли, тьфу, Господи! — и перекрестилась слегка на попутный склад лесоматериалов. Вдоль склада висел длинный выцветший лозунг: «Товарищи, боритесь за...» — дальше закрыл другой корпус. Понастроили, с бессмысленной досадой подумал шестой. А за что бороться, не разберешь. Номер 30 объяснял вслух соседу: «Я физической работой вообще не занимаюсь, нет. Я теперь прихожу на завод, мне дают чертежи. Я их называю рисунки. Я только посмотрю и говорю, что как сделать». Сосед, командированный, в мятой шляпе, лениво позевывал, он хорошо угостился перед отъездом и тоже был доволен жизнью, где можно было по неделе не работать вовсе, получая зарплату. Хорошо! Номер 21 пока ни о чем не думает, только

цифры витают над креслом: тридцать пять, тридцать шесть... — считает петли... ох, кажется, опять сбилась. Двадцать второй кавказского вида тоже что-то считал, только на кавказском своем языке: по чемодану в проходе можно было, однако, догадаться, что он возвращается с воскресного базара налегке, значит, с прибылью. Также неплохо. Номер 9 вздремнул на плече у жены, а впрочем, не жены, все равно в сновидении он видел себя с другой, и к этой другой протискивался почему-то под низкую кровать, задыхаясь от пыли, паутины и тесноты: хр-р-р... «Ну, не довез я ее три километра до Пашутина, — рассказывал номер 14, — остановил в лесу, говорю, вылазь, дальше сама. Она говорит: ну как же, говорит, обещали до города, куда же, говорит, мне, одиннадцать километров пешком, на ночь глядя? Я говорю: мало что обещал. А что мне за это будет? Поторговались маленько». Сосед сочувственно ржет: волосы до плеч крашены хной, куртка распахнута, на шейном шнурке продырявленный рубль. Из соседнего кресла оборачивается на него ветеран, шевелит губами, все не может остыть после стычки при входе, воображает экзекуцию поунизительнее для этого сопляка, который его отпихнул, не посчитавшись с хромой ногой и медалями. Автомат бы в руки или хоть тесак, с которым вернулся домой, да харей бы в грязь подонка... Вдруг почему-то вспомнилось, как встречала его мать, как налила в тарелку щей, а он приспособивался так, этак, потом перелил в привычный котелок и лишь тогда стал хлебать с чувством покоя. Да, все дело в сравнении, думал номер 25. Мудр был все-таки Милашевич. Нельзя поддаваться чужому, гибельному. Пусть там своя правда, но жизнь полней. Вот она. Она сама о себе напомним. Мы только думаем, что меняемся. От собственной тени не оторвешься. Казалось, и вспоминать перестал, а вот узнал, что она рядом... Скорей, скорей, в новый дом, ко всему новому, хотя грех торопить время жизни, оно не должно быть промежуточным, пустым, оно наполнено даже здесь, в автобусе, — мыслями, голосами, дыханием. Две маленькие женщины у дальнего колодца обменивались информацией. Мотор работал ровно, хотя в звук его стала примешиваться какая-то вибрация — точно дрожала низкая контрабасная струна. Что за херня? — прислушивался в своем кресле водитель. Неужели кар-

данный? Он сбавил скорость, гул пропал. Стал прибавлять — опять появился. Сволочь механик, не затянул как следует болты, когда менял редуктор. А ведь было ему дано, как положено. Хотя, если вспомнить, покривился: мол, водка нынче подорожала. Чужало сердце...

Сердце, увы, не ошиблось, не подвела интуиция водителя первого класса. Хотя лучше бы ей, конечно, сработать пораньше, возможно, лишний трояк убедил бы механика подтянуть болты ключом, а не пальцами. Один из них уже вывалился где-то по дороге, другой еле держался, и еще вопрос, имелись ли запасные. Пассажиры, с неохотой отрываясь от насиженных кресел, пока все еще с европейским спокойствием воспринимали невразумительную матерщину, что доносилась из-под автобуса в ответ на их законный интерес, долго ли придется стоять. Жаворонок пел над полем, над мелколесьем, кое-где развороченным тракторами. До станции оставалось всего километров шесть, но через двадцать минут уходил поезд. Человек кавказского вида, подхватив чемодан, первым сумел остановить попутную «Волгу». Спекулянт чертов. Таким всегда остановят. А мимо других проезжали, будто не видели. До поезда оставалось меньше десяти минут, когда, сжалившись, притормозил местный автобус. Он был крохотный, уже с народом, но оставаться на дороге никто не хотел. Взвизгнула у дверей придавленная женщина. Теснота, увы, возвращает нестойкому веществу аморфность. Плотность, превысив критическую, уже порождала цепную реакцию мата. Ветеран со ступеньки оборачивался, чтобы достать голову невидимого обидчика. Вот тут Лизавин впервые ощутил тошноту. В последний момент он все-таки рискнул втиснуться на ступеньку, дверь за ним полузакрылась, тяжелый портфель с будильником, театральным биноклем, музейным альбомом и полуботинками, чтобы переобуться на городском асфальте, остался снаружи, но держать его было можно. Прямо перед лицом в горизонтальном положении торчали резиновые сапоги старухи, выдавленной куда-то вверх; под юбкой открылся край розовых нечистых рейтуз. Светло живот, Лизавин глотал ртом скверный воздух и больше всего



боялся не выдержать. На первой же остановке он вышел, решив добираться до станции пешком — все равно к поезду опоздал.

Но вот ведь как тогда соединилось удачно: сам поезд опоздал на час десять минут. И пусть кто другой ищет в этом новый повод поязвить насчет скверных порядков, — нет, бывает, что минус на минус дает, как выражаются, кажется, математики, плюс. К тому же тошнота и боль в животе отпустили. Не стоило, конечно, есть этот бифштекс, да и пить неизвестно что, — думал Лизавин, — но тоже пройдет. (Он удивительно ясно помнил потом это мельтешенье разнородных нечаянных мыслей.) Так разобраться: а если б даже и опоздал? Сколько было таких эпизодов: спешишь, не успеваешь, нервничаешь — а что, если вспомнить, изменилось? Только чувство неудачи откладывается, окрашивая память — и зря. Процесс жизни: частицы толкуются то вверх, то вниз, то вбок. Было плохо, будет хорошо. На перроне мальчик уткнулся лицом в колени мужчины, обхватил их, не отпускал: «Папка, не уезжай!» Изваяние жалости и нежности. У Лизавина защекотало в горле. А у меня этого нет. Но будет, будет. Мужчина, высвободясь, вскочил на подножку. Поезд тронулся — туда, где ждали Антона Андреевича нераспакованные короба новой жизни. Мордатый нищий, обнажив шелудивый, крашеный зеленкой череп, застучал бутафорской палкой по проходу:

Дар-рагие папаш-ши, мамаш-ши,  
Помогите, чем можете, мне,  
Вас пятнадцать копеек не устроит,  
Для меня ж это хлеб трудовой.

На выпивку собирал, конечно, вон какая рожа опухшая. И нищие стали поддельные, хамские. Ушло поколение послевоенных инвалидов, слепых гармонистов, — думал Антон. Он еще помнил других, настоящих, с черствыми корками в мешке. Но сейчас соглашался подать и такому. Ведь не в том дело, на выпивку ли, на пропитание. Пусть и на выпивку. От века на Руси подавали не столько ради нищего, сколько ради собственной души. Самый простой способ

откупиться. Именно, дорогой, вот тебе двугривенный. Не во все надо вникать. Увидел старушечьи рейтузы — отвернись, пошляк. Или зажмурь глаза. Не все же мы, в самом деле, видим. Что там копошится внутри, под кожей, под одеждой. Я, если угодно, могу описать блевотину, мимо которой прошел сейчас, правдиво, не хуже Льва Толстого, с кусочками винегретной свеклы и желтой моркови, так что и у читателя в ответ вызову... стоп, стоп, стоп... Вздохнем поглубже. Не стоило все-таки этот бифштекс... Отпустило... Ну и что? Будет ли в этом правда жизни? А если будет — зачем она? Существует уровень жизни, что оседает в рисунках и надписях на стенах общественных уборных, пускай. Я всегда склонен был приспособливаться к общему вкусу, смеяться над общими шутками, а в конце концов все равно стал какой есть и другим, наверно, не мог быть. Но я не лезу из-за своего уровня в драку, вот между нами разница, — вдруг свернула на прежнее мысль. Чего он доискивался, Максим? Чего хотел от меня? Зачем понадобилось ему, чтоб я прочитал такие личные, такие болезненные, такие исповедальные строки? Аню я тогда успокоить сумел, вполне искренне: соперничество ей всерьез не грозило. Но сам запутался. Все стало отравлено мыслью, чувством неполноты, нет прежней радости, на лужах бензиновая радуга, у жизни алюминиевый звук и привкус — жирная вилка с погнутыми зубцами, хрип танцевального динамика, пошлость ухаживания, неряшливость раздевания, томление без любви, убогость, трезвость и честность там, где прежде удавалось получить удовольствие. А все потому, что возникла однажды та, с которой было иначе, и вот, оказывается, не отпускает, хотя здравый смысл, как посторонний голос, все переспрашивает насмешливо: в самом деле? ты действительно этого хочешь? Разберись. Что ты увидел в ней, десяти классов не кончившей? Только то, что приписал ей, а тебе подсказал Максим, обреченный извлекатель смысла. Нет, даже удивительно, как человек может все знать о своей глупости, неправоте и все-таки продолжать то же. Как будто понимание действительно посторонний советник, не властный над нами... Две девушки у дверей, щебеча, пальчиками опраивляли друг на дружке воротнички. За немытым окном зеленела на откосах трава. Фью-лю-лю, — пела дудочка. Понимает ли Максим,

что это может быть счастьем? Может, именно теперь понимает лучше меня. Потому что лишился. А я буду иметь. Пересидел соперника. Ну, глупости,— смутился двойной мысли Антон. И он бы так не подумал. На соседнем пути поравнялась с окном грузовая платформа, у тормозной площадки стояли двое, парень в телогрейке, широко упершись ногами и держась одной рукой за стойку, другой облапил грудь подружки. Оба не сразу заметили попутных зрителей, но, заметив, позы не изменили, только ослабились шире, и наглец, на зависть другим, стиснул пятерню покрепче.

22

И пришла туча — весенняя, под цвет первой травы и деревьев в дымке, напоенная изнутри зеленым сиянием. Гром непрерывный и шум ливня оглушали, как грохот водопада. Стекларусные нити свисали с козырька вокзальной пристройки, Антон раздвинул их тыльной стороной руки и вышел под дождь, легчавший с каждым его шагом. На асфальт, спасаясь от воды, густо повылезли дождевые черви — кишечное вещество земли, вяло ползали, раскисали, гибли под подошвами. Выглянуло солнце. Такая влага просыхает быстро, как детские слезы. Лизавин вышел на площадь, все еще в сапогах для нечаянской грязи, и здесь вспомнил, что к новому дому ему надо теперь по ту сторону железнодорожных путей. Он перешел их в недозволенном месте, там, где близ тупика стояла загадочного происхождения колонна, то ли остаток исчезнувшего здания, то ли начало неосуществленного. От корней ее пустило побег деревце, уже начинавшее зеленеть. Человек в железнодорожной спецовке издали подал знак, подзывая зачем-то: не оштрафовать ли за хождение по путям? В другом настроении Антон бы так и подумал, но в тот день он ощущал доверие к жизни и не хотел думать о ней плохо. Подошел — и не ошибся: ему предлагали бумагу туалетную, семь рулонов и всего за пятерку. Как уже своему. Все верно, все было одно к одному: новая жизнь с горячей водой, ватерклозетом и туалетной бумагой, естественно, пусть не шведской, без денежных знаков, но финской все-таки. Поди-ка ее поищи. Все устраивалось само. Кандидат наук шел по улице, глаженные брюки заправлены временно в сапоги,

гирлянда рулонов, не влезших в портфель, свисала на веревочке с шеи на грудь, как отличие принятого в корпорацию, как цепь почетного доктора, как гирлянда индийских цветов на шее почетного гостя, здесь же, из вагонов сворованная. И тошнота пропала совсем, будто ее не бывало, и светофор от широты душевной выкинул все три цвета одновременно, в виде иллюминации — чего там!

23

Наверное, это вздернутая уверенность в неизбежности какой-то удачи сделала кандидата наук беспечным. Прежде он не ткнулся бы так наобум в непонятную очередь. Увидел вдруг, как к палатке у пустыря подкатил разгружаться фургон, и остановился — вроде бы просто так, а он уже оказался в очереди третьим, за ним мгновенно пристроился еще десяток, и обидно показалось оставлять привилегированную позицию, даже не узнав, что привезли. Вдруг что-то дадут. Отчего бы нет? — посмеивался сам над собой Лизавин. Надо изгнать этот дурацкий страх перед очередями, эту высокомерную неприязнь к ним, на которой он так отчетливо поймал себя в Москве. Лучше не получить ничего, чем стоять со всеми — так, что ли? Послушай еще Никольского. Не нужно высокомерия перед этой вот толстозадой еврейкой, которой надо яблок мужу в больницу, да и внукам бы чего-нибудь — как уютно внукам, как тепло и надежно рядом с этой расплывшейся кольшущейся плотью. А вот эта бабка не для себя стоит, она очередь занимает, чтобы при случае продать за трояк, уже торгуется с черноволосой, в ушах золотые кольца. Всем хочется иметь продукты и вещи, как у людей, гордиться, что и у них не хуже — а что ты предложишь взамен? Они посланы в жизнь, чтобы в ней утвердиться, наплодить потомство и тем ее поддержать, а не сгинуть бесплодно, как некоторые. Чем ты можешь похвастаться в результате? Естественный отбор предпочитает счастливых. Вернись, вернись сюда, стань-ка вот с ними. Желательно, конечно, одним из первых, но так оно и выходит. Все выстраивается. Шел по улице. Стал в очередь. Сейчас будут что-то давать. Наволочки, японские искусственные бриллианты или, кто-то вот говорит, масло дезодорированное?

Увидим. Когда-то Антон стаивал с карточками в хлебных очередях, по многу часов, но те очереди были понятнее. Ничего, надо приспособливаться и к этим. Вокруг был выпуклый, как в бреду, омытый дождем предвечерний пейзаж новостроек. Глина отяжеляла подошвы. Выемки здешней земли уже были полны житейского мусора — прежде людей появлялись их отходы. Первые цветы желтели по краям развороченных траншей, в их стойкости была какая-то равнодушная готовность переварить что угодно, хоть грязь, хоть железо, и обратить в недолгую немудреную красоту. Путаница ржавой арматуры, мятые витки проволоки вокруг навязывали взгляду чувство ловушки. Впереди вместо двоих оказалось почему-то уже пятеро. Очередь, как примитивный организм, умела размножаться делением. К черноволосой с золотыми серьгами присосеживался целый табор. Цыгане, романтические вольнолюбцы, ухитрявшиеся жить по своим правилам среди прочих, которых надо было перехитрить и использовать, всегда на враждебной территории. Тоже нынешние, с пластиковыми сумками, туристическими рюкзаками. В Нечайске их нашествия боялись, они вторгались на участок целой ордой, не глядя даже на собак, которые на них почему-то не лаяли, словно смущенные колдовской силой, а когда их удавалось прогнать, ошеломленная хозяйка обнаруживала оборванные яблони, обломанные ягодные кусты и в довершение недосчитывалась двух-трех кур — никому не удавалось заметить, когда и как ухитрились цыганки поймать их без звука, свернуть шеи и упрятать под юбки. Связываться с ними выходило себе дороже, мужчины дрались бешено и жестоко, как жестоко били своих женщин — в живот коленом, в лицо кулаком, а другие при этом и не оборачивались, безучастные, с младенцами у голых неинтересных сосцов... Приступ тошноты опять накатил и схлынул. На гребне земли трое глухонемых объяснялись при помощи пальцев. Голое, без укрытия, небо над головой, пророческая до жути ясность, когда каждый человек прозрачен и понятен. Рыбьи губы раскрывались в воздухе, слишком пустом для дыхания, пальцы глухонемых с возрастающей быстротой плели свой узор, и Лизавин сейчас мог бы отвечать им на их языке. Я сейчас и ее мог бы так же понять, подумал вдруг он. Я все наконец пони-

маю, все могу объяснить. Что такое масло дезодорированное? Дезодорированное — без запаха, значит. Нет, не импортное, наше. Из чего делается, не скажу, но запаха в самом деле нет, я пробовал. На вкус отдает машинным. Резкая боль в животе заставила Антона согнуться. Возможно, из-за нее он плохо соображал. Как будто кто-то ударил. Вокруг действительно разгоралась суматоха, он до сих пор игнорировал ее, оглушенный беззвучной ясностью, теперь затягивало внутрь. Сделал шаг в сторону, поскользнулся на глине. Гирилянда на шее потянула вниз, портфель выпал из рук. В живот что-то толкнуло. А был ли то посторонний удар, или следствие злополучного бифштекса, или то и другое вместе, кандидату наук не суждено было достоверно узнать, опыт, как выражались потом специалисты, был поставлен нечисто — яркая вспышка пронзила вдруг до самого позвоночника.

## 11. Ормузд и Ариман

*Сквозь зыбкие испарения виден был прямоком стоящий рыцарь в пластинчатых доспехах из грязи и польском шлеме.*

*рогатая голова с человеческими зубами*

*из глазницы торчал сучок*

*хобот, глаза стеклянные*

*шелестит сухой безводный поток, пересыпаются зерна*

*булькает в котле варево, входит в рот дым*

*Остаться там, остаться и не хотеть ничего больше. Вот предел, вот блаженство.*

*Страх и торжество смешаны, как в первом соитии, когда у мужчин и женщин оживает надежда дополнить свое существо до целого*

*растекаются ноги, уходят в землю*

*вся наша жизнь была невольным сопротивлением этой легкости к свободе*

Ослепительный невесомый покой, напряженное бес- сильное внимание. Боль существовала особо, в безвоз- душном пространстве — первозданная, стерильно-бе- лая. Она рывками тянула свои крючки из неподвиж- ного, постороннего тела. Оттуда, из пространства, пронизанного страданием и немотой, видны были трубки, торчащие из носа, воткнутые в окровавленные запястья. Стекло-резиновые лианы тянулись сквозь пустоту к необозримому сооружению из прозрачного, неземного, переливчатого вещества. Внутри пузыри- лось, булькало, живые сосуды уходили куда-то вверх, где качался и тикал маятник старинных часов с зеле- ным домиком для кукушки. Там, на краю доступного напряжения, в блеске твердой, как луч, иглы, обитал ужас, тоже отдельный, нестрашный, умственный. Не- мота натягивалась пронзительной чистой нитью. На зеленом бархате светилась пушинка тополя, подобная безголовому насекомому, за ней проступали, выявля- ясь, перевернутые лица. Одно из них взгляд узнал, хотя родился как будто впервые и не помнил опыта. Белая косынка низко повязана, щеки затенены. Лицо раз- бухало, заслоняя трубки, стекло, свет, пустоту. Теплые губы коснулись лба. Он возник от этого прикоснове- ния, легкого, но ужасного, потому что с ним воз- вратился страх, точно насильственной присоской потя- нуло из спокойного чрева в боль, чтобы соединить с ней тело.

- Ты ходил в костюме, занимал должность, неважно какую, но все-таки кем-то был, что-то значил, успел накопить полный мозг неповторимых воспоминаний, занимал место в самой середине мира, пытался им овладеть — впору было лишь удивляться, как этого мира хватает на всех, претендующих занимать в нем такое же единственное, срединное место. Вдруг что-то в тебе разладилось или, скажем, подобрали тебя, как объяснили позднее, после неудачного падения на ар- матурный штырь, с проникающим повреждением вну- тренних органов, разрезали кожу левее пупка, подклю- чили к химическому аппарату — и очнулся бессильный

страдающий кусок плоти. Из сокровенного места торчит трубка, называемая катетер, молодые женщины делают с тобой что-то, чего ты не хочешь, а та, которую ты искал, о которой думал издалека, настолько издалека, что она отчасти утрачивала телесность, окруженная перламутровой дымкой, приходит забрать у тебя «утку». Похудевшая и оттого большеротая, в косынке, наполовину скрывавшей лоб, в халате с завязками сзади, с пальцами, красными и опухшими от грубой работы, зрачки расширенные, ласковые и безмолвные. Вид этого лица был теперь связан с пробуждением боли, хотелось, не говоря ничего, вернуться в покой, в бесчувственность, прикрыть глаза, притвориться, как в детстве, еще не проснувшись. Впрочем, слабость давала право не слишком вникать в подоплеку собственных невольных движений; это потом разговор со стариком соседом что-то ему самому откроет; а пока пусть лежит, бедолага, мы можем и без него оглядеться в палате, где уже хозяйничает другая сменщица, тетя Фрося, с пьяненьким красным носиком, вечно злая на врачей, сестер, но пуще всего на больных, которые все чего-то хотели, как будто рубли, которые она с них брала, были достаточным откупом за эту доuku.

— И лежат, и над собой трясутся — тьфу, Господи, — облегчала она душу, елозя по полу шваброй. — У меня мужик был, царство ему небесное, тоже болел, абсыс это называлось. Так он никуда ложиться не захотел. Лучше, говорит, полгода в крови погуляю, чем год валяться в говне. И погулял же, сволочь, и кровушки моей попил, царство ему небесное!

### 3

Трое ходячих могли, если хотели, не слушать ее, они покидали палату. Один был здоровенного сложения парень с рябым грубым лицом, другой — бледный, отечный мальчик лет двенадцати, третий удивительно походил на бывшего лизавинского соседа Титько, даже пижамой — двойник, право двойник. Оставался, кроме новичка Антона, старик с беззубым проваленным ртом и тусклым потеряннным взглядом. С ним что-то случилось, говорят, после операции. Сама операция была из рядовых, возрастная аденома,



не более. Но вроде бы забыли у него извлечь вовремя из рта протез, спохватились уже в операционной, вынули да куда-то затеряли. А потом тоже не оказалось на месте, что ли, кастелянши, чтобы выдать вовремя рубаху, одеть голого человека. Видно, что-то старику примерещилось, когда он очнулся один в палате, без зубов и вообще без ничего; врачам, впрочем, известно явление, называемое «послеоперационный психоз». Словом, он стал вдруг кричать, коротко, бессмысленно и жутко, скорчив над грудной клеткой безумные дрожащие пальцы, и успокоить его сумела лишь случившаяся поблизости санитарка. Она подошла прежде врачей (да никто, кажется, к нему и не спешил), стала гладить бедняге руку, губами трогая белый, в испарине, висок, приговаривала что-то неслышное, бессмысленное, ласковое. И успокоился тот, затих, зрачки помалу навелись на резкость, как объектив бинокля. Она же потом раздобыла для него рубаху, даже разыскала утраченный протез (в баке для грязного белья). Но какой-то сдвиг в психике у него все же держался. Опасаясь приступов — чтобы не прикусил себе язык,— протез ему во рту не оставляли, хранили в дальней тумбочке, до которой сам лежачий не мог дотянуться. А ведь был когда-то врач, и звали его Манин Яков Ильич,— Титько все, что надо, про него выяснил.

4

Да, никакой не двойник, а собственной персоной Титько Федор Фомич оказался в той же палате, активист культуры и просвещения, общественный деятель все укрупнявшегося масштаба, а теперь и пациент незаурядный. Может, кому другому казалось, что добольничные обстоятельства теряли здесь цену. Отнюдь! Сама болезнь, которую Титько имел предьявить науке, до сих пор не описанная и загадочная, была, очевидно, связана именно с общественным взлетом пациента, с его новоприобретенными жизненными возможностями, так что и обсуждать ее по-настоящему предполагалось только на высшем уровне, а именно на четвертом этаже главного корпуса, где размещались особые, не всем известные палаты, именуемые в обиходе «люкс». Туда по утрам, до врачебных обходов,

наведывались косметички и массажистки, туда специальные санитарки таскали тяжелые сумки, там за полночь горел свет и звучала заграничная музыка, намекавшая, что сами болезни на таком этаже приобретали особое, не столь тревожное качество. Человек, попадавший туда, уже как бы получал гарантию неопасного случая. Титько место в «люксе» было обещано, но то ли протиснулся кто-то вместо него без очереди, то ли надумали вытянуть из него побольше — супруга Эльфрида Потаповна каждый день наведывалась в нужный кабинет, а Федор Фомич все торчал в простой палате, не начиная даже обследования. Конечно, в больнице, где койки теснились по коридорам, пятиместную палату можно было считать временной привилегией, но Титько уже нервничал, не водят ли его за нос. Вот этого он допустить не хотел. Потому что важнейшим его приобретением было знание о порядке, которым определялись права и возможности на каждой ступени жизни; это был научный, если угодно, порядок, с точно дозированным для каждого случая процентом импортного и отечественного обслуживания, порядок, а не волюнтаризм, не жульничество, не бардак, если уж выразаться своими словами, и главным в этом порядке была необходимость и способность выделять своих среди прочих, лишь на поверхностный взгляд похожих, как волка среди собак — у них и мясо на костях было другое, и запах, и повадка, позволявшая нигде не считаться с очередью; их можно было узнать, даже когда они, загремев по стечению обстоятельств, оказывались хоть в тюрьме, хоть в лагере — и Федор Фомич умел различать. Но после того как однажды на себе довелось испытать несправедливость, он чувствовал себя немного сбитым с толку; времена менялись, породы смешивались; среди людей с крепкими шеями и хорошей посадкой головы затесывался какой-нибудь хилак, и оказывалось, его тоже надо уважать, как, допустим, журналиста; ненадежен был даже костюм. Поэтому он на всякий случай поначалу бывал осторожен, он даже на бывшего соседа посматривал сейчас с новым интересом, на этого скользкого тихоню, который не просто ухитрился попасть в лучшую областную клинику, но и оказался обслужен на уровне мировых достижений, с применением новейшего аппарата «искусственная почка»,

с участием самого Фейнберга, к которому даже наверху, говорят, надо было еще искать подступы через сложную систему ходов и связей. А за стариком Маниным, почему-то умолчавшим о своей медицинской профессии, подозревал вначале чуть ли не инкогнито. Врач в больнице был все-таки своим, как продавец в магазине. После операции подозрения, конечно, отпали. Чтобы извлечь хоть какую-то прибыль из вынужденного соседства, Титько иногда пробовал вставлять старику зубы и мучил медицинскими вопросами о лечении сырыми крупами, иглоукалывании, о прочих особенных новинках; но толку с Манина было мало. Титько сидел, сопел беспокожно, глаз же его, лишь на вид заплывший свинячьим веком с белобрысой щетинкой ресниц, а на деле прищуренный глаз бывшего стрелка, продолжал ревниво оценивать окружающих.

## 5

Богатырев Игорь, из Москвы, был в соответствии с фамилией спортсмен, мастер по какой-то борьбе или боксу, вроде даже член сборной. За границу выезжал. У него и вид был понятный, и грубый рот, приспособленный говорить слово «падла», с ним было сравнительно ясно — если не считать, конечно, истории, приведшей его в больницу. Он попал сюда с ножевым ранением в живот. Дважды наведывался в палату милицейский следователь, но москвич сообщил лишь, что напали на него сзади (это он подчеркивал не без уязвленной гордости борца или, может, боксера: а то бы, дескать, дался!), человека три, лиц разглядеть не успел. Поскольку у него не взяли ничего, даже двухсот оказавшихся в кармане рублей и заграничных швейцарских часов, туманным оставался мотив преступления. Непонятно было также, что занесло спортсмена в Заречный район, когда он должен был на аэродроме дожидаться с командой продолжения рейса. Уже дозванивались до больницы из Москвы, по разговору можно было понять, что отлучился он самовольно, запорол важные соревнования. Похоже, спортивная карьера для него закрыта была теперь не только по медицинским соображениям. Титько нюхом чуял здесь падение, и то, что шмякался человек с такой высоты, тешило чувство справедливости. Тем более, москвич позволил себе

грубость, когда Федор Фомич значительно намекнул на особый, высокопоставленный характер своей болезни. Геморрой, спросил, что ли? — и сразу нажил себе врага. В то же время Богатырев был уже ходячий и силу физическую не вполне утеряти, так что Титько пока лишь заочно позволял себе пройтись насчет людей, которые получают деньги и привилегии, не принося обществу производительной пользы.

6

Кто был ясен сразу без вопросов, так это Коля Язык, деревенский заика. Этот в палату попал разве что по привилегии больничного старожилы. Коля покалечился лет девять назад, спасая из-под наезжавшего грузовика младшего брата, и с тех пор странствовал по лечебным учреждениям, где безнадежно, скорей из научного интереса, пытались подлатать то одну, то другую деталь его устройства, обновляя и обманывая его надежду на какую-то решающую операцию. О своей нечаянной самоотверженности он вспоминал без охоты. «П-просто не успел я ничего п-подумать, — объяснял он, заикаясь. — П-подумал бы, разве полез?» Больше всего Коля переживал из-за поврежденного мочевого пузыря, и не из-за самой болезни, когда зимой на ногах намерзали ледяные корочки и кости ныли, как от ревматизма, а из-за насмешек и запаха. Федор Фомич отдавал ему, вечно голодному, свои больничные порции, поскольку питался домашним, и оправдывал его пребывание в палате, используя для разных услуг — скажем, в киоск за газетами сбегать. Однажды Коля ни с того ни с сего брякнул Титько: «Жена у вас толстая». — «Ну и что?» — насторожился Федор Фомич. «Толстые добрые», — мечтательно произнес паренек и не смутился общего смеха, помешавшего всем додумать, почему в русском языке и впрямь так странно сближены два эти слова.

7

Когда Коля проходил мимо Лизавина, обдавая запахом мочи, Антона Андреевича касалось тягостное чувство, для которого он не мог найти слов — как бывает, не можешь вспомнить чего-то. Это была не

просто жалость к бедняге с испорченным телом и искорверканной судьбой, детдомовскому вонючке, научившемуся исхитряться в самозащите, искать покровительства сильных и даже нравиться им. Как-то Федор Фомич стал прохаживаться насчет его брата: ты, дескать, из-за него покалечился, а он тебе даже не помогает — и Язык с готовностью подхватил: проехала бы сейчас машина, сам бы толкнул. Спасенный братишка уже кончал техникум, ему было семнадцать лет, а Коле двадцать, он просто выглядел двенадцатилетним: на белых щеках лишь у подбородка лезли кое-где бесцветные волоски, которые можно было не брить — выпщипывать ногтями. В тот день Титько нашел у него под подушкой книгу «Половая гигиена» и, гогоча, вслух прочитал название. Язык чужим голосом взвизгнул: «Положь!» — и даже замахнулся своей палочкой, но не ударил (где уж!), только зашелся в истерике. Плач у него был неумелый, как у подростков, с подвыванием. «Да ладно, — говорил Титько примирительно. — Вон, обратно кладу; я ж ничего не говорю. Дело нужное. Ты давай вон с Зинкой попробуй, с санитаркой», — а старик Манин беспокоился и мычал, как будто просил о зубах, чтобы высказаться, и невозможно было вмешаться, подать голос, только закрыть глаза, отгородиться от этого мучительного бреда. Антон уже понял, кого отставной капитан зовет Зинкой, было очевидно, что он ее не узнал в этом наряде — и слава Богу, — думал почему-то он — как будто боялся вновь очутиться нагим перед этим прищуренным взглядом. Прикрыть глаза, ничего не хотеть. Он не знал, в какой момент она появилась в дверях — сперва повеяло воздухом, донеслись голоса из коридора, вошел Игорь Богатырев сказать, что Языка вызывают к врачу. «Но конкуренция у тебя, конечно, будет сильная, — завершал свою мысль Титько вслед уходящему, обращаясь уже косвенно к спортсмену, хотя тот и не слышал начала. — Бабы любят, чтоб был поздоровее. Думаешь, Зинка ради кого все к нам заглядывает? Вон, смотри», — и тут вдруг, открыв глаза, он встретил ее взгляд; она смотрела от дверей прямо на него, и от неожиданности он на миг вновь опустил веки, как будто наткнулся на внезапный свет. Всего на миг — в буквальном смысле, это было время, потребное для мигания. Язык заслонил, обдал его, проходя, запахом

мочи. (*Запах детства сладок нюху.*) «А чт-то,— выдавил он, задержавшись.— Й-я ее уже за сиськи держал». — «Вжевжа», — мучился на своей кровати Манин; мятый, маленький лоскуток нижней губы шевелился слюняво — а в дверях, как в сменившемся кинокадре, стояла уже посетительница с букетом дорогих оранжевых тюльпанов; белокурые волосы ниспадали на щеки, вызывая мысль о картинках в журнале мод, где достаточно лишь наметить овал лица, чтобы нос, губы, глаза стали даже не обязательны, ясно и так, что они образцовые; Игорь Богатырев пошел ей навстречу...

8

О, как вдруг защемило в душе! — словно чувство ошибки, неточности или вины. Она могла что-то не так понять, надо было поскорее объясниться, исправить. Между ними еще не было произнесено ни слова, вот ведь что, для нее в этом не было, как всегда, нужды, а он не вполне пришел в себя, чтобы даже взглянуть, чтобы выразить то, что хотел недавно, издалека. Почему оказалось так трудно? Он, наконец, будто очнулся — надо было только дождаться, пока она снова войдет в палату; не страшился же он в самом деле свинячьего взгляда Титько? Он ждал, прислушиваясь к голосам и шагам в коридоре, ждал, когда вернулся Язык, сраженный известием, что его выписывают; бедняга надеялся на операцию, но врач стал объяснять, что для операции он все еще слаб. «Погоуляй, наберись на свежем воздухе сил». — «Я не слабый, — пробовал еще цепляться Коля. — Я как больная кошка, знаете? они ведь самые живучие», — но в душе уже чувствовал, что проситься бесполезно, придется на несколько месяцев опять распрощаться со здешней сытостью, подкармливаться в инвалидной артели, изготовлявшей бельевые прищепки, от которых так побивались пальцы с широкими ногтями, белыми, как после бани, когда они бывают не твердые, а распаренные. Лизавин ждал; он вздрогнул, когда вошел, хлопнув дверью, Богатырев, взял с кровати, как веник, брошенный букет: «Цветочки уже носят, а? — показал, ни к кому не обращаясь. — Как к покойнику на могилу». — «Может, тебе к главному пойти? — советовал лениво Титько. — Сказать: как же, мол, так, обещали

же?» — а Манин, мучаясь кашей во рту, просился в разговор, но на него не обращали внимания. «Я м-могу сказать, — храбрился Язык. — Не б-будете оперировать, вырву сейчас вам п-прямо на стол». — «Пришла убедить-ся, — усмехался сам себе Игорь, кривя твердый рот, приспособленный говорить слово «пацла». — Понюхать, стою ли я еще чего-нибудь». Титько, смилостившись наконец над стариком, достал ему протез: «Ну, что?» Лизавин ждал, слушая голоса. «Видели ее? — сказал спортсмен. — Не женщина — приз для победителя». — «Не так... нельзя так, — пробовал пробиться старик; видно, что-то во рту устроилось у него неловко, приходилось наспех, с трудом ворочать, сглатывая через каждое слово. — О чем вы, когда нельзя... тут другое». — «Это, что ли?» — поторопил Федор Фомич, мусолением пальцев показывая деньги. «Не это», — Манин разволновался и оттого стал еще невнятной. Разочарованный в его вмещательстве Титько ловко изъясил у старика бесполезный протез. «То-то и оно, что ничего у него нету. А вырвать — подумаешь! Ту же Зинку пошлют подтереть». — «Посмотрим, — криво усмехнулся Богатырев. — Может, мне еще рано цветочки-то носить, а?»

9

Поздние сумерки сгустились в палате, когда Лизавин понял, что ждать придется теперь целые сутки, до новой смены, и впал в полудрему. Верхушки старинных лип за окном сияли неестественной электрической зеленью, освещенные огнями четвертого вознесшегося этажа. А тут, на втором, у Федора Фомича Титько болело сердце, приходилось всерьез глотать лекарства и дышать осторожно, в полгрудь, чтоб не кольнуло сильней. Борьба за право предъявить исключительный случай организма на высшем уровне и там успокоиться, грозила обернуться заурядным, здешним приступом. Он ощущал болезнь, как тягостный нарост внутри, за грудиной, как слизня тоски, мешавшего дышать. Господи, да за что же! Сколько сил, сколько пота и крови потребовалось, чтобы выбиться в жизнь, воспрянуть после несправедливости, получить хоть то, что имеют другие, включая возможность потреблять на бесплатных мероприятиях икру обоих цветов, угощаться коньяком, случалось, что и французским, не

таким вредным для слабых почек, зато дававшим сознание, что ты за так принимаешь внутрь организма на полсотни в неделю, а то и больше, то есть в пересчете на месяц... Господи! почему же именно у других все переваривалось нормально, а у тебя именно деликатесные продукты выходили нетронутыми, ну то есть совершенно, икра даже не меняла оттенка. Не то чтобы это доставляло мучения, но и удовольствия физического не получалось, то есть не выделялось даже слюны и других соков полноценного наслаждения. Морально же выходило как-то обидно. Получалось, будто деликатесы не про твою честь. Пирожок какой-нибудь с капустой или огурец соленый — это пожалуйста, это переварится до полной кондиции, с полным удовольствием, а то — хрен тебе. То есть значит, как был ты мужик, черная кость, так и остался, и нечего, мол, соваться. За что, Господи? несправедливо. Другие и жрут, и срут в полное удовольствие, и в «люксе» пристроились, а чем они лучше? Я же их знаю, а ты подавно. Они того не видели, что я, и не натерпелся столько, разве нет? Они поверху все шли, подошв не пачкая, а мне откуда выбираться пришлось? Господи, что тебе говорить, не в звуках же для тебя дело, ты и без них видишь насквозь, я понимать способен и признаю чистосердечно... Господи, то есть именно словами-то, для других, чего не наговоришь, а беззвучно, вот как сейчас, душой, ты же знаешь, я никогда не отказывался. В церковь с бабкой ходил, слова до сих пор помню: отче наш, иже еси на небеси, а если насчет того попа, что в карцере простудился, так он, по-нашему, вовсе не поп, и креста на нем не было, я знать не знал, что важная птица, мне все равны, что поп, что не поп, а жмых воровать у коров никому нельзя, жмых, между прочим, казенный. Вы, Господи, сами, можно сказать, инстанция высшая, руководящая, знаете, с кем приходится управляться, и жизнь эту не я устроил, и людей, между прочим, как они есть, не я создал. То есть я ничего, это без всякой критики, если что, я с себя не снимаю, но меня разве не обижали? Стаж нормальный, и то не дали выслужить — за что? Я ведь еще полюдски, я старался культурно, может, потому и страдал всю жизнь за лишнюю доброту. Моя бы власть, я всех бы устроил по справедливости, я справедливости только прошу, Господи!



Утром Яков Ильич вдруг попросил у заглянувшего врача разрешения выкурить сигарету. Они оставались в палате вдвоем с Антоном. Языка выписали, Титько перевели наверх — сработала неслышная миру молитва; спортсмен не вернулся с завтрака, исчез куда-то; посетителей двое одиноких людей не ждали. Пустота, тишина воскресного дня, голоса птиц за окном. Влажный после уборки линолеум отражал свежий квадрат и отсвет зелени в нем. Доктор Фейнберг наведаясь в палату не по службе, он не был дежурным, но захотел зачем-то посмотреть Манина, долго, прикрыв глаза, прислушивался к пульсу, нащупывая его в разных местах; под его бескостными пальцами пульс был как живое голое тело, выдающее глубокие подкожные тайны. Про Фейнберга ходили легенды, будто он не только пришивал отрезанные пальцы и руки так, что они действовали, как здоровые, но однажды сшил человека, перерезанного пополам циркулярной пилой, и двенадцать дней поддерживал в нем жизнь, а мог бы и больше, если бы печень бедняги не была разрушена циррозом от застарелого алкоголизма.

— Напоследок, коллега, одну,— сказал Манин. — Или хоть половину.

— Станный разговор, коллега,— вскинул ироничную бровь доктор, сухощавый, бодрый, корректный.— Вы же понимаете. И что значит: напоследок?

— Именно потому, что понимаю,— Манин прикрыл желтые и тонкие, как птичья пленка, веки.

— Вы меня, кажется, не узнали, Яков Ильич,— сказал Фейнберг.— Я когда-то проходил у вас практику, в Колобовской больнице. Конечно, вы не можете помнить. Однажды к вам привезли девчонку, отравилась эссенцией, потому что кавалер на танцах пригласил не ее, а подружку. Как вы славно ее отчитали, дуреху! Она все поняла. А неделю спустя повторила попытку и уже успешно. Помните? Я был удивлен, как это на вас подействовало. Мы вышли с вами на крыльцо, вы курили и вдруг стали развивать литературный сюжет: как попытка самоубийства наказывается тем, что человека заставляют прожить все сначала, ту же самую жизнь до того же момента. Я хорошо запомнил. Особенно ваши слова, что достоинство, необходи-

мость помнить себя, держаться вопреки всему — не просто личный долг, а требование высшей силы. Что в вами? Вы сами прекрасно знаете, у вас ничего страшного, надо просто прийти в себя.— Он тронул Манина за тощее плечо и вышел, оставив старику протез как бы в подтверждение, что беспокоиться не о чем — да он лично и не имел отношения к этой глупой и унижительной выдумке.

Приобретя зубы, лицо Якова Ильича оказывалось не таким уж старым и вовсе не жалким, оно словно вспоминало былой ум и значительность. Расчерченное множеством четких, на редкость ясных морщин, это лицо объясняло, что человек именно с годами обретает цену, как старая вещь, которой удалось пробиться сквозь трудное время, переработать его в себе, обогатившись его отметинами. Ничто так не говорит человеку о предстоящем распаде, как вид беззубого рта; может, потому сам Манин перед операцией не напомнил, хотя и мог, чтобы ему вытащили протезы? — надеялся обойтись, а вышло вон как.

— Я слышал о нем,— медленно рассуждал он теперь, обращаясь ли к соседу у противоположной стены или просто сам с собой, наслаждаясь возможностью говорить вслух. По виску его стекала слеза.— Феноменальный врач. Феноменальный не просто как хирург и диагност. Но тем, как держится, как считает возможным делать свое дело среди здешних склок и развала. Все правильно. Но ведь и я о том же, почему он не понял? Мы так гордимся трезвостью своего ума. Зачем, в самом деле, приговоренному напоследок обед с вином и кофеем? Смешно. Какая разница, поел ты... или даже понял... постиг ли под конец что-нибудь, если через полчаса все будет равно? Ну, пусть через пять часов, через день — все напоследок. Все равно. В том-то и каверза. Через пять лет или через пять минут — нельзя допускать этой щелочки. Я многое испытал. Тюрьму, войну. Меня столько раз могли убить. Просто убить. И я этого не боялся. Но боялся чего-то другого. Всегда. Унижения. Утраты себя. Думал: до последнего мига... только вот выкурить папироску. Он не понял, он просто еще не испытал.

Зачем это напоследок? Кто издевается так над нами? — Манин, сглотнув что-то, замолк, и Лизавин от противоположной стены увидел, что Яков Ильич плачет; нет, видно, болезненный сдвиг еще не до конца прошел. — Я отвратительно кричал, да? — справившись с последним всхлипом, вдруг обратился старик к Антону. — Впрочем, вы, кажется, не слышали. Вас тогда еще не привезли. Наверное, отвратительно. И обделался вдобавок. — Он вновь подавил спазм. — Этого не объяснишь никому с другого берега. И не поймешь. Меня там почти не осталось, вот в чем позор и ужас... Как вам это все-таки передать? Может, надо, чтоб вы знали... Уже большая часть расползлась, переходила во что-то вязкое, равнодушное. Ужас и одновременно постыдный, предательский соблазн расползтись, растечься до конца... Нет, слова здешние не годятся. Если б не эта девочка... удивительная... от ее прикосновения что-то исходит. Даже от приближения. Я все же попробую сказать. Это важно. Тут общее. Происходит борьба сил неопишуемых. Сейчас, каждый миг, все время. Мы участвуем, не подозревая. Все связано. Изумительное искусство врачей, фантастическая техника... но проникает сквозь щель, ничтожную, хамскую, сквозь нас...

12

Приснилось или он видел в полузабытьи: солнце бьет в глаза из-под закатных облаков ярим, яростным, чрезмерным светом театральных софитов, когда все становится черно-белым, как накрашенные губы на мертвенно-бледном лице. Листва отсвечивает негативом: белые от блеска плоскости, черно-зеленые тени. Парк и город внизу под ногами, воздух полнит тела ощущением тревоги и полета. Как нас сталкивает до боли и снова разносит в стороны! Я даже не успел сказать тебе наяву того, что хотел, о чем думал все это время. Ослабел. Да наверно, и не был силен, мне от природы не так много дано, я только тянулся иногда, все как-то надеялся проскочить. Троеперстие это... Боже мой! — надежда на силу внешнюю. И вдруг подсекает тебя под ноги, как клоуна в цирке, а не поймешь с первого раза — добавит. И вот утраченное болит, и только поэтому чувствуешь, наконец, что это на самом деле. Не то чтобы я прежде был бесчувствен, но

имелось в существе моем какое-то анестезирующее свойство. Приглушало. Даже зубную боль терпеть мог неделями, врачи потом возмущались. И вот нету анестезии. И опять кажется, что прежде по-настоящему не жил. Что со мной было? Потерял себя, да. Но не так, как теряет любящий, растворяясь в любви и потому оказываясь сполна самим собой, — сейчас я способен ощутить тебя, словно ты женственная часть собственной моей души, я потому даже вижу тебя, и этот свет. Но тогда было другое. Я поддался другому. Старик нашел слова за меня. Я знаю, чего испугался, пусть на короткий миг. И оказался несовершенен — так это называли когда-то. Я сейчас слаб и потому честней обычного. Но ведь мы же сами не знаем себя сполна, вот наша надежда. Этот мальчик несчастный (при его запахе почему-то все время встает детское лицо с фантика), я могу его представить ужасным, дай только возможность и силу... у Милашевича что-то есть и про это... но ведь было внутри его что-то, что заставило до раздумья броситься под колеса? Неужели с любым из нас может быть что угодно? — и со мной, и с тобой? Наверно, нельзя так думать, это и есть то, чего ужаснулся старик. Что этот несчастный говорил про тебя?.. нет, нет, я знаю, нельзя так спрашивать, я не имею права, и ты не ответишь... опять неузнаваемая, как во сне, сумка незнакомая через плечо, внизу деревья и город. Не отвечаешь, как будто ждешь кого-то другого. Невпопад. И ничего не поделаешь, и утекает непоправимо единственная жизнь. Нас разносит, разносит опять. Но почему непоправимо? Вот он же нашел снова, сумел вернуть. Силен был, нечеловечески силен, не чета мне, да ведь и она не молчала, как ты, так все-таки трудно, если б ты знала. *Сравнить с собой это беззвучное, разлитое в воздухе...* Откуда столько боли? — и эта музыка нестерпимая... и свет за приоткрывшейся дверью...

Горят дежурные лампы на столиках ночных сестер, полумрак в коридорах, загроможденных койками с потными, стонущими, храпящими во сне телами; запах беды, лекарств, болезненных выделений заполняет воздух. А наверху яркость и накал света, звукам не просочиться сквозь перекрытия старинной работы, из бруса

дубового, мореного, годного хоть через сто лет на инструмент Страдивариуса. Здесь, на четвертом этаже, когда-то за полночь сидел над немецким журналом сам старик Боголепский, основатель больницы, здесь присутствовал на пиршествах ученого духа совсем еще молодой Манин, и в углу стоял рояль, иногда звучащий; нынче здесь тоже музыка. Она не вытекает из распахнутых окон, держится внутри пространства, как загустелый свет, замкнутый листвой громадных лип. Электрическая зелень, особый цвет, когда листья кажутся искусственными, а запах создается духами «Июньская ночь» на французском языке, привезенными из Парижа по культурному обмену. Чернеют крашенные рты, пот усердного наслаждения выдавливается из пор, набухает жирными каплями над губой. Где-то отбивает ритм ударник с неряшливыми бакенбардами, трясутся тела в такт музыке и не в такт, не в ней дело. Мы сами себе создаем музыку. Наслаждаемся, а? Блуждающие улыбки, застывшие лица, веки самозабвенно прикрыты, но взгляд ловит выражение других: вроде бы у меня не хуже. Чего у нас еще с вами не было? Постараемся, постараемся. Мы обязаны, мы обречены наслаждаться, как обречен индийский жрец лишать девственности окрестное население. Вот они — мы, бедные, словно захваченные судорогой. Не так это просто — исполнять роль счастливых, отстраняя страх жизни. Топают каблуки о потолок низлежащего этажа, в такт и не в такт. Зеленеют на просвет бутылки сиротского пира. Освященные окна несутся сквозь ночь, над болезнями и смертями, над болью, поверженностью и бедой. Все мы, говорят, временные, но временность-то у всех особая. Там, под ногами, могут умереть и сегодня, да мы-то пока поглядим, а там — кто еще знает? Ведь нет абсолютного доказательства, что конец одинаково неизбежен для всех, это пока лишь статистический факт, умозаключение из опыта живших до нас. Но ведь такого, как я, еще не было в мире! Другое существование, другая возможность вознестись над общей судьбой. Существует, наконец, где-то этаж и повыше четвертого, еще есть надежда — кто знает? Воздух настоян на крылышках ночных мотыльков, потный пух лезет в ноздри, копошатся черви в рыбьей головизне, шевелятся, чмокают присоски, и влажная чернота густеет от испарений.

— Ну, что? — провозгласила санитарка Фрося, звяком ведра, грохотом двери вторгаясь в утренний сон. Еще не было и семи, а носик у старухи был красненький, вид довольный, как будто уже хлебнула любимого портвейна «Кавказ». — Лежите двое? Лежите, лежите. Студент ваш этот вон уже добегался, — она ткнула грязной шваброй в койку москвича Богатырева, пустовавшую всю ночь. — В ринемации сейчас отхаживают, ну, там неизвестно. Его знаешь, с кем? — ой, мать моя! — с Зойкой нашей в кустах застукали, за котельной, знаете, у забора. Веня из морга, может, видели, с такой губой? Он тут и живет при больнице. Вышел утром, смотрит — а этот в одних трусах, и она, Зойка, значит, тут же. Ну, с перепугу дернулись или, может, он с ней перестарался, шов-то у его сырой еще, лопнул, говорят, от натуги. Тьфу, — плюнула тетя Фрося и с наслаждением стала возить шваброй по собственному плевку. — Нашел на ком оскоромиться. Она тут во все мужицкие палаты так и лезла, так и лезла. Винищем от обоих несет, и эта сама вдрызг. Он ведь не ночевал тут... постель-то вон, а?.. Чего?.. — переспросила она, наконец.

— Врача, скорей позовите врача, — повторил Антон Лизавин.

— Чего врача? — не поняла санитарка. — Врачи уже колготятся. Он у ей всю ночь, говорят, проночевал.

— Врача, бегом, поскорее, пожалуйста, — с трудом удерживался от крика Лизавин.

— А-а, а-а! — кричал старик. Глаза его были выпучены, кисти рук тряслись, скрюченные, над грудью. Липкая смертная влага сочилась из пор, оплывала оконная рама, и безголовые насекомые полнили воздух, непосильный для дыхания.

## 12. Зита омега эта

У пролома больничной ограды, как условились. В наплечной сумке с буквами «SPORT» и контуром одинокого боксера пижама казенного застиранного цвета, в катышках свалывшейся байки. Воздух до мура-

шек чувствует полноту тела под легким платьем. Внизу, под откосом оврага шевелятся верхушки тополей. Вдалеке за ними, как мираж в мареве, светится квартал новостроек. Правей деревьев, где ветви редели, зарождалась и ширилась в пустой котловине свалка. От трепета ли воздуха, от поворота ли головы вспыхивали на ней то тут, то там драгоценные осколки, словно что-то жило и шевелилось в отслужившем веществе

вспышка детского чувства, что время, проходя, не исчезает, а скапливается на отдалении, как обозримая застойная местность, оттуда звучали голоса ушедших, даже, казалось, забытые, там, вглядевшись, увидишь и лица (только невозможно приблизиться), там оставалось то, о чем рассказывал когда-то папа, и все, пережитое другими, о чем можно было прочесть потом в книгах; иногда словно загибался медленный круговоротец, так что, глянув в одну сторону, можно было увидеть еще не подошедшего и услышать наперед, что он, подойдя, спросит (и ответить, не дожидаясь вопроса), или в какие ворота угодит черное пятнышко, которое гоняли по экрану быстрые фигурки мужчин, но этого лучше было не говорить, пропал смысл игры, Костя сердился. Если матч записан на пленку и счет известен заранее, лучше этого не знать, неужели тебе непонятно?— говорил он. Понятно, конечно (хотя при чем тут пленка?); в игре было понятно все, кроме страстей из-за выигрыша... ничего себе малость

запах вечерней пыли на улице; сладость пота, щиплющего глаза, слизанного языком с губ, радость бега, шум крови, упругость мяча, усталость разгоряченных мышц. Комок сухой земли, брошенный вдогонку, рассыпается, не долетев. Чокнутая, кричали в спину, не приходи больше, не примем, а ты и не оглядываешься, медленная, независимая, с ногами в цыпках — последняя и напрасная надежда команды. Такой увертливой и быстрой в самом деле ничего не стоило выручить своих, зачем же, спрашивается, поддалась, откровенно дала в себя попасть последнему мячу? Неужели потому, что ощутила в собственной слюне оскомину чужого огорчения? А своих огорчать было не жалко? Не свое ведь уступала? Но это приходило уже потом,

запоздало, и улыбка подрагивала на губах скорей растерянная, чем независимая и высокомерная

какая разница? — говорил папа. Вы вспоминали о своих приключениях, общих путешествиях и поединках, где папе приходилось бывать и волшебником, и принцем, и Иванушкой, то есть Прошей-дурачком, а дочке — его дочкой. Сама ты просто подзабыла, потому что была тогда маленькой, но теперь припоминала по его рассказам, как разные другие давние происшествия, например, как ты заснула в шкафу и тебя искали; это были воспоминания из числа прочих и такие же достоверные, только очень дальние, так просто не разглядишь. Папу самого иногда подводила память, особенно если продолжать приходилось после долгого перерыва, тогда случалось ловить его на непоследовательности. Накануне вы оба попали в плен к колдуну-фокуснику, были заперты в доме, полном коварных чудес, а теперь, оказалось, победили, даже взяли в добычу ковер-самолет, на котором уже собирались отбывать в знакомую страну Аристань. В самом деле? — папа приподнимал левую бровь, но вовсе не шел на попятную. Может, я что-то пропустил. Кажется, он сам послал нас в Аристань. За яблоками. Да, но это неважно. Какая разница, кто победил. Важно, что мы туда полетели, за это я ручаюсь

чувство полета, как будто не ты перепрыгиваешь, а земля успевает повернуться под ногами, пока ты зависаешь в воздухе — зависла. Теплый ветер развеивает сарафанчик, пахнет парным молоком от прошедшего стада, гудят в сочном воздухе майские жуки. Вспыхивают на солнце стекляшки — нечаянные воспоминания жизни под блуждающим острым лучиком. Жуки принадлежали все незнакомому мальчику с Тургеневской, он только выпустил их полетать, но ловить не разрешал. Отдала без всякого сожаления, наоборот. Увидеть владельца всех окрестных жуков — чего не отдашь за это. Жуков в воздухе все равно оставалось полно, как луж после дождя, с отражением синего неба в каждой, как драгоценностей на свалке или камешков на берегу. Мамин янтарь из брошки имел ничуть не больше цены, его так же можно было дарить. Семейная слабость, — это мама сказала, а папа подхватил: наследственность. Только не стоило здесь говорить



о доброте и щедрости — ты ничем даже не поступалась и отнюдь не опровергала своей репутации дурочки у тех, кому дарила, вынуждая маму спрашивать потом по соседям домашние вещи

а в игре так просто было для самой себя перевернуть правила, считать выигрышем и радоваться, что забрала себе все карты, или превратить шашки в поддавки — для себя и до поры, пока противник еще способен был радоваться одновременно обратному. Мальчишки стреляют бузиной из трубочек. Можно зарыться по шею в теплый песок. Игра. В канаве бегут облака, на дне тускло светятся жестянки, проплывают, как рыбы, тритоны. Страхи, обиды и горести настоящие, как у взрослых, и больше, чем у взрослых, но всегда еще немного сказка про обиду, игра в горе, сон о страхе

ноги, согнутые в коленях, уже превращались в травянистый замшевый холм, на который вела желтая дорожка, и голова тоже готова уйти туда, но мысль, что это сон, опять превращала холм в ноги, и лишь после колебания на грани голова наконец переходила ее, исчезала, превращалась в дерево, на котором сидел кто-то черный. Мама, плохой сон приснился. Прогони плохой сон — но ведь знаешь, знаешь, что сейчас возникнут теплые губы: «Спи дальше, маленькая»

заревое охватило полнеба, потому что девочка в сарафанчике с оттянутыми кармашками, с пятками, черными от клейких почек, подошла запрещенными спичками сухую траву в овраге; дым густеет над заревом непрозрачной тучей, сейчас грянет из нее гром и польет ливень. Лопаются водяные шары, градины, отскакивая от земли, расцветают ландышами. Дождик, дождик, перестань. Большая уже, неужели не знаешь сама, что дождик кончится вовсе не от этого? знаешь, что снег сойдет, почки распустятся, что весна все равно наступит, но все-таки, все-таки каждый раз глупая тревога, и в душе чувствуешь власть над событиями и страшишься ее

моя дочь! — сказал папа и поднял значительно палец — отставной актер, умевший перекликаться с птицами и передразнивать музыкальные инструменты, завклубом в ношеном пиджаке с перхотными пле-

чами, колючей вечерней щетиной и красным носом картошкой, с хромой походкой инвалида и неудачника, личный знакомый, а может, и верховное божество городских собак, которые тянулись к нему с робким почтительным обожанием и, не приближаясь, сопровождали на расстоянии, как верноподданный эскорт. Моя дочь. Дотронься еще губами, вот сюда, очень болит. Вот. Еще немного. Вот, проходит. Удивительно, откуда в тебе это? Мама, впрочем, тоже умела. Совсем прошло

бывало от каких-то слов, разговоров, от чьего-то присутствия: воздух становился глухим, бесцветным, вокруг ушей, глаз, головы дремотный колпак. Говорить смотреть слушать не хочется, от света болят глаза. Потом появлялся папа, и все возвращалось: звуки, воздух, краски, горестный запах перегара. Верь папке. Папка лучше знает. Как они берутся различать, что правда, что неправда, что настоящее, что нет? Что они знают о джи и красоте? Я поклялся создать счастливейшее существо. Я преступный честолюбец и Пигмалион, но ты в меня не бросишь камнем. Тебя я не обманул. Вырастешь, поймешь. Изрядно уже тогда выпивал, хотя нос у него был красный не от этого, и голова не от этого болела; у него были свои способы справляться с жизнью

захлопнуть в книге страшную картинку, чтобы мама, проходя, не увидела, как красавица, похожая на нее, приставляет к груди нож — нельзя было перед ней открывать такие картинки

я поняла. Раньше не понимала, а теперь поняла. Я тоже старушка, давно умерла, лежу в земле, меня едят червячки, и мне только снится, что я опять родилась, я девочка и буду жить, опять умру и рожусь, может, у другой мамы, и мне опять будет сниться

мамино лицо, спокойное и прекрасное, как на фотографиях в альбоме с тяжелым бархатным переплетом, их столько рассматривала, что уже вспомнить можешь только это лицо с фотографии, вот этот профиль над розовым, в складках, краем гроба, среди света и музыки, омытых слезами, сладкими на языке и губах. Ничего, спи дальше, конец будет хороший, папка лучше знает. Мама и папа в дальних временах, где тебя еще

нет, папа, как полагалось ему, в костюмах разных своих ролей, молодая мама у рояля в белом концертном платье, платье принцессы, в белых туфельках, которые теперь дожидались в сундуке, пока подрастет наследница, готовая примерить. Солнечные ящерицы бегали по траве, по одеялу, по тарелке с хлебом и яблоками, муравьи, жучки и гусеницы путешествуют в зарослях по глади, по хлебным крошкам, как по ландшафтам обширных стран, ласточки и стрекозы пересекают воздух ради пропитания, но еще и просто так — от полноты жизни, перламутровый шум окрестностей отдается в раковине, свиристит, звенит в ветвях невидимая птица свиристель, а может, и зинзивер, во всяком случае, мухоловка никак не может издать ни такого звона, ни верещанья, как не могла хавронья с рыжей щетиной претендовать на изящное имя свињи. Со словами не все было в порядке. Повидло само по себе могло быть вкусным, но от слова тошнило, как от ржанных и зеленых полос на коврике, сшитом мачехой (пришлось облить его чернилами, чтобы убрали), или от георгинов в базарном букете, но можно просто не смотреть, с годами научилась

слушать не слыша и не оспаривая, особенно в классе, даже не очень понимая, что тебя дразнят, и не чувствуя себя уязвленной (как не считала себя некрасивой или плохо одетой); счастливые люди должны быть великодушны, внушал папа, не всем дано то, что тебе, но превосходство тут ни при чем. Повадка полусонного диковатого зверька (что поделаешь, без матери воспитывалась). Уже большая, голенастая, с выпуклыми, всегда полуприкрытыми веками, а карманы все оттянуты сокровищами, которым давно бы место на свалке, где ржавая цепь от детского, не по росту, велосипеда, о которой стучаются коленки, шестеренки заржавленных часов, пробки от использованных флаконов. Потайное место за сараем, в зарослях выродившейся сливы, доски в занозах, опухшие железки, блеск цветных стеклышек, шоколадной фольги. Драгоценный клад, который надо вовремя зарыть где-нибудь у забора, так, чтобы не найти места через много лет, когда съезживаются расстояния, другой становится география, как, впрочем, и физика и биология, смещаются ориентиры и направления, край света оказывается все-

го лишь дальней улицей, а все тысячи в миллионе одинаковыми и равноценными. Но слава Богу, ты про себя успела узнать, ты уже попробовала считать до миллиона, одни были освещены солнцем, другие окрашены сумерками или рассветом, шелестом дождя, теплом постели. Разные знания могли и не отменять друг друга. Конечно, повелевать тучами и дождем не так просто, могло быть совпадение. Мы все уже знаем и книг прочли много, деторождение и техника брака давно для нас не тайна, даже когда мы спорим с подружками, что наша курица несет яйца без всякого петуха, у нас и петуха-то нет. А ты сама еще ни с кем ни разу? Вместе со смехом растекался молочный глухой туман, обволакивал слух, голову. Ну и ладно, они были маленькие, не ты, уже читавшая в фельдшерском справочнике раздел «Акушерство и гинекология», правда, всего лишь до второго абзаца статьи «Аднексит», дальше вырвало, но и этого было достаточно. Не в том дело. Но чем было бы все наше взрослое знание, весь этот простенький, в сущности, опыт, если б внутри не присутствовало, светясь, как зародыш, как крохотное существо в наросшей оболочке, невозможное, призрачное, прозрачное, шевельнувшееся впервые, когда черноголовый мальчик отнял у тебя жука? Этот зародыш, в который вмещается целое, только ждет часа очнуться, расправиться, дорасти до тела и совпасть с ним. Личинка становится куколкой, а куколка бабочкой, исполняются отцовские обещания, повелитель жуков выходит из озера смуглым нагим юношей, этот принц с Тургеневской, оказывается, влюблен в тебя, так уверяют, посмеиваясь, сводные сестры, а над озером радуга, ледяная вода наполняет пузырьками поры тела, изменяя его состав. Папка лучше знает. Мамино платье дожидается в сундуке, карнавальная наряд принцессы, вы встретитесь на обещанном балу в отцовском дворце культуры, и впервые прикосновение чужого тела в танце скажет о возможном слиянии и полноте, будут бить часы, обозначая конец папиной постановки и папиной жизни, и страх впервые окажется настоящим, тяжелым, непоправимым.

папа лежит на траве в паутине полуночного тумана, старик, седая щетина на крашенных гримом актерских щеках, толстый язык паралитика пытается объяснить

напоследок что-то сквозь хрип репродукторной музыки, доносящейся сверху, от клуба, недавний принц деловито подкладывает ему под затылок свой свернутый пиджак, он в галстучке цвета повидла, от слов его пахнет пивом, и зовут его Костей Андроновым. В паутине дерева, кони обернулись крысами с розовыми хвостами, на тыкве сбоку пятно земли, и лишь умственная словесная память утверждает, что ты ждала и любила этого человека, этого, в галстучке, пиджаке, с белыми бодрыми зубами, и он тебя, он в этом уверен, он знает, что делать и как все устроить. Больше некого было спросить

нет, лучше не задерживаться в тех днях, перевести взгляд, дверь открывается в новый дом, оснащенный электрическими фокусами и чудесами: пластмассовый голос произносит слова приветствия, сам собой зажигается свет, поют среди зимы соловьи, канарейки и зяблики, танцуют под лучшую музыку сполохи полярного сияния, в одной комнате южного, в другой северного, но уже не узнать и не пережить детского плена, внутреннее существо ужалось опять, скорчилось крохотным зверьком в посторонней оболочке, к которой так жалко, благодарно и жадно тянется громадный, тяжелый, неузнаваемый. Благо, звуки, цвета и запахи не вызывают уже ни отвращения, ни пристрастия, излечились детские прихоти и капризы вкуса, только память о долге, вине, жалости, и не так уж много от тебя требовалось, он так радовался малейшему движению, бормотал бессвязные слова. Да, все было хорошо, ведь и тебе не было плохо, все как надо, так и должно быть взаправду, у всех так, только тело оставалось сухим. Кто говорил, что дети бывают от этого? — вот и подтвердилось, что права была ты. Яйца бывают от курицы, котята от кошки, истории, которыми просвещали друг дружку одноклассницы, всего лишь детские страшилки. Неужели ты теперь действительно взрослая? Непонятно. Не взрослей, чем тогда. Вот другим удалось.

одноклассница встретила, совсем тетенька, с громадным девятимесячным животом. Чувство робости, даже какой-то почтительной. Пусть не говорят, что в этом чуде нет заслуги. Она смогла. Ну, как вы со своим? Бережет тебя, а? Да, тебе с мужиком повезло,

и непьющий, и мастер на все руки, даже посуду, говорят, тебе мыть не надо, комбайн лучше фабричного, и ванну устроил, и унитаз городской. Лучше городского, вода спускается сама собой, едва встанешь

на стене сменяются призрачные цифры времени, все одинаковые, как тысячи в миллионе. Опять ноль часов ноль минут. Наверстаем. Смотри, какой сигнал я встроил в будильник, просыпаться будешь как в роще весной. Вот раковина, способная навевать цветные сны, вентилятор, разгоняющий дурные мысли, магнитный табурет, на котором можно приподняться в воздух и узнать чувство полета, ящик погоды, чтобы создавать запах морского бриза, солнце для августовского загара, даже, если хочешь, легкий комнатный снегопад на время уборки, а заодно избавлять от мух, клопов и запаха помойных ведер, вот сковорода, не требующая огня, кстати, что у нас сегодня на ужин? Слово «картошка» было произнесено за десять минут до того, он просто не всегда замечал, что ответ дается ему раньше вопроса. Время было так плоско, так обозримо — хотелось прикрыть глаза, уши, не испытывать вины оттого, что подглядела, подслушала открытое и тем обесценила его как выданный до времени секрет, как засвеченную фотографию, как книгу, которой заглянули в конец. Нет, хуже, страшней, запретней

пристраивали к дому террасу, Костя передавал наверх тяжелую балку, там ее надо было только придержать, это нетрудно. Вдруг увидела, как он поскользнулся, как балка, вырвавшись у тебя, воткнулась в землю между его ног, и ощутила липкий холод смертного страха, а в следующий миг это произошло на самом деле. В верхке от гибели. Воздух трясло крупной дрожью, тридцать девять и восемь к вечеру, в Нечайске уже было несколько случаев, азиатский грипп без кашля и насморка, остальное можно было считать осложнением, хотя доктор Дягиль позднее не исключал и отдаленного последствия нервных потрясений. Дягиль Лев Александрович, румянощекий нечайский Айболит, старомодный приверженец мнения о духовной (или душевной) подоплеке человеческого нездоровья, еще употреблявший латынь и произнесший в соседней комнате полузагадочные слова «mutismus

isterica». Попробуйте валерьянку, элениум, триоксазин, но, скорей всего будем надеяться, пройдет само по себе, иногда воздействует новая встряска

перемена почти не чувствовалась. На рынке иногда спросишь цену, а можно и не торгуясь показать пальцем. Зато нет такого чувства, что говоришь и делаешь все не то, все не то. Удивительно, как вообще мало нужны были слова. Но других молчание тянуло, как пустота, которую надо было заполнить. Говорить, говорить, чтобы отгородиться от чего-то, чего-то не допустить. Господи, как же мне хорошо с тобой, как хорошо. Что, опять не выпалась? Ничего, ничего, я сегодня приду пораньше. Проходят черные дни, наступают белые ночи. Не пей сырой воды, пей сухое вино, вчера как раз завезли шампанское, вот ведь кстати, как будто знал, что вы придете. Знакомьтесь, Зоя, моя, так сказать, супруга, а это Максим, мой, так сказать, кореш армейский, а с Антоном вы небось и так знакомы? Ну как же, Андрея Поликарпыча, учителя сын, из нашей же школы? ах да, он раньше кончал, теперь все сравнялось

словно полоски узора, сместившись, совпали со слоем других, из спутанной глухой паутины возник единый узор, легкий, пронизанный светом, словно протерто стекло или выставлена в честь весны рама, словно возник рядом папа. Ясный звон в ушах, пузырьки в запотевшем бокале, голос бородатого Антона течет сквозь пальцы теплой пряжей, седая от росы трава, седая щетина на папиной щеке, тонкое нездешнее лицо, чужой хмель в голове, произнесенные, но слышные слова, самодельные неоновые сполохи, включенные ради гостей, запах керосина и кухонного ведра

и потом это: Костя, стоя с ногами в ванной, прополаскивает под струей стиральные на ночь трусы. Забыл запереть за собой дверь, подвыпивший. Нечаянно увидел, впервые после озера, да, в самом деле впервые, заматерелые складки жира, могучие волосатые ноги. Какое отношение он имел к тому смуглому юноше? Впервые так ясно. Скорей прикорнуть, притвориться спящей и с закрытыми глазами увидеть, как он подходит голый, добродушный, хмельной, остановился, смотрит, ну а теперь расслабься, не надо, не тронь, ты

добрый, ты милый, пройди мимо, тебе ведь хочется спать... вот так. Значит, ты можешь это опять? Опять эта вина, тревога и страх перед собственной силой

запах весеннего навоза, шум подснежных ручьев в канавах. Белые пятна льнут к оконным стеклам. Знаете, почему вы встретились мне? Я захотел. Я увидел, как вы надели пальто, как вышли. Наоборот, это я. Я захотела, я увидела. Смотрите, вы тоже левша? Да, а это что-нибудь значит? Не знаю. Есть взгляд, что левшам свойственна какая-то, что ли, зеркальность в поведении, в отношениях со временем. Я этого не понимаю. Я тоже, хотя когда-то даже учился. Но бывало острое чувство непохожести на других. У меня тоже. Не то чтобы казалась себе ненормальной или глупой, наоборот. Да, да. А знаете, зачем я хотел вас видеть? Меня иногда одолевает болезнь, я задыхаюсь. Вчера у вас мне стало вдруг необыкновенно легко дышать. Хотел убедиться, проверить. Да, папа говорил, что я умею снимать ему головную боль. Но не знаю, во мне ли дело. Я с разными людьми по-разному себя чувствую. Может, это болезнь. Я, наверно, больна. Я была больна. Папа мучился головными болями, но не потому что пил, и нос у него был красный не поэтому, такой добрый клоунский нос. Он в детстве пытался исправить его форму, прижимал и что-то, наверно, повредил. Хотите, я вам расскажу про папу

звон, прутья краснотала, синие тени. Знаете, что значит ваше имя? Да, папа мне говорил. По-гречески. В метрике было написано Заира, ему почему-то нравилось. Потом само получилось Зоя, он принял. Потому что знал, что это значит. Пишется вот так, хотите покажу? Красным прутиком по снегу крупными буквами. Мелкие не получились бы, наст крошился. Ледяные корочки. Зита омега эта. Соседские лица приклеены к окнам. Встречный пес, вильнув хвостом, приветствует отцовскую наследницу — не лаял никогда. Как дышится легко — впору испугаться. Чего? Словами просто не объяснишь. Мы понимаем себя благодаря другим. Я ехал сюда, не подозревая. Хотя нет, я был близок к пониманию, здесь дозрело. Вы хорошо знаете Антона? Совсем не знала. Кажется, он играл в папиной самодеятельности. Если не путаю. Тогда он казался



совсем взрослым. Потом уехал, наверно, учиться. А почему вы спрашиваете? Так. Имейте его в виду. Он человек надежный. Он знает, что жизнь невозможна без уступки неполноте, и не теряет от этого устойчивости. Вы говорите как папа. Он любил философствовать. Я не понимала, но много запомнила

наст хрустел под ногами, от макушек бугров все ниже расплзалась чернота. Как в ускоренной съемке, когда распускается почка и сразу бутон, меняется время года, и солнце переползает на другой край неба. Девочка обломила сосульку с низкой крыши сарая, взяла в рот. Ртутные черно-белые переливы, заснеженная варежка прилипла. Узнаешь? Это ты. Ничто не уходит окончательно, все продолжает существовать, можно опять увидеть, приблизясь. Нежная корочка на детских губах. Покатались все сразу на санках, далеко, по блестящему последнему снегу, навстречу закатному солнцу. Оно снижается за дома, наст блестит оберточной слюдой. Пожилые мужчины идут навстречу с кирпичного, старухи из магазина. Усталые, понятные, временные, как мы. Навстречу низкому солнцу, чтобы раствориться в красном сиянии

на другое же утро, с первым поездом, ушел, уехал, исчез за невидимым изгибом, где пребывали другие ушедшие, только с одними можно было проститься, глотая слезы, другие удалялись по рельсам, и надо было поскорей его догнать, чтобы не растворился совсем. Зачем? от страха за него? — потому что было чего бояться, медный привкус беды исходил от его речей. Нет, непонятно, зачем, куда, и не в этом, наверно, дело, просто отсюда, из дома, от реквизита невостребованных самодельных чудес, чтобы всем стало лучше. В чемоданчике бархатный альбом, как урна с прахом, которую нельзя ни оставить, ни захоронить, ни даже заглянуть в нее, чтоб не увидеть красных трупных червей. Мамино концертное платье, свадебный наряд не доигравшей до конца Золушки, оказался безнадежно трачен молью, оставалось лишь закопать его в саду как живое существо, поскорей, пока не вернулся с работы Костя. Бегство. Побег. Куда к кому зачем? Откуда. Искать человека, который уехал, не позвав? Добраться до недосказанного конца, в подернутый дымкой край, где можно было говорить, как всегда, с мамой и па-

пой, только добираться до них было все дальше, все дальше

лишь в огромном чужом городе, в доме, где висели его портреты и ходила другая женщина, ты почувствовала, что сбилась с пути, и не было рядом никого, кто бы взял за руку, как тот милый, бородатый, нежный, чей голос грел, словно теплая пряжа, чье прикосновение унимало дрожь, чьи слова были так умны и так много объясняли в обоих — зачем сквозь них было различать еще что-то другое, будто тонкую паутинку у кожи? На миг, и что ж теперь делать? Сместились черты узора, опять нет прозрачности — распутье среди глухих каменных стен, дорога мимо непрозрачных окон, чужих дверей. На столбе объявление о домработнице. Мужчина с пальцами в холодной лягушачьей слизи. Толстая женщина пышет в лицо желтой серой. Ты смотри, слышишь! Идиотку из себя не строй. Вот этими руками задушу, если еще с ним увижу. Как выбирают профессию, как становятся библиотечкаршами, сортировщицами на почте, служащими справочного бюро? По объявлению, по соседству, знакомые позвали, родственники пристроили, девчонки на улице угостили молоком из бутылки, разговорились. Существовали удивительные способы заработка. Рассказывали про склады, где будто бы хранились запасы продуктов на случай войны, что ли, и время от времени туда нанимали добровольцев проверять, не портятся ли. Масло, например, предлагали пробовать бесплатно, только без хлеба, чтобы чувствовать вкус. Ох, я бы пошла, только где те склады и как туда попадают? Еще где-то, говорят, искали добровольцев, чтобы проверять на них новые прививки. Не смертельные, конечно, вообще не такие уж опасные, разве что неприятные, зато платили, говорят, здорово. Можно было также продать медикам права на использование своего трупа после смерти. Будто бы платили сразу и неплохо, а в паспорте ставили штамп с буквами т. п. — труп продан. Удивительная, неизвестная жизнь. Смесь отчаяния, свободы и легкости. Невелика была добродетель не знать забот за отцовской, потом за мужниной спиной, в магазине отдавать деньги на милость кассирши: сколько вернет сдачи, столько и хорошо

вон там, у почты на улице, оскользнулась старуха,

не могла подняться. Запах чистого, не перегорелого спирта, смешанный с ароматом дешевых духов. Благодарю вас, милочка. Голосом скрипучим и крикливым, как у тугоухих. Чудовищная шляпка обмотана теплым платком, на ногах резиновые ревматические сапоги. Крючковатый нос над грубо размалеванным ртом. Сильно ушиблись? Я вас провожу. О, мерси,— поблагодарила на сей раз по-французски. Мне тут недалеко. До ветхого дома, двухэтажного, с расшатанной лестницей, кошачьим сырым запахом. Из продранной дверной обивки торчала рогожа. Откуда-то с притолоки, заставив вздрогнуть, прыгнул на плечо хозяйки дымчатый тяжелый кот. Фу, Аполлон, не видишь, к нам гостя. Кровать в небольшой комнате застлана серым солдатским одеялом. Стол без скатерти, иконка Николая-угодника в углу, в другом дамский манекен без головы, но снизу к нему почему-то пристроены мужские брюки внушительного размера. Вместе с мутным портновским зеркалом манекен говорил о былой профессии хозяйки, впрочем давней-предавней, еще до бомбежки сорок третьего года, когда Роксану Викентьевну контузило, что-то сдвинув в уме. Хотя видимыми приметам сдвига были разве что брюки на манекене, да еще непонятная страсть к замочным ключам, она собрала уже несколько тяжелых связок для целей, ведомых лишь ей одной, и одной лишь ей известными способами. Пенсии хватало на дешевые польские сигареты, но у старухи была репутация знахарки, или даже колдуньи, она продавала мазь от ревматизма, и когда прогуливала на поводке своего Аполлона, кастрированного кота, которого боялись собаки, да и соседи, приписывавшие ему многие бесчинства — в шляпке невероятной, с крючковатым носом — ну совершенная ведьма. Только тронь, только тронь, кричала в ответ на угрозы отравить животное. Кот у меня безгрешный, а ты с каждым бродягой спишь. Смотри, сама тебе в чугунок подсыплю. Ты милицией меня не пугай, тыква криворылая, мне милиция что, месяц лишний отдохну в больнице на казенных харчах да вернусь. Возможно, благодаря опасной славе ей удалось сохранить жилье, которое можно было считать двухкомнатным: за фанерной стеной была еще каморка с раскладушкой. Живите, если негде, вижу, что вы не хамка. Амбре, правда, зато насекомых

нет. Тепло. А главное, никакая сволочь не тронет. Все в этой старухе, в ее облике, в поступках, речах было составлено из каких-то несовместимых на взгляд частей: наплечная сумка «SPORT», клювообразная шляпка, ругательства, французский язык, мужские брюки на дамском манекене. Я ведь не просто из дворян, мы из князей Ганецких, ветвь Звенигородских, у дядюшки троюродного в Столбенце завод был. Усадьба. Ну, мне от этого ничего не досталось. На примусе варево, пахнущее сапожной ваксой. Бубнит репродуктор. Роксана Викентьевна, а это и вправду действует? Мазь-то? На кого как. На этих — действует, наверное. Не слышала, чтоб кто от нее умер. В голосе скрипучем и крикливом презрительный юмор. Для своих надобностей у меня змеевичок самогонный, но это не говорите никому, донесут. Я различаю людей с правилами и без правил. Вот вы на службу устройтесь, положу вам за квартиру десятку. Не много? Зачем мне вас обижать дармовщиной

чем хороша была работа в больнице — свободой от ритма навязанного. Свой не утомлял. И полторы ставки обещанных, и возможность дополнительно заработать, например сдать кровь, а еще выгодней костный мозг, хотя это, говорят, больно. Да с деньгами проблем нет, разве что когда насильно суют рубли в карман халата, но можно было купить конфет Коле Языку, он как маленький любил сладости. Здешний воздух и запах напоминали о бабушке Вере, о беде и жалости, о страхах жизни, о ночном ознобе и утоляющем прикосновении, о грохоте капель из кухонного крана, о смерти и потрясении, о вине перед милым, таким, оказывается, близким человеком, с которым время или пространство должны были рано или поздно сблизить. Еще немного, только дозреть внутреннему чувству, когда видишь и вспоминаешь все явственней голос, движения, тепло пальцев, слова, слитность, тяжесть возвращавшейся полноты. И на исходе прикрытых век: милое страдающее лицо... почему с больничными трубками в носу? — похоже на сон, и сон страшный, только не во сне возникло. Здесь, в больнице, все было такое тяжелое, настоящее: беда, жалость, боль, нежность, правда детства и правда окровавленных обмаранных простынь, правда крыс и правда коней, правда кареты и правда тыквы

и таким ужасающе настоящим было осуществление вымечтанной накликаемой встречи, такая тяжесть была в родном потрясенном теле с трубками в носу, с окровавленными запястьями — страшно, что и он мог подумать, он не хотел смотреть. В чулане для инвентаря светилась бутылка с хлорамином, розовел пластиковый кувшин с надписью: «Для рвотных масс», толклись пылинки в луче заглянувшего солнца. Мальчишка смешной увидел из-под пальто край халата, пошел следом, приговаривая тихонько: «Тетенька, дай бюллетень, тетенька, дай бюллетень». Это вправду тебе: тетенька. Роксана Викентьевна у дверей повела крючковатым носом, словно чуткий хищный зверек. Что с вами? Вы как-то пахнете по-другому. Видеть эти виски в крупинках мучительного пота, эти губы с запекшимися белыми корками, думать о веках, прикрывших глаза, чтобы не смотреть. Сумеречный свет сочится в окно, влага течет по стволам, расправляет листья. Ночь оттискивается на щеке рубцом подушки. Мысли спутаны, как волосы после бессонницы. Зоя, беспокоится за стеной бодрствующая старуха. Зоя, что у вас там стучит? Перестаньте, пожалуйста. Ну вот, еще сильней. Да нет, не убеждайте меня. Вы что, нарочно? Я же слышу. И вдруг услышала сама: громкий равномерный звук. Невозможно было понять откуда. В такт ему вздрагивал воздух, стекла дребезжали как от толчков ветра, и, приложив руку к груди, поняла наконец, что это собственное сердце

наверно, уже хватилась сумки и брюк, придется объясниться. Разбудить Роксану Викентьевну после ночных бдений было невозможно, она мало считалась со временем суток. Да что уж теперь. Пресный сок травинки, разжеванных на губах, становится слюной. Когда долго стоишь так, начинаешь себя ощущать принадлежностью места. Муравьи карабкаются по ноге, как по стволу. И стоять бесполезно, и уходить медлишь. Куда? Жучок дополз до верха травинки — зачем? Крыльев у него нет. Просто вела вверх наклонная дорога. Теперь и повернуть нельзя. Либо шмякнуться вниз, либо ждать, пока налетит ветер и сам унесет твое легкое тельце бог знает куда. Жаль, нет теперь монастырей. Или есть, но как туда попасть

пылинки толкутся в луче под куполом церкви, как

в чулане с инвентарем. Две женщины пронесли сквозь гулкое пространство белый предмет, длинный спеленутый кокон. Мальчик, поняла почему-то. Больной, длинный, в простыне. Как называется то, что с ним должны были здесь сделать? Чтобы исцелился? Кажется, есть слово. За спиной невидимый мягкий голос успокаивал невидимого: «Все во благо, и вина во благо, без нее не было бы искупления». Невидимые, за колонной. Черное одеяние представилось, гладкие белые щеки, бородка редкая. Была бы вера. А спасение всегда возможно. Для Господа непоправимого нет. Трепыхался под сводом заблудившийся воробей. Ничего, и здесь можно обжиться. А для людей? Высокие электрические свечи работают ровно и бесшумно, каменный купол непроницаем, иконостас как доска почета. Нет непоправимого. Что же творится?

не только старуха, все чувствовали, даже Коля Язык, несчастный заика. В темном углу под лестницей, где телефон-автомат по макушку заполнялся за день разговорами о болезнях, продуктах, опасениях, городских делах, домашних заботах. Что-то там выковыривал, не сразу поняла. Успокоясь, Коля объяснил, что открыть автомат просто, хоть проволокой, потом соединить контакты, вот так, чтоб срабатывал без монет, а копилку накрыть картонкой, и монеты будут собираться на ней, не проваливаясь. Знакомый техник научил. С добычей он выходил к телефонным будкам у больничных ворот, там всегда находились желающие разменять; копеечная разница была его законным приварком. Он был не прост, хоть и деревенский, был себе на уме и взять свое умел не хуже других. Не стоило только трогать его как маленького, в этом была ошибка. Его пальцы коснулись груди вначале без умысла, а уж потом вцепились судорожно, больно, отчаянно, как лапка уязвленного зверька, застывшая гримаса лишь пыталась притвориться ухмылкой, наглой, не своей. Ладно, бормотал, ну ладно, а детские губы стали слюнявыми, в глазах тоска, дрожь мешала проникнуть через неудобный хаот до живого тела. Всех было жалко, перед всеми была вина, и невозможно распутать

Богатырев перехватил на улице по пути в лабораторный корпус. Тяжелый ящик со склянками оттягивал руку, стоять было невыносимо, трудно смотреть

в грубое уверенное лицо. Только брюки, уговаривал. Рубашка у меня есть. Отдам втройне, деньги у меня тут лежат, на хранении, только взять сегодня не могу. Слышь? Вопрос жизни, достань. Размер 52. Да можно любой. Купи. Или есть же у тебя кто-нибудь? А то убегу в пижаме. Больничные штаны вздернуты до щиколоток, открывая носки и полоску гладких ног. Мощные мускулы, крепкое тело, которое режут на операции. Нет, нет. Рот полон розовой пластмассы, но тут санитар из морга едва не сшиб их своей каталкой. Резиновые шины были бесшумны, но разболтанные железные части дребезжали. Эй, подвезти? Обернул щетинистую красную губу. Ее пришивали здесь же, в больнице, откусил, целуясь, пьяный свояк; сестры до сих пор вспоминали, как явился за полночь к дежурному хирургу с окровавленным ртом, стали искать откушенный кусок, а он, оказывается, дома, в другом почему-то кармане, пришлось сбегать за ним, благо неподалеку, нашли весь в соре, в табачных крошках — но ничего, приросла губа, лепешечкой правда, вся в диком волосе, слова из-под нее лезли вязким фаршем. Ладно, в другой раз доставлю. Богатырев был бледен — такой большой, грубый и слабый перед этим волосатым служителем, который не отказывал себе в удовольствии пофилософствовать на ходу. Производственный процесс — поток. Выполнение сто процентов. И проверял окрестную территорию мутным взглядом человека, которому вся больница виделась промежуточным техническим сооружением между городом и шестнадцатым корпусом, городу лучше не думать и не знать, как в разнообразных ячейках здесь созревают до полной готовности человеческие тела, а он обходит со своей тележкой собирать окончательную продукцию, чтобы придать ей последнее совершенство, подморозив, подкрасив губы, побрив и подрумянив щеки, а если нужно, украсив по желанию родственников с помощью парика. Мастер своего дела, большие пропивал деньги, в больнице рассказывали, и от богатства ли, от сознания ли своей незаменимости, неизбежности много себе позволял, искренне убежденный, что все усилия и труды земных жителей, включая врачей, обмениваются в конечном счете на то, чтобы обеспечить ему лично состояние веселой, простой и пьяной мути. Все могут короли, все могут

короли,— орал, удаляясь, и там, где брызгало из его рта, трава желтела и жухла. Вот в чем оказался страх, не за себя — и еще странная мысль, что существование брюк на манекене, непонятная прихоть контуженной старухи, совпав с просьбой больного, получало объяснение, оправдание и смысл, которого только и дожидалось, и сумка с боксером оказывалась вместилищем для брюк, потому что невозможно, невозможно было освободить чемоданчик, дотронуться до альбома

2

Тень, удлиняясь, сползала по откосу, употребляла удобные выступы почвы, чтобы пересечь асфальтовую дорожку вниз, уйти под деревья, где слышался женский визг и пьяные голоса, по траве, по окуркам, по бутылочным осколкам, по тропам живучих городских муравьев, растечься, слиться с тенями городского парка; там заиграл баян. Баянист приходил вечером на «пятак» для собственного удовольствия, но и для общества тоже, его угощали вскладчину, танцевали под музыку, холостяки, одинокие женщины, молодые и немолодые, завитые, накрашенные, принаряженные. Нечаянное место, где можно было познакомиться, развлечься и, кто знает, глядишь, найти пару не для танца только. Геометрические надолбы за деревьями тяжелели в ярком закатном свете, как ряды кладбищенских камней. Засветились, не дожидаясь сумерек, красные буквы над зданием кафе «Ласточка», превращавшегося теперь в вечерний ресторан. У дверей швейцар с зеленым кантом на воротнике обмеривал взглядом девочку, в сумочке ее лежала первая зарплата, и она никак не могла взять в толк, почему вечером одной нельзя. Мне же есть хочется. Ишь, пацанка, а уже хоцца. Угри на лице швейцара шевелились, как живые, кровь понимания и стыда прилиwała к девичьим нежным щекам. На другой стороне улицы у винного магазина околачивался парень в белой рубашке и мешковатых чужих брюках. Какие нашлись. Час назад он так же стоял против загса, дожидаясь приезда молодых, которые его вовсе не приглашали на свадьбу, пропускал одну прибывавшую пару за другой, пока не догадался позвонить в дом невесты. Голос паралитика, не попавшего на торжество из-за



нетранспортабельности, долго уточнял, кто это говорит, но, узнав, что школьный товарищ, гордо сообщил, что бракосочетание удалось перенести в новый, сегодня открывшийся Дворец бракосочетаний — жених сумел устроить, могущественный человек, только посторонним просили не говорить, там какой-то псих может устроить скандал, они не хотят. Стоявший у ресторана теперь сам не понимал, чего еще ждет, не званный на пир. Он пробовал вспомнить, как называлось это кино — или книга, которую проходили в каком-то классе? Там тоже один опоздал помешать венчанию, и невеста, выданная против воли, уже не могла изменить слову. Ну, эта бы могла, для нее и подпись в загсе значила не так много, только выходила она по своей воле. Хоть и не по любви, но это уже смешные слова. Смешно было еще чего-то ждать, но он ждал. Три девочки шли по улице, держась под ручки, восхищенные взрослой своей самостоятельностью. «Как это ни странно, — говорила одна, — во Фрунзе три улицы Шевченко». Встречный мужик заставил их отшатнуться, не размыкая рук, посторониться калиточкой. Лицо мрачное, напряженное. «А этих, образованных, мы еще образуем», — выдавил вдруг со злобой, неизвестно кому. Из автобуса на углу вышел хромой инвалид с молодым гордым лицом, только что он выдержал прекрасный скандал, не уступая пожилым своего сидячего места и не объясняя причины, молча, как римский стоик, выдержал все оскорбления, адресованные лично ему и всему поколению молодых здоровых наглецов, пока, наконец, два доброхота силой не подняли его с насиженного места и не увидели его укороченной ноги и палочки, а он так же молча, не отвечая на извинения, покинул автобус, оставив оскорбителей мучиться совестью, сам же необъяснимо довольный, это было всегдашнее его транспортное удовольствие, дарованное несчастным случаем — проникаться сознанием общего хамства и своего страдальческого, оскорбленного достоинства. Что за жизнь, что за жизнь! От винного отдела кто-то шел к нему с приветливо протянутой рукой. Знакомый, что ли? Не помню, подумал инвалид. У меня плохая память на лица. Кажется, встречался, но как его зовут? Неловко... Человек приблизился, рука его, показывавшая три пальца, объясняла предложение: скинуться.

Третьим согласился быть Игорь Богатырев, бывший спортсмен, больничный беглец в чужих клоунских брюках. Очень вдруг захотелось выпить, да попробуй на полтора оставшихся рубля. У человека из магазина оказался при себе граненый стакан. О, это братство нечаянно столкнувшихся людей, роскошь нестыдной откровенности. «Она мне говорит: ты мудака. Знаешь, что такое мудака? Нет, говорю, слово знаю, а что такое, не знаю. Ты у меня образованная, а я что. С юмором. Мудака, говорит, это человек, у которого бутерброд всегда падает маслом вниз. Хочешь, можешь проверить. Я говорю, пожалуйста, только скажи, где масла достать? Так ее поддеваю». — «Нет, радовался своему превосходству инвалида, меня никакой бабе не купить. Не купить и не продать». К ресторану «Ласточка» подъехал свадебный кортеж. Шесть черных машин украшены лентами, шарами и пупсами. Невеста в платье цвета невинности вышла и огляделась зачем-то вокруг. Издалека не понять было выражения ее лица, но бывшему борцу и не нужно было его видеть. Вдруг Игорь понял все — так ясно, что удивительно, как раньше этого не понимал. «Хорошо, бросаю я третий бутерброд», — описывал собутыльник ход опыта по выяснению судьбы или собственной сущности. Богатыреву было неинтересно, он сам все знал и не надеялся даже захмелеть. Он возвращался к больнице, пошатываясь как пьяный. Приближался трамвайный звук грома. Солнце спряталось, ожил ветерок. Из тучки прыснуло, как из пульверизатора, пупырышками по коже, крапинками по асфальту. Жестяные крыши гаражей покрылись прохладной испариной, выдыхая. Зажглись фонари, промытые и прозрачные. Он шел в их разлитом свете, как в золотистом водоеме, неестественной поступью водолаза, которому тяжело идти именно из-за своей невесомости — и не сразу узнал эту дурочку в открытом платье вместо привычного халата с завязками сзади. Он забыл про нее, не думал, что она ждет, вспомнил уже у больничных ворот — на всякий случай обошел вдоль ограды.

— Эскюз, — проговорил. — Тут, видишь, накладочка вышла.

Она не ответила, стояла вся сжавшаяся, иззябшая, такая вся понятная — как было понятно ему сейчас все

в этом бардаке: убогая пигалица, которая ждала его столько времени ради грошовых брюк, но конечно, не только ради них, видно по этим глазам сучки. Жалкая сучка, искавшая случая лишний раз навеститься в мужскую палату (как говорил этот свинорылый) — он знал для них всех истинные слова, этой тоже хочется ухватить от жизни. Но ее еще по крайней мере жалко. Он привычно раздел ее взглядом, представил в виде особенно унижительном. Пожалуй, какой-то грязцы он сейчас хотел, как ищет, наверно, грязи свинья, чтобы избавиться от зуда.

— Ну что, в корпус уже не пройти, закрыто? Ладно, до утра не хватятся, сегодня выходной. Я эти порядки знаю. Ну? Чего молчишь? Есть у тебя хата?

Ветки блестящими кольцами закручивались вокруг фонаря. Лестница с запахом кошек и сырости. Тихо, чтобы не издать скрипа. Беззвучно открылась дверь. За ней, как в бреду, белела яркая скатерть, бутылка и три высоких бокала отблескивали от свеч в тройном подсвечнике; горбоносая старуха с черным покрашенным ртом встала навстречу.

3

Нет, не встала — встрепенулась, как человек, очнувшийся ото сна, и сна тревожного, с благодарностью за пробуждение.

— Ох, наконец, Господи! — прокаркала жалобно. — Как я уже волновалась! Не знала, что думать. Чуть ум не зашел за разум. — К исходу последней фразы она уже сумела, однако, совладать с голосом, плавно, как взнузданную лошадь, переведя его на светский, хотя и не менее скрипучий тон; улыбнулась молодому человеку черным ртом, протянула руку — не для приветствия, для поцелуя. — Княжна Ганецкая. — На ней был какой-то немислимый то ли капот, то ли халат с цветочками. — Можете звать меня Роксана Викентьевна.

— Богатырев. — От первой растерянности он тронул губами руку, пахнущую вазелином. Запах его отрезвил. Мать твою, так примерно можно было передать суть его мыслей, впрочем, весьма приблизительно и сокращенно; в этих мыслях была простая догадка, что перед ним мамаша или родственница этой,

приблизительно сказать, идиотки, вполне ее объясняющая; что тут устроено ему нечто вроде ловушки; что уходить тем не менее некуда и незачем, пахнет некоторым даже весельем — и он был не против повеселиться, а там, посмотрим, чего-нибудь и дальше, и бутылка на столе отвечала желанию, большему, чем другие; нет, уделаешься от смеху, такое только спяну примерщится. Увы, он был до отвращения трезв, все в этом мире было ему понятно, даже слишком понятно. Ну, ну. — Можете звать Игорь.

— Очень приятно, — сказала княжна. — А это вот Аполлон. Для своих просто Пуся. А это, — она показала было на манекен, но осеклась и махнула рукой. — Не обращайтесь внимания.

Манекен с грудью без сосков, а впрочем и без головы, понизу был обмотан теперь, как юбкой, серой временной тряпкой — казалось, Роксану Викентьевну смущает, словно неприличие, пустота под торсом. Тем не менее он подвинулся поближе к столу, за которым расправлено было, как ширма, портновское тройное зеркало — возможно, чтобы немного закрыть от гостя неприглядность помещения.

— Садитесь, прошу, — хлопотала хозяйка. — Вы не представляете, как я переволновалась. Сейчас объясню. Она ведь тоже удивлена, вы не думайте. — Роксана Викентьевна обращалась к гостю, о Зое говоря в третьем лице (но с тем оттенком, с каким за столом говорят об имениннице, или, если угодно, о невесте, к которой пришли сваты). — Сегодня как раз годовщина моей болезни. Меня контузило в сорок третьем. А два года спустя вот в этот же день я читаю очень красивый роман на французском языке и вдруг — ничего не понимаю. О чем, как называется. Ничего. И неважно. Потому что в тот же момент мне открылось другое и более главное. Но волнение было сильное, ничего не скажу. И вот каждый год с тех пор я боюсь этой недели, этой луны. А в этом году все на удивление спокойно, вы не поверите, никаких признаков. С тех пор как она здесь. Она может подтвердить. Алкоголь минимальный. И вдруг сегодня просыпаюсь, смотрю, — взгляд через плечо на манекен, — он без штанов... пардон, без брюк. У меня чуть ум не зашел за разум. Жутко. Но потом взяла себя в руки, попробовала соединить логически. Я ведь давно чувствую,

вы не думайте.— (Улыбка Зое).— Такие, как я, понимают иногда больше, чем вы представляете. Я подумала: сам он не мог, у него рук нет, смешно предположить. Посторонний ко мне не войдет. Значит, она. А она не станет же делать без смысла? Правильно? А если такой девушке в больницу понадобились мужские брюки, значит, надо к вечеру позаботиться о вине, пока магазин не закрыт, ей самой, может, некогда. Логично? А?

— Н-да,— вынужден был криво подтвердить Богатырев, хотя, в отличие от Зои, не мог оценить действительного великолепия этой логики. Про штаны и манекен он просто ничего не понял. В голове запоздало разгорался шум, мешавший ясности.

— Какое облегчение, что я не ошиблась, и вот вы пришли! Но что же мы сидим? Открывайте, пожалуйста. Это, представьте себе, токай, настоящий венгерский, чего только не завезут в нашу дыру. Чаю два месяца нет, а токай пожалуйста... Ну, за вас... за здоровье... за знакомство,— княжна сдержанно коснулась губами края бокала.— У нее ведь никого нет. Кто бы, кроме меня, позаботился?... Можете закурить, если хотите. Вы курите?

— Курил когда-то.— Похлопал себя по карманам чужих брюк.

— Бросили?

— Не полагалось. Режим.

— Режим это правильно,— с уважением проскрипела княжна. Зое непривычна и непонятна была уважительная даже какая-то робость ее тона.— Да вы не ищите, вот, у меня есть.

— Брюки не мои,— с усмешкой пояснил Игорь суету своего движения. Веселья не получалось, вместо него наваливалась усталость и пустота; вино ничего нового не добавило — что теперь дальше? Роксана Викентьевна дождалась, пока он поднесет ей свечу.

— Наряда своего не смущайтесь,— по-своему растолковала она его слова.— Я сужу о людях не по одежде. Сама в чем только не хаживала. Вот она босиком ходит как на каблучках тридцать второго размера, а на каблучках у нее походка босой девушки. *C'est beaucoup dire*<sup>1</sup>. У меня была такая же. Да, трудно поверить. Но я вам покажу фотографии. Личико, талия, голосок. Что нас

<sup>1</sup> Этим много сказано (*фр.*)

соединяет в одного человека? У меня дочь могла бы уже быть в таком возрасте. — Поднесла к глазу далекий от свежести платок. — Я младенца своего запоздалого подбросила в воспитательный дом... да, да, милочка, я про это вам еще не рассказывала. Куда же ей было со мной, так лучше. Но грех, что говорить, не замолишь. — Поискала, обернувшись, глазами иконку, но та была заслонена зеркалом, и княжна вполоборота перекрестилась на собственное отражение, настолько плохого качества, что его можно было не считать препятствием взгляду. — Но что я все болтаю, болтаю. Выпейте, может, еще? Мне больше не надо... А вы, пардон, чем занимаетесь? То есть понынешнему, какая у вас специальность?

— Борьба, — сказал он и почувствовал, что это нуждается в пояснении. — Я борьбой занимаюсь.

— А... Господи! Простите глупость мою, это в каком смысле?

— В разном. — Он сам не понимал, зачем ввязывается в такое объяснение, где был лишен возможности пользоваться привычным языком, который один давал всему точное название; но уже потянуло. Налил и выпил бокал одним залпом. — Вот, за бабу... приблизительно говоря... за женщину пробовал бороться...

— А, — сказала княжна с облегчением; но, казалось, ее смутил этот залпом выпитый бокал. — Что ж, ваше дело бороться, наше выбирать. Женщина ведь отвечает, что выйдет, оттого и разборчивость.

— По правде сказать, не так уж она мне была и нужна. Я ж ее знаю... — подыскивать слова было все равно что выковыривать из навоза пристойного вида зерна, от этого рождался какой-то другой смысл. — Самолюбие зацепило. Мы вроде расстались без обещаний, в Москву я ее не звал. Но прилетел сюда на аэродром, думаю: дай все-таки позвоню...

Нечаянное вмешательство прервало разговор: с манекена соскользнуло полотнище, открыв снизу пустоту, уподоблявшую его инвалидному обручку, пустоту, более непристойную, чем нагота, и не было рук, чтоб прикрыться. Роксана Викентьевна подалась было на помощь, но только махнула рукой: дескать, пусть так, поздно теперь скрывать.

— Он у меня такой... Пардон... Я не совсем поняла. Кому вы, говорите, звонили?

— Да, тут одной... была у меня. И вдруг узнаю:

замуж выходит. Даже не в этом дело, главное, за кого. Выбирают! О, тут она выбрала! Приз для победителя. Я же их всех как облупленных знаю. Я сам здешний, из зареченской когда-то шпаны. Только вырвался повыше.

— Вы меня ужасно запутали,— жалобно сказала княжна, приложив два пальца к вискам.— А брюки зачем?

— Брюки я вон у нее попросил на сегодня.— Игорь поморщился непониманию. Зачем он все же пустился в эти объяснения? — не для старухи, конечно, и не для этой, не поймешь, кем ее и считать, которая сидела, откинувшись на спинку стула, с полуприкрытыми припухшими веками. Взял бутылку, налил себе еще, выпил.— Или это ваши? — уразумел наконец.

— Нет, его,— показала старуха, морщась болезненно. Манекен чуть наклонился, подтверждая, и даже как будто кивнул, хотя головы у него все-таки не было. Свечи в тусклом подсвечнике собирали вокруг себя искривленный круг. В каждой из створок отражались, утраиваясь, скатерть, бутылка, бокалы, сардины, осоловевшие в масле.— Слушайте,— догадалась вдруг Роксана Викентьевна.— Давайте я лучше моей монопольки поставлю. Больше толку, и голове проще.

Кот, сидевший за ее плечом, вцепился покрепче в спинку стула, чтобы удержать равновесие. Боксер судорожно выставил кулаки в толстых перчатках, не зная, от кого защищаться — противник был невидим, лишь иностранная надпись над головой. Стекла, кривясь, возвращали взгляд, не пропускали дальше себя, уводили сидевших за столом в мутный полумрак, как второстепенных двойников, которым вынесли на кухню.

— Это и я с вами,— сказала, повеселев, старуха. Боль в висках, видимо, отпустила. Оглянулась на Зою: та, казалось, вздремнула, сидя.— Ну, тихонько. Господи, как вы меня запутали! А я-то думала! Уже решила: опять начинается.

— До меня самого только сегодня дошло,— мотнул головой Игорь.— Только сегодня сцепилось. Звонил я ей одной, так? Откуда же эти узнали, что я иду? Случайно, что ли, увидели? Подстерегли. Я же их знаю всех, и этого особенно. Сволочь денежная. У них со мной свои счета. И зависть своя. Прописка в Москве, заграница, шмотки. И все такое.

— Шмотки — значит, вещи, — зачем-то перевела Роксана Викентьевна для дремавшей Зои.

— Борец, мать твою! Мастер! А мы тебя без мастерства, без правил, по-простому!

— А у вас... то есть, как вы говорите... в борьбе — есть правила? — встрепенулась старуха.

— В каком смысле? Конечно, есть.

— Но деньги, вы говорите, с собой взяли?

— При чем тут деньги? Взял. Не специально. Были с собой.

— Много?

— Две сотни.

— Да, это по нынешним временам не сумма.

— При чем тут сумма? Говорю же, не специально. Надо бы, мог больше.

— Нет, с вами, правда, умом тронешься. Ну, как вам моя монополюшка? Из стакана-то лучше, а? Бокалы эти я для нее. Они тоже мои, только бывшие. И подсвечник. У меня все забрали. А теперь я реквизирую. Я нынешний пролетариат, у меня право. Иную рожу обокрасть — только зачтется.

Говоря это, Роксана Викентьевна передала на вилке сардину коту, все еще сидевшему за ее плечом на спинке стула. Что-то в ее движении или словах ему не понравилось, он лапой дал старухе легкую пощечину и перескочил на плечо манекена. Манекен пошатнулся, но устоял.

— Недоволен, — усмехнулась княжна черным ртом. — Сам-то, конечно, безгрешен, потому что кастрирован. И умен зато больше иных. Кусок берет лапой. — Она оглянулась на манекен, как будто ища примирения. — Этому тоже хорошо, он без головы. Каждый устраивается как может. Вам, беднягам, бороться надо. А знаете, по радио передавали, кастрированные дольше живут. Я теперь только по радио ума набираюсь, читать мне врачи запретили, даже очки носить. Передача «спрашивай — отвечаем». Что такое, спрашивают, горе луковое? Отвечаю: горе луковое — это точно такое же горе, как горе хлебное. А хлебное горе я и без них знаю. Между прочим, скажу вам, побираться или воровать только вначале трудно. А перейдешь черту — все соскребет: образование, гордость. Оскорбить тебя не могут, подадут, не подадут; побьют, прогонят — ты выше. И главное, мысль тебе уже известна.



— Какая мысль? — мотнул головой борец.

— О! Так вам сразу скажи! Мысль — что можно ничего не бояться. Помнишь правила или не удержалась — все равно ключик найдется. Я ведь тоже была... сейчас фотографии покажу. Да без фотографий, на нее посмотрите. Что нас связывает в одного человека? — повторила она недоуменный вопрос. — Изящество, трепет, каблучки тридцать второго размера — и вот nepотребную бабу? Жизнь. Это она и есть. Вот как оглушит вас по башке как следует, я вам, может, скажу. Или вы созрели уже? Ладно, ради нее. Она вас пожалела, и я пожалеть могу. Только никому не выдайте.

— Слово чести, — сказал Богатырев.

— О Господи, — поморщилась старуха, — в каждом слове мужик и хам. Как я могла подумать? Мужик и хам. Ладно, хоть и выдавайте, все равно не поймут. Вот... — Она тяжело нагнулась куда-то под стол, взглядом, однако, следя поверх скатерти, чтобы за ней не подсмотрели, извлекла тяжелую гроздь ключей, разных размеров и форм. — Это, конечно, не все. Понятно?

— Нет, — честно признался борец. — Зачем они вам?

— А там посмотрим, — указала Роксана Викентьевна желтым от курения пальцем на потолок. — Мне ведь по делам моим туда не попасть. Да и другим, думаю, не очень. Кроме Аполлона. Но другие будут стоять у ворот запертых, дожидаться допроса. Имя, отчество, как жили, чем грешили до такого-то года? Пока этот, с ключами, пустит. А я, глядишь, сама обойдусь. Никому и представляться не буду. Поняли?

— Нет.

— Да вот же их сколько, — потрясла перед непонятливым княжна. — И еще есть. Уже повторяться стали, не без конца же придумывать. Авось подойдет какой...

Глаза в темных круглых обводах придавали старухе вид нерусской сумеречной птицы. До Богатырева наконец дошло, он засмеялся. Непристойно, неудержимо, все сильнее. Роксана Викентьевна ничуть не обиделась, наоборот, присоединилась сама.

— Смейтесь, смейтесь, и я с вами. Смеяться, может, нужней всего. Я вам скажу: от смешного до великого один шаг. Вы думаете, это уже было сказано?

Ошибаетесь. Было сказано: от великого до смешного. А это совсем другое. Это прямо противоположное. Это как кривую пленку с зеркала снять.

Отражения, шевеля створками, окружали стол, множили озера расплавленного воска в нежных отекающих берегах. Черно-зеленое на просвет бутылочное стекло. Цвет древности, луны и мха под луной. Бледные, измученные, как свечи, лица. Веки прикрылись, не выдержав утомления, совсем на короткий миг, но когда петух в невидимых краях пропел третий раз, за оконными занавесками уже рассветало. Старуха исчезла. Свечи отекли, и от утонувших фитильков еще взвивались вверх белесые гибкие струйки.

4

Свежесть утреннего воздуха, непрочная, уязвимая, как свежесть еще влажной переводной картинки — неосторожное движение, звук, слово могли что-то в ней повредить.

— Вы уж это... эскюз... — забормотал он, когда они оказались на улице. — Вы простите...

Она поднесла пальцы к губам, моля о молчании.

Голоса птиц болезненно покалывали. На западе задержалась луна, рыхлая, ноздреватая, не выпускавшая сияния — сырой, на треть обсосанный кусок. Было слышно, как скрипит, раскачиваясь на проволоке от ветра, дорожный знак — скрип был опасным и угрожающим. Кто-то, обгоняя их, спешил в сторону больницы.

Молча поднялись в гору. У пролома в ограде оба перевели дыхание. За котельной, на четкой прорисованной траве чернели втоптаные в почву куски угля, ржавели железки, кирпичные обломки, мятая, проеденная насквозь жесть. Утренний влажный свет придавал всему чудовищную четкость и яркость, она не могла долго держаться, как перезрелый плод. Затаенной, опасной гнилью веяло от сырых проулков.

Дала ему сумку с пижамой и отвернулась, чтобы переоделся. Только тише, только тише, не поцарапать бы, не порвать... ну зачем же так неосторожно. Страх густел, поднимался из-за развороченной мусорной кучи, там всходила рожа в грязной щетине, фыркая красной губой. «У! — заухала. — А ВЫ ЧТО ТУТ...»

Тележка повисла в воздухе визгливыми распатанными колесами, вязкая каша слов обрастала шерстью, хрипом, хохотом, улюлюканьем. Шерсть проступала на кирпичках, на черной траве, на паутинных стволах, воздух заколебался. Скорей схватить его за руку, потянуть прочь. Он дернулся неудобно, скорчился, держась за живот. Мелкие, как черные точки, тли быстро-быстро прогрызали насквозь тонкую пленку со всем, что было на ней, оставляя сквозные прорехи сразу во множестве мест.

### 13. Улыбка красавицы, или Исполненное обещание

*Я заснул свежим вечером. В сочной листве играли тени. Воздух был окрашен цветными стеклами террасы.*

*Я проснулся зябким утром и не мог понять перемены погоды. В окне было светло, ветки стояли голые, в памяти еще развеивалась паутина теплого сна.*

*Прикрыл глаза, открыл вновь. Жизнь уместилась на линии разреза между листками.*

*Для нас все направлено от единственного рождения к единственной смерти, для нее — все игра с материалом.*

*шевелится, живет, сыплется сквозь пальцы неуловимое вещество — поди удержи, разгляди, вдумайся*

#### 1

Да что ж, в самом деле, все ходить вокруг да около, не решаясь впустить того, что давно и явственно уже стучится: золотоволосый мальчик с фантиков, херувим, уязвивший смертельно Ганшина, невольная причина вины и несчастья — это был ее сын, сын женщины, которой посвятил свою жизнь, свою мысль провинциальный безумец, и человека, которому он с такой нечаянной проницательностью дал вместо имени прозвище в давнем своем рассказе. В переплетенном узоре этого жизненного сюжета не было случайным даже

место ссылки, которое Милашевич, наверное, мог по тогдашним порядкам сам для себя выбрать из числа предложенных или выхлопотать, придумав причину: там были ее родные места, там, в Нечайске, доживали свой век старики Парадизовы, сельский учитель, бежавший в город от сареевских колдунов, и его хлопотливая, на всю жизнь испуганная, вечно со слезами наготове супруга. Но даже если в первый раз Симеон Кондратьевич попал туда и нечаянно, то уж потом не сводил с этого Нечайска глаз, поддерживал знакомство со стариками, посылал им гостинцы — ганшинскую карамель, угощался иногда чаем с земляничкой и сливками в их уютном доме, с которого живописал потом подробности провинциальной своей идиллии, все эти вышитые салфетки, дорожки, наспинные подушечки (потому что у него самого такого дома не было никогда — и кто б ему там все это вышивал? Александра Флегонтовна? — не видно, ах, не видно! разве что сам, как гоголевский губернатор). Он понял и оценил их робкую жажду покоя, проникся к ним сочувствием искренним и нежным, но при этом следил за ними — незаметно, окольно, с отдаления, из Столбенца, а потом из столицы, зная, что рано или поздно даст о себе весть потерянная им, куда-то исчезнувшая женщина, а может, объявится там сама, с некоторых пор даже уверенный, что она в конце концов вернется туда и, более того, к нему, — уже готовил, перебирал для встречи слова, уже выстраивал в уме, в душе, на бумаге мир, где ей хорошо будет жить (мир, но вряд ли благоустроенный дом). Ладно, пусть все это созревало, уточнялось, выстраивалось не сразу, пусть мысль его менялась и он на время отказывался от ожидания, пытался найти какую-то внешнюю устойчивость, положение, пробовал обосноваться в столице на правах литератора и уже лишь как бы в сфере литературной примеривать, осмысливать права и возможности провинциального устройства — еще не подозревая, что написанные слова могут получить неожиданную силу, что ему может быть предложен выбор между необязательностью, обычной для эпохи словоохотливой, нестыдливой, и необходимостью отвечать за сказанное. Он еще пробовал обойтись, не поступаясь самолюбием или принципом, еще долго не покидал нетопленного номера в дешевых мебелирашках, где, подобно своему

герою, по утрам помешивал в кастрюльке водянистую овсянку, левой рукой держась за болящий живот, а потом надевал под пиджак воротничок приличный, манишку, манжеты, прилаживал единственный на всю жизнь галстук, еще без заплаты, и шел разыгрывать почти напоказ все тот же спектакль в очередную редакцию, причем в редакцию из приличных, то есть такую, где о скандале вокруг его имени могли знать, а если не знали, сам начинал с предисловия, заводил без надобности объяснение, столь подозрительное, что дело было только за сроком, потребным, чтобы найти в меру пристойные слова для отказа и вернуть автору его опус — если и прочитанный, то лишь из брезгливого любопытства. Может, даже каждый раз один и тот же забавный рассказ о путнике, который на палубе волжского парохода в ясный спокойный день ухитрился на пари вызвать эпидемию морской болезни: первым перегнулся через поручни в приступе инсценированной рвоты, а потом с интересом наблюдал, как по его почину неодолимая конвульсия передается вдоль борта от соседа к соседу, от впечатлительной девочки-гимназистки к ее матушке и дальше через нос, противоположный борт, корму возвращается к зачинщику, который с удовлетворением психолога размышляет, между прочим, о заразительности общедоступных идей — но в следующее мгновение сам хватается за узел галстука и перегибается через поручни опять, уже взаправду... Странный рассказ (автор потом напечатал его особой книжицей за собственный счет), еще более странной кажется идея предлагать для печати именно его, после всего происшедшего — но, возможно, он сам подводил к тому, чтоб его не печатали; он почти обрадовался недоразумению, которое выпихивало его из общепринятой литературной жизни, где надо было держаться литературных правил игры — потому что уже знал что-то свое: уже оставлен был у деда с бабкой малыш, залог ее возвращения, и он поспешил перебраться к нему поближе, чтобы с расстояния готовности наблюдать за дальнейшим — наблюдать, выжидать, накликивать.

## 2

*Кто подслушивает наши желания? Страшно быть не так понятым. Лучше ничего более не хотеть. Ждал ли*

он смерти стариков? Но не хотел же, не торопился, и уж не мог предвидеть, что им дано будет, как Филемону и Бавкиде, редкое счастье умереть в один день. Впрочем, еще вопрос, чем дано это счастье. Не стоит ли за ним несчастного случая, пожара, бог знает чего? — каверзы фантических сцеплений напоминают об осторожности. Как бы там ни было, он узнал об этом и поспешил примчаться, предъявил неизвестно какие права, оформил неизвестно какие бумаги (возможно, до сих пор где-то хранившиеся), но, может, обошелся и без особых формальностей, отложил их, просто увез малыша в ганшинскую усадьбу. Некуда было больше, он там в ту пору сам обитал и другого жилья не имел, как не имел ни определенного положения, ни профессии, ни прочного заработка — всю жизнь в воздухе, в межеумочном положении; не таким брать на себя попечение о ребенке. Здесь хоть на время его можно было пристроить безбедно, даже в довольстве. Почему же было не сказать Ангелу сразу и просто, кто этот мальчик, откуда? Зачем он решил сочинительствовать о неведомом воспитаннике-сироте? Из мистификаторского зуда? Из долга перед чужой таинственностью? От инстинктивной неспособности сразу и просто сказать правду? от невозможности выдать слишком сокровенное — свое уязвленное чувство, свои ожидания и надежды, которые питались пока все одним лишь воображением? от потребности все время выстраивать вокруг себя защиту словес, выдумок, розыгрышей, заметать следы, сбивать с толку, словно боялся, как некогда перед следствием, быть пойманным на чем-то? А может, отчасти и не без благотворного умысла, чтобы дать меценату-народолюбцу повод добродушно посмеяться потом над издержками покаянных комплексов? Если бы только он вовремя сумел уловить, если бы мог предвидеть прискорбную, затаенную до поры слабость бедного своего друга, слабость, которую выявил и пробудил случайно подкинутый соблазн, непредвиденно обернувшийся чем-то большим — любовью! Далекий от платоновских сфер, он даже не предполагал с такой стороны подвоха; когда же ему вдруг открылась опасная двусмысленность ситуации, испытал подобие паники, дернулся, наверное, слишком поспешно, неловко, не успев найти единственно нужных слов — маленькая неточность обернулась бедой. Нет, какой разговор, конечно, не ему было винить себя в этой злосчастной

смерти, так похожей на самоубийство, да и бывшей самоубийством, разве что без выбора оружия. С таким же правом можно было себя винить в одновременном начале войны — уже хотелось какого-нибудь потрясения, сдвига, уже нетерпеливо накликавал, торопился: что-нибудь, только бы вернулась она; и мало ли, в какой неведомый обвал могла разрастись когда-то стронутая нами песчинка? По цепочке порождающих причин доберешься до основания мира, а все равно ничего не объяснишь. Мы не знаем, какие провалы скрыты под слоем, на котором вздумали строить. Было разочарование последнего чувства, несчастного, недозволенного, постыдная насмешка судьбы, рухнула стена, созрели опасные, без имени, плоды, лопнули, как пружина, стручки, разлетелись твердые семена, разбивая стекла оранжереи. Но все-таки, может, не совсем не прав был умный критик Феноменов, усмотревший у Милашевича некую податливость неоформленному соблазну, которым болело время, готовность пренебречь строгостью, неуютной истиной, пусть даже ради лелеемого для кого-то счастья.

3

Куда он пристроил мальчика? При себе Милашевич явно его не оставил, в его писаниях нет на это намек, да и трудно себе представить, как мог неустроенный холостяк сам содержать и обихаживать многие годы ребенка, между прочим, уже вкусившего некоторых усад, уже отведавшего у Ганшина котлеток куриных, уже поспавшего на кружевном белье и вряд ли понимавшего, по какому праву распоряжается его жизнью невесть откуда взявшийся этот человек, почему увез его почти насильно от довольства и ласки. Сколько ему тогда могло быть? Семь? восемь? — и он все рос; можно предположить небезоблачные его отношения с тем, кого он вовсе не считал отцом. *Дитя вправе предъявить счет всем нам.* Может, это о нем? — вот уже видится характер дерганный, непростой, сбитый с толку, из тех, что становятся бедствием для семьи; видится малыш в серой курточке Левинсоновского свободного дома — скорей всего он; естественней всего для такого человека, как Милашевич, было пристроить мальчика в передовой и благоустроенный пансион, где

отменена была школьная казарменная муштра, где дети разных возрастов объединялись в свободные группы по интересам для взаимовоспитания, где равенство соблюдалось во всем, начиная с одежды... но этим замечательным, хотя, увы, и кратким педагогическим начинанием стоит поинтересоваться особо... Дальше пока трудно понять: на фантиках золотоволосый малыш неизменен, постарше никого похожего нет, как будто Симеон Кондратьевич не видел его, подраставшего — хотя должен же был следить за ним, пусть издали, всегда издали, как безответно влюбленный, ибо мальчик был залогом ее возвращения, залогом вымечтанной, взлелеянной встречи. Еще немного, еще чуть-чуть... он знал, чего ждет, пусть вмешалась война, оттягивались сроки — он научился терпению и умел не смотреть на часы; война тоже делала свое дело, надо было через нее пройти, чтобы что-то сполна созрело. Он уже знал, как устроить всем хорошо, он надеялся, он уверен был, что она останется с ним, ибо знал что-то лучше, чем она сама.

4

Вот она проступает, вот уже проявляется из дальних глубин — мелодия, едва различимая, прерывистая, без слов, уже возникает из разрозненных строк лицо девочки, еще не обратившейся в красавицу с тонкими чертами лица и светлыми волосами: поздний ребенок, Божий дар, неожиданная отрада бедных родителей, чудом выжившее дитя, отогретое в тесте, сбереженное пугливым материнским дыханием. Голубые жилки просвечивают нежно под кожей, тонкой, как папиросная бумага. Про таких говорят: не жилица; но какая-то сила питала ее изнутри, и эту силу угадал, употребив в своих целях, страшный мужик Ефим Пьяных, коновал и знахарь, глава сареевских колдунов, умевший взглядом останавливать кровь и ухом слышать голоса внутренностей, распознавать по ним болезни и предсказывать судьбу. Это имя было упомянуто в очерке некоего петербургского журналиста и судебного деятеля; Пьяных проходил по делу о попытке насильственного похищения девицы П., бежавшей из-под его власти. Девушка пребывала в загадочном параличе с той поры, как деревенский



знахарь вызвался взглянуть на заболевшую учительскую дочку; но он же распространил молву об ее удивительной способности предсказывать события и находить пропавшие вещи. Обычно неподвижная и молчавшая, она по его приказу поднималась и говорила слова, которые Ефим тут же истолковывал — всегда правильно. Свидетели рассказывали ошеломляющие случаи. Вокруг нее уже складывался чуть ли не целый культ, когда смертельно перепуганные родители ухитрились перевезти ее тайком в город. Впрочем, Пьяных в тот раз и не препятствовал, его, пожалуй, даже устраивала возможность перенести центр своей деятельности в более видное место. Просвещенный автор очерка справедливо и с горечью писал о болезни эпохи, которая, не умея разобраться и справиться с насущными своими проблемами, слишком охоча оказалась до сил, недоступных разуму, слишком расположена к истерическим пророкам и эпилептическим чудотворцам, вдохновенным шарлатанам и сектантам, искателям небывалых откровений — в захолустном углу лишь на свой лад проступало известное в столицах; должно быть, в истории повторяются времена, благоприятствующие каким-то поветриям, как благоприятствуют именно таким, а не иным вкусам — когда, например, начинает казаться, что у большинства женщин узкие тела, хотя, конечно, полно, как всегда, и других, просто этих возлюбили почему-то живописцы, как возлюбили в ту же пору цвет сирени и орхидей. Другой вопрос, почему возникает слабость именно к этому, задавался необязательным вопросом автор, по простой ли прихоти саморазвития или под влиянием периодических сил космоса, расположения звезд, магнитных сдвигов, содействующих обострению определенных склонностей и способностей? — потому что нужны все-таки и способности, нужен пригодный, податливый материал. Автор не сомневался, что во всей этой истории шла речь не более чем о психическом внушении, гипнотическом действии, то есть о вещах из области положительной медицины, что подтверждалось и фактом внезапного исцеления П., которого сумел добиться даже не врач, а просто просвещенный человек, проезжий студент; он же убедил родителей отправить девушку в столицу, где она была бы в безопасности

от суеверных покушений. Уголовная часть истории начиналась, собственно, с того, что Пьяных сумел настичь и разыскать беглянку в Петербурге — должно быть, молва о его необычайных способностях возникла все же не без основания; и он бы увез девушку, не сумей ее отстоять все тот же заступник, студент, уже ставший к тому времени ее женихом; фамилия жениха была в очерке названа: Богданов.

5

Мы кое-что знаем теперь, пожалуй, даже точнее, чем автор, которого этот случай привлек лишь в числе прочих судебных историй, характеризующих духовное состояние общества; пожалуй, он слил в одну две фигуры. Первым был случайный проезжий — всегда случайный, везде проезжий — трезвый насмешник, обладающий, однако, силой убеждения, чтобы сказать, словно пророк девице: «Встань и ходи!» Потом, увлеченный успехом, как приключением, он же вызвался увезти ее, укрыть от дальнейшей опасности, возможно даже развернув на сей предмет какие-то подробные планы, в которые на время сам поверил, но лишь до поры, потому что сам был вечный беглец, принужденный постоянно скрываться; похоже, он и в тот раз из ссыльных мест пробирался тайком, девушка-попутчица в роли знакомой или даже влюбленной самому пришлось кстати, как прикрытие. Можно даже представить себе этот побег к железной дороге, но не к Столбенцу, а к глухому разъезду в стороне, туда от тракта сворачивал путь через усадьбу Ганшина, укрывателя беглецов — всё знакомые места, вечность спустя заставившие вздрогнуть сердце... Подробней не разглядишь, пожалуй; у Милашевича ничего об этом, конечно, нет, разве что один-два листка можно счесть подходящими. *Вокруг дома густеют шепотки, слухи. Как не впустить их в дверь, как укрыться от этой надежды, мольбы, ожидания, требования, угрозы?* Возможно, он позднее набрасывал замысел сюжета о той давнишней, еще не своей, истории — но отставил. Нет, недаром Шурочку не увидишь — в одном из его рассказов (кроме все того же памятного и объяснимого исключения, да и там ничто не названо прямо, кроме имени); он боялся напомнить о ней, чтоб не

узнали, даже через двадцать лет... впрочем, это уже праздное предположение; ведь проще было бы уехать из Столбенца. Немногим ясней мы видим петербургские сцены, где защитником студентом появляется уже другой: столкновение прямо на улице с кряжистым бородатым мужиком (он один картинно описан из зала судебного заседания, весь обросший сивым волосом, с глубоко посаженными пронзительными глазами, равнодушно-уклончивый в ответах); вспыхивают, словно выхваченные в разных местах, кадры: шляпка женщины упала на мостовую, вылетели шпильки, распустились светло-русые косы (те, что она острижет потом, чтобы прокормить себя и больного), затоптана в грязь зеленая студенческая фуражка, хрустнули под ногами очки, совершенно беспомощный от близорукости человек придерживается на ощупь стенки, еще не понимая, что ему подоспела помощь, не различая пуговиц мундира; наверное, тогда, в полицейском участке, объясняя случившееся (но все не в простоте, все сбрасывая следы, как заяц, и прикрывая кого-то), он впервые назвал Шурочку своей невестой, что стало правдой лишь время спустя — нелепый, близорукий, влюбленный, почувствовавший на себе долг и призвание беречь, опекать, ограждать эту женщину, не с ним и не к нему бежавшую из дома, очнувшуюся точно после полусна в мире, который сразу оказался таким страшным; там, в полусне, в неподвижности, в кошмаре осталась, может быть, единственная опора, простодушная вера, от которой ее теперь излечили; кто мог ей дать новую? — только он, получивший ее вдруг как чудо; другой исчез, и он мог лишь объяснить ей почему. В ней он узнавал впервые простодушие детских грез, и детскую уязвленность провинции, и ту способность чувствовать за других, из которой, быть может, выросло потом все его видение мира и даже вегетарианство. *Укройся в тишине, пусть даже часы не тикают. Не вечно же бежать.* Наверно, он решил увезти ее дальше, пусть пока только в Москву, понемногу оправившуюся, расцветшую — там и нашел их вечный проезжий, нашел или встретил случайно, вовсе не предполагая дальнейшего; дальнейшее решалось не им.

Может быть, может быть... Мы, наверное, поневоле наполняем воздух между фантиками смыслом, который ощутили в собственной жизни; что поделаешь. Мы понимаем других через себя, как понимаем себя благодаря другим, ибо через каждого из нас лишь открывается путь к каким-то общим глубинам — не оттого ли бывает у нас чувство, будто мы уже жили когда-то в чужом, но узнаваемом воплощении? Там, на глубине, все наши соперничества и метания, измены и даже убийства из ревности служат, возможно, отбору и продолжению общей жизни; но там же коренится что-то, чего так просто не объяснишь: безнадежное ожидание, верность вопреки смыслу и даже самой смерти, как будто есть для тебя на свете единственное осуществление, способное завершить полноту. Никакие мировые стихии, никакие войны и революции не колеблют этого чувства, но как будто работают на него. Где-то на поверхности ветер истории обновляет узор ряби — там наша жизнь, все божественное разнообразие событий и встреч, дел и разговоров, приобретений и потерь; там случайно вторжение пришельца, случайна болезнь и засада, там, словно бурей щепки, разметывает в стороны людей — но неизменно то, что продолжает тянуть их друг к другу через все это, через пространство и время, пусть до поры лишь мыслью (ей и смерть ничто); а там уж — какой откроется путь. Мы можем ошибиться в подробностях, прямому взгляду доступны лишь немногие высветившиеся на миг видения: вот переполненный, заплыванный, душный вагон, подсолнечная лузга, похабщина, гогот, дезертиры зажали в угол испуганную женщину, она сама вынимает из ушей золотые сережки, нарочно медленно, чтобы выиграть время, еще минута выиграна, пока кто-то пробует их на зуб, а там уже подросли защитники, одного мы тоже способны увидеть: долговязый рябой солдат в английских обмотках, с растравленными до сырого мяса глазами и ноздрями обостренной чувствительности, спутник женщины, которая спешила в Столбенец через Петроград, допустим, даже с каким-то мандатом, но главное, чтобы разыскать своего бывшего мужа (а может, до сих пор даже числившегося таковым, они вполне могли обойтись без формального

развода). Знала ли она, что он ее ждет, самоотверженный чужак, которого она покинула ради другого, подавшись недолгому порыву? — потому что еще не успела сполна оценить, потому что еще держалось благодарное чувство к другому, влюбленное восхищение, надежда, что другой сделает для нее что-то, поможет ей, наконец, справиться с такой трудной жизнью, изменит эту жизнь или отменит... Наверное, знала; на — сал ли он ей, дошло ли другим путем, но она знала, что этот непостижимый, способный подчас испугать человек не просто ее ждал (ибо у него оказалась малость, которой лишен был другой: он любил), он готовился к встрече, и был при нем залог ее возвращения: ее сын.

7

*Кто подслушивает наши желания...* Значит, она увидела мальчика? Значит, так, значит, так... Но, столько уже различив в предыстории, здесь мы вновь упираемся в слепое пятно — все так же засвечена пленка. Сгустилась из ноябрьского воздуха снежинка, льдины распавшегося поля пробуют соединиться вновь обломанными кромками, передергивает ознобом крыши и колокольню, седобородый старик нащупывает ногой увязшую в грязи галошу, и вороны под встревоженными небесами — пародия на трагический хор, она в пальтеце, легком, не для здешней погоды, костяшки пальцев побелели от холода или напряжения, плот на берегу лужи, сделанный из старых ворот, не выдерживает больше троих, он протягивает ей руку: «Осторожно, не оступись» — как когда-то, когда-то, наяву или в мечтах, и маленький кормчий их ждет. Слюнка усердия и восхищенного любопытства стекает с обвисшей губы — он единственный из троих не понимает, в каком действе оказался участником...

8

*день, когда он впервые завладел переправой  
ночь, когда ходили по пояс в вине и напивались из луж  
воздух настоян на винных парах, от одного запаха  
кружится голова*

*За что тебе такое счастье?..*

Что ж, сделаем еще шаг, мы готовы: даже это исполнилось, и стоит ли спрашивать о цене! — без такой цены, может, не было бы и полноты осуществления, такой полноты, где даже слова уже излишни и не нужны стрелки часов — кончилось прежнее время, обновились клетки в мозгу...

*Что это за тикающий механизм, который навязывает нам движение только в одну сторону? Мы поддаемся привычной инерции, даже не пробуя вникнуть: а почему, собственно? нельзя ли иначе?*

(Детская готовность к вопросу, которого взрослый серьезный ум просто не станет ставить — и еще чувство, что ответ надо искать не просто в мире внешнем, что можно изменить жизнь, меняя глаз, ухо, мысль, — внешний мир поставляет разве что фантики для работы души — наряду с прочей пищей, — но чувства творит душа, которая всегда художник, и этот художник может быть гениален)

*сравнять с собой это беззвучное, разлитое...*

9

И все-таки, все-таки. Как представить это соединение? Уже показалось возможным увидеть их вдвоем, нашедших успокоение после бурь, постаревших, пусть даже печальных, перечитывающих у печки страницы, и без того памятные наизусть, — но третий где? былой малыш, вырославший, взрослевший? Почему не видно его с ними? Неужели умер, едва обретенный? Нет, это бы как-то отложилось на фантиках — ибо все несомненное крепло чувство, что эти листки связаны с жизнью даже больше, чем нам до сих пор представлялось — больше, чем дневник, чем книга для записей, чем черновик преобразенных сюжетов, где реальность срасталась с фантазией, где неназванные персонажи были одновременно самими собой и Милашевичем; здесь чудился еще какой-то шифр его жизни, возникший то ли нечаянно, то ли умышленно, как будто писавший хотел — и боялся быть понятым.

*Забыл слово «сезам», пытаешься вместо него вспомнить что-то по смыслу. Кунжут? Конопля? Не открывается. А откроется прохожему, который просто помянет слово в попутном разговоре.*

*Я написал это, зная, что сожгу, но зачем-то поправил слово, нашел поточней. Как будто не все равно, гореть бумаге с этим словом или с другим.*

*разве мы рождаем только тела?*

*это как заряд электричества в туче, пусть и не возникло молнии*

На ощупь, уже угадывая в темноте чуть заметные вехи, уже заполнив кое-где пустоту зрячим прикосновением, выбираемся мы из слепого пятна — вот снова свет, зеленый двор бывшей усадьбы залит солнцем, под яблоней поставлен столик для самовара, музейная утварь вынесена на воздух для упаковки и погрузки, где-то там ждут телеги и лошади, грузчики заворачивают в рогожу кресла, остатки зеркал и граммофон, обивают досками фламандский кабинет и данцигский секретер с часами без стрелок, а упраздненный хранитель попивает тем временем чай с человеком, который приехал увозить сокровища провинции в центр, потому что всякую изощренность человеческой мысли правильной было сосредоточить в одном месте, подравняв прочее пространство — все для того же, для торжества провинции в масштабе, какой мог лишь сниться скромному любомудру. Вот и это сошлось: былой соперник, такой блестящий когда-то, теперь надломленный, разочарованный, таскающий с собой, как судьбу, запах уксуса или тоски, мог быть свидетелем его торжества. Но тогда почему же, почему Симеон Кондратьевич не захотел предъявить ему всей полноты своего триумфа? Из благородства? от привычки к скрытности и недомолвкам? ради какой-то еще игры? чтобы просто не волноваться зря за нее и себя, не замутнять достигнутого покоя? или, может, от недостатка уверенности — в ней ли, в себе? Ладно, до-

пустим любой вариант, допустим, он ухитрился за весь разговор не обмолвиться, даже не пригласить приезжего (и какого приезжего! не Семека все-таки) — в дом, где тот мог бы ее увидеть (он ведь наверняка жил с ней при музее, в одном из строений той же усадьбы, где же еще), допустим... и погода играла на руку, располагала посидеть на воздухе — но она-то, она? как могла не показаться, не выйти хотя бы случайно? Не заперта же была — да могла бы голос подать, ведь сама не могла же не услышать приезда, не угадать — при своей-то чуткости. Или не захотела?..

12

Господи... что ж все в прятки играть! не с самим же собой. Будто боимся договорить, и все уводим, все возвращаемся, чтобы только не увидеть уже открывшегося: не могла бедная выйти к гостю и даже голос подать, ибо с самого возвращения лежала больная, безгласная, неподвижная, как во времена, когда потряс ее своим взглядом сареевский бородач. Незачем было даже читать в библиотеке медицинские книги — да можно и почитать; как будто нам и без них не понять, не представить, чем способно обернуться для трепетной души новое потрясение, может, поначалу прикинувшееся лихорадкой после встречи на холодном ноябрьском ветру. Мы только, может, не вполне еще знаем, что это было за потрясение — к самому факту встречи она ведь была готова, недоразумение с арестом могло лишь ненадолго смутить. Но все-таки... после стольких лет... увидеть, как поработало время над людьми, которых она едва теперь узнавала... и узнала ли сына? он-то ее даже помнить не мог... разве что по сходству. Нет, не удавалось как следует разглядеть, потому что дальше-то мальчика с ними не было, вот оно что, как будто мать так и не дождалась сына; как прежде, нет даже малейших намеков на совместную жизнь, на его пребывание в доме, где теперь не один Милашевич, с ним женщина, заболевшая после встречи... Боже, ничто не развеивало теперь этого горестного видения, напротив, по мелочам прибавлялись подтверждения, как кристаллы, что облепляют новую нитку в достигшем насыщения растворе. Они уже складываются в узор,



от соприкосновения их рождается звон, тихий, ясный, печальный. О чем эта музыка? О женщине, что лежала в доме за ситцевой занавеской среди ящиков с рассадой, среди цветочного благоухания, возвращенная в сад покоя, нестареющая, прекрасная? О том, как безумный, влюбленный, страдающий человек выстраивал вокруг нее мир, где часам не нужны были стрелки, где всего времени было — лето, осень, зима да весна, детская карусель, только фантики надо было переносить с одного места на другое. *Еще немного, еще чуть-чуть, и сойдется, сбудется, разрешится.* Ожидание переносилось теперь на сына, который должен же был явиться и поднять ее, который где-то, невидимый нам, да наверно им тоже, рос, становился юношей и уже мужчиной. *Как я надеюсь, как жду...* — но кто же там все смеется так долго, не в силах остановиться? что там открывается впереди, словно провал? — и чем веет оттуда?

## 14. План жизни

*Даже среди лугов эта вонь. О люди, сколько вы умудрились загадить пространства!*

*Вдруг догадался взглянуть на собственную подошву. Ах, Боже мой! Сам где-то вляпался и носил с собой по цветущим просторам.*

*Пусть икс будет единообразен в пределах системы, тогда он может служить основой гармонии. Несовпадение иксов ведет к разладу и столкновениям.*

### 1

Чугунный шар на тросе, кистень машинного века: размахнувшись, им ударили по скуле дома — впрочем, уже неживой. Уже мертвеца дробили: глазницы пусты, выбитые стекла хрустят под ногами, двери унесены, жель с крыши содрана для чьих-то хозяйственных надобностей, на домик садовый или чтоб огородить делянку картошки на пустыре, под линией высоковольтных передач. Стены вокруг кухни еще прежде были разобраны баграми пожарников; обугленные балки и доски свидетельствовали, что здесь успели

побаловаться кострами окрестные пацаны, да, судя по запаху, и нужду приспособились справлять. В потолочных углах выявилась застарелая паутина, незаметная, пока здесь жили — копоть пожара обвела ее жирным углем. Обнажились слои ободранных обоев, два верхних клеил ты сам, уже успел забыть прежний узор из медово-желтых ваз, а теперь узнавал издалека даже памятные пятна, след раздавленного клопа, микроскопическую вдавленину от кнопки, где висел календарь такого-то года. Под обоями — слой газет с фотографиями ушедших времен, Хрущев и Гагарин, счет футбольного матча, тираж облигаций и обманутых надежд, рамка вокруг фамилии с перечнем заслуг и чинов, черточка между цифрами. Слои жизни, геологические короткие эпохи, слои бумаги, пыли, копоти, печной побелки, влажного дыхания, запахов, осевших на стенах, впитавшихся в их рыхлые поры. Сколько обшелушивается с нас слоев роговицы, сколько сходит слоев клеток, волос, ногтей — мы уже телесно не те, что были несколько лет назад, и только память делает нас едиными. Слои отмирают, чтобы заменитьсь новыми, это и есть признак жизни. Всему свое время: время рыть котлован и время разрушать стены, время есть и время отрывивать, время покупать машину и время терпеть аварии, время зачинать детей и время делать аборты. Бьет по скуле равнодушный кистень, разлетаются в пыль кирпичи, повисают в воздухе тучи праха, известкового и древесного, высвобождаются на мгновенье запахи, напоминая, что в этих стенах прожито больше, чем самому до сих пор казалось. Если считать на года — не меньше, чем в детстве. Но это считается не годами, у детства своя память, и она укрупняется со временем. Трамвайный лягз на зубах, свежесть зимнего белья, только что снятого с веревки, запах дворового нужника, запиравшегося на замок от посторонних, запах летних вечеров у шатко сколоченного столика под липой, запах кухонных встреч с соседями, подгорелой рыбы, оскомины вины и утраты в слюне, мертвенная пленка на новой мебели, ночной озноб на крыльце, грохот капель из крана, внезапный свет, горечь перекипевшего чайника... и вот сглотнулся комок. Ни у кого из зевак, глазевших с отдаления, не вздрогнули даже ноздри. Частицы гари, как воспоминания, развеиваются в воз-

духе, теряются, неразличимые, среди других, чтобы однажды, совсем в другом месте и в другое время, коснувшись души, ожить и преобразиться. В пустоте, где когда-то была комната Веры Емельяновны, среди облака пыли, явственно держался ее голос, оседал вместе с облаком... и вот свернулось, почернело.

2

Пыльным вихрем поднесло к ботинкам мятую бумажку. Антон Андреевич осторожно, придерживая рукой шов на боку, наклонился ее поднять. Это был обрывок документа, напечатанного на машинке, но в углу художественно, двумя чернилами, красными и зелеными, была от руки выведена фамилия Ф. Ф. Титъко. Документ представлял собой личный план Федора Фомича на пятилетие: против пунктов, намечавших получение квартиры (2 комн., 32,5 кв. м) и покупку гарнитура «Мальва», стояли красные галочки осуществления. Планировалось также написание дипломной работы «Опровержение буржуазных взглядов на...» — проставленные дальше точки предполагали уточнение к нужному сроку. «В Париже посмотреть Эйфелеву башню и сказать, что наша в Останкине выше», — значилось следующим пунктом, и дальше, перед самым краем обрыва: «Для Эльфриды»... Привкус медных монет сделал жидкой слюну, как в тот день, когда санитарка Фрося, сияя сморщенным красным носиком, заглянула в палату поделиться восторгом: «У этого пузатого, что с тобой тут лежал, ну который в «люкс» ушел — жена, знаешь? под троллейбус попала». Словно не хватало еще нелепости, ужаса, словно нельзя было обойтись подробностями правдоподобными — оказался в троллейбусе люк на задней площадке, который вдруг из-за неисправности открылся, как театральная преисподняя, под Эльфридой Потаповной и вывалил ее под колеса, дополняя для тети Фроси особым вкусом гибель женщины, которая по-хозяйски совала ей когда-то рубли — не за услуги, за готовность к услугам. В палате реанимации за стеклянными разгородками, подключенный проводами и трубками к холодной машине, все еще дышал потрясенный старик, не способный умереть, ни воспрянуть, кудесник Фейнберг, вопреки всему, непод-

купно поддерживал в нем жизнь с помощью невероятных достижений науки — из профессиональной добросовестности, ради клятвы Гиппократата, а как же еще? тут выбора нет, раз смерти надо противиться, раз мы обязаны служить жизни и только ей, нарочно же не прекратишь, кто возьмет на себя ответственность? — вот и держится, до сих пор живет всем на удивление, со вскрытой грудной клеткой, обогащая медицину сверхнаучной сенсацией, и громадные усилия человеческого ума лишь длят, множат его страдания. Но не бесконечно же? Бессмертных все-таки нет? Будем надеяться.

### 3

Тех немногих, кто навестил его в больнице, Антон Андреевич просил не заботиться о выписке и срока нарочно не уточнил, только заказал купить новые полуботинки взамен тех, что пропали вместе с портфелем, биноклем, музейным альбомом, литографской иконкой, неведомой башней для полетов и гирляндой финской туалетной бумаги. Сейчас при нем был лишь сверток с сапогами да теплой, не по погоде, курткой. Надо было с чем-то разобраться самому: с растерянностью и одиночеством, с легкостью воздуха и ходьбы, зеленью, дыханием без боли, свободным, как музыка, сочным, как арбуз. Да, только после болезни и потрясения обновляется эта способность наслаждаться простыми и эпическими радостями, а где-то ведь еще ждали новые стены. Новая жизнь. Зачем он велел таксисту ехать сперва к старому дому? — справиться попутно о вещах, которые не успел перевезти до больницы? Вот ведь как угадал. Осела пыль. Что испытывал тогда Антон? Все чувства его окрашивала, пожалуй, слабость. Переоценил свои силы. Бог с ними, с вещами. Вернулся к ожидавшемуся такси. Водитель долго не мог найти новую улицу. Квартал за короткое время подрос и переменялся, одинаковые дома стояли без номеров, новоселы различали их кое-как по приметам, но соседней улицы назвать не могли. Пустырь, способный вызвать тягостное воспоминание, исчез, выровненный. Только что проложенный асфальт был вскрыт и пересечен траншеей. Вечное обещание, вспомнил Антон Андреевич, выходя из машины, чтобы последние метры дойти пешком. Но какой простор! Как

вольно метет ветер! Мальчишки пристроились играть в футбол на дороге. Вратарь снял сандалию, чтоб не улетела вслед за мячом, выбил его босой ногой, потом надел обувь. Хорошо, одобрил Антон. И даже лифт сверх ожиданий работал. Даже дверь квартиры оказалась за время его отсутствия обита желтым дерматином, очень красиво, с узором ромбиками из кнопок и шнурков. Антон Андреевич только покачал головой от неожиданной, несовременной какой-то добросовестности мастеров. Он с ними имел лишь устную договоренность, но вперед вовсе не заплатил и теперь чувствовал себя их должником, не просто денежным, моральным — какую-то веру в нем все это возобновляло. (Он им и ключей не оставлял, но эта простая мысль сразу не пришла на ум; мысли вытесняла все явственней приподнятая ритмичная музыка.) Ключ не лез в скважину. Лизавин успел забыть, какой куда тыкать. Наконец самый тонкий вошел — но теперь не хотел поворачиваться. Антон попробовал нажать дверь плечом — внезапно она поддалась, и он чуть не упал на мужчину, вышедшего взглянуть, кто это ломится в его квартиру. В руке гантеля килограммов на пять. Совершенно голый. Жирная женоподобная грудь, складки на животе. Он смотрел на Антона Андреевича расширенными, осоловелыми глазами, как будто сквозь него; музыка гремела теперь наяву, и Лизавин наяву узнал это опухшее лицо с неряшливыми бакенбардами.

— Входи, Боря,— сказал Кайф.

4

— Виноват,— опомнился Лизавин.— Не туда попал. Простите, ради Бога. Этаж, номер... надо же, такой пассаж... корпуса так похожи. Смех и грех...— В нем действительно начало подниматься веселье, отчасти истерическое.— Вечно со мной что-нибудь такое. Хорошо хоть на знакомого напал... извините еще раз...

— Кам, Боря, ин май хоум. Май хоум ис твой хоум.

Кайф, не слушая извинений, отступал перед ним в глубь передней, дергаясь в ритме, втягивая, как поршень, который не может оставить пустоты. Гантеля в его руке оказалась черной погремушкой — или

как там называется этот инструмент? — кажется, маракас. Белый рыхлый живот свисал на плавки телесного цвета, делавшего человека голым и, более того, бесполом существом с жирной кольшущейся грудью. Глаза остановились, неживые. Пустотелый шелкающий ритм погремушки, добавляясь к магнитофонной музыке из комнаты, действовал завораживающе, вынуждал приспособляться к себе и шаг и речь.

Гость. Нет, не надо, я пойду.  
Я свою ищу квартиру.  
Ну, комедия! Скажи?  
Шел к себе, попал к другому.  
И к знакомому причем.  
Что кому, а зуб... Все то же.  
Возвращенье к вечной теме.  
Блудный сын пришел домой.  
Вот преследует! Все то же.  
Приставляй одно к другому.  
А теперь еще дома,  
Словно соты из машины,  
И квартиры, как ячейки,  
Заменяй одну другой.  
Что твое, а что мое,  
Безразлично, если вникнуть.

Хозяин. Боря, Боря, ты профессор,  
Ты ученый академик.  
Ничего не понимаю,  
И не надо понимать.

Гость. Вообще-то я не Боря,  
Но и это безразлично,  
Ты и тут выходишь прав.

Хозяин. Я маленько ширанулся,  
Только что... совсем немного.  
Хочешь тоже? Счас начнется.  
Маракас, маракас.

Гость. То-то у тебя зрачки,  
Как пластмассовые бусы.  
Мне не надо. Я и так  
В легком головокруженье,  
Словно травки надышался.

(Как там, Симеон Кондратьич,  
Вы про травку поминали?)  
Так хмелеешь среди пьяных.  
Вот, проникнемся сейчас.  
Значит, так дается счастье  
И пустое чувство глаз?

Х о з я и н. Конь под дверью бьет копытом  
Маракас, маракас.  
Лампа вспухла и разлита,  
Обволакивает нас.  
Влез на лампу ангелок,  
Открывает потолок.  
Мозг опух, живот в огне,  
Все тринадцать ног в окне.  
Дом колышет, как струну,  
Расползаемся в длину.  
Руки тянутся во двор,  
В церковь крадутся, как вор.  
Вместо ногтя — зрячий глаз.  
Маракас, маракас.

Г о с т ь. Ритм бессмысленный и властный,  
Маракас, маракас,  
Силой кажется опасной.  
Он равняет, подчиняет  
И объединяет нас.  
Станьте в круг, топчитесь в такт.  
Не родство ль рождается так?  
Просто зависти достойна  
Эта древняя способность  
Наслаждаться чистой тряской,  
Не волнуясь смыслом слов.  
*Руку в руку станем рядом.*  
*Топот наш войдет в века.*  
*Мы побеги новой жизни,*  
*Выплюнутой из стручка.*  
Для охоты, для войны  
Станем объединены.  
Бейте в бубны, в медный таз!

Х о з я и н. Маракас, маракас!

Г о с т ь. Бацают чечетку урки,  
Узнают по ней своих,  
Ставши кругом, переулки

Сображают на троих.  
Первая из всех идей,  
Захватившая людей,  
Как сумело эту прыть  
Наше время подхватить?  
В общей дрожи, в общей пляске,  
В общем ритме, в общей тряске,  
В этом танце хлоп и чавк,  
Чтобы род наш не зачах.  
Принц с лягушкой, хмырь с красоткой  
Ловят в жизни кайф короткий.  
Хорошо и так и так,  
Хлоп-хлоп, чавк-чавк.  
Пахнет гарью, пыль летит,  
Люк в троллейбусе открыт.

Хозяин. А лицо кривится вбок,  
Глаз уходит на восток.  
И пустая, как луна,  
Появилась сторона.  
Хочешь, потянись к бутылке,  
Вынь красотку из затылка.

Гость. Нет, возможности не те,  
Швы болят на животе...  
Давай немного сменим ритм.

Хозяин. Я вижу глюки, это значит счастье,—  
Так мне когда-то кто-то объяснял.  
Из швов растут цветы на тонких ножках,  
Красотки распускаются на стенках.  
Есть разноцветные, а есть такие,—  
И все твои, потрогай их руками,  
Изведай наслажденье и теки.

Гость. А над красотками восходит прялка,  
Будильник электрический с кукушкой  
Висит, как солнце над магнитофоном.  
В цветах из гофрированной бумаги  
Гвоздем прибита пара лапотков.  
И даже керосиновая лампа  
С таким же расколовшимся стеклом,  
Как, помнится, в музее у отца.  
Бредовый сон, незрелая отравка,  
Скорлупки без нутра и без души.  
Что там внутри, ведь никому не видно,



Но можно содержанием обрасти.

Хозяин. Стали лампою глаза,  
Глюкам проще выползать.  
Вот из горла самовар  
Выпускает желтый пар.

Гость. На бетонные панели  
Клеится кирпич бумажный.  
С самоваром на ракете  
Воспаряем к небесам.  
Здесь провинция справляет  
Новоселье, восхваляя  
Вкус химических котлет.  
На пластмассовых шарнирах,  
С синей птицей рококо  
Все равняется со всеми,  
Подтверждая, как был прав  
Тот, кто за морем когда-то  
Относительность придумал  
И на цифрах объяснил.  
Мы, глядишь, за морем сами,  
Ведь откуда посмотреть.  
Вот: такой же точно коврик,  
Прямо копия... цветы,  
Лебеди и домик с башней,  
Лев и полосатый тигр.  
Задуманность детской грезы  
Стала общим достоянием,—  
Что у вас, то и у нас.

Хозяин. Маракас, маракас.

Гость. Мне кажется, что музыку заело,  
Да вроде уж ее и вовсе нету,  
Лишь щелкающий пустотельный ритм  
В прозревшем отзывается мозгу.  
Я что-то начинаю понимать.  
Наводчиком я, что ли, оказался?  
Сам показал, где был отцовский клад?  
Все это, значит, забрано оттуда?  
И ничего теперь не доказать?  
Да, Кайф? И прав я даже не имею?  
И никаких не предъявить претензий?  
Не уберег отцовское наследство,

Оставил на расправу, на разор?  
Музей пришкольный выброшен на свалку,  
В утильсырье, сдан на макулатуру,  
И впору говорить спасибо вору —  
Что он успел украсть, то сохранилось.  
В глаза, гляжу, уже вернулся смысл.  
Черт побери, и правда, мы сравнялись.  
Здесь нету разговора о душе,  
Но вещи... и квартиры планировка...  
И даже эта церковь из окна...  
И цвет обоев... и этаж... Позвольте...

## 15. Учебник психиатрии

### 1

Ну-ну-ну, стоп, стоп! Хватит изгаляться. Эх разошлись! даже, гляди, в рифму. Переведем, наконец, дыхание, остановим ритм, вернемся, так сказать, к прозе. Или, как говорят философы, к реальности. То-то нам давно уже показалось, что комната вокруг Антона Андреевича вроде не та. Лампа яркая все выделяла бумажки на столе да лицо над ними. Потребовалось время, чтобы привыкнуть глазу. Очевидно, что это не прежнее жилье, на углу Кооперативной и Кампанеллы. Однако и не современная новостроечная комната с ровным, хотя и невысоким потолком, без форточек в окнах. Нет, потолок сравнительно высокий, но фанерный, крашенный масляной краской, и уж ровным его никак не назовешь, в окне и форточка есть, и рамы двойные, старомодные, а на просторном, не нынешнем подоконнике стоит какой-то мясистый цветок в горшке. Про стены сказать трудно, они почти закрыты книгами на простых незастекленных полках. И во всем именно не нынешний какой-то, хотя и тесный уют. Можно бы даже выразиться: «компактный», и в этой компактности, между прочим, очевидны свои удобства. Вот, не вставая со стула, можно дотянуться до книги на полке, из шкафчика за спиной взять сахарницу, из-под стола чайник — очень сподручно. Книги можно брать, даже не покидая кушетки, втиснутой между полок, тоже очень уютной, мягкой, хотя и не-

широкой. Вообще экономится много лишних движений, ходьбы. Времени на уборку. Лишнему здесь просто нет места, быт поневоле становится более целесообразным. Нет, если так вдуматься, в такой жизни можно найти свои преимущества, свою прелесть.

2

Ну, вот и слава Богу. Теперь, по прошествии времени, можно и пофилософствовать, даже, если угодно, с юмором. А тогда, в первом-то шоке — до юмора ли было! Кайф и то постепенно очнулся, осознав ситуацию, даже брюки стал натягивать, не попадая в штаны, и в речь возвращалась осмысленность; да, похоже, он немного еще изображал одурманенность, дотягивал, как пьяница, которому не удалось захмелеть в желанной степени. «Так это, значит, были твои... Фью-ю! Ну, с ними ничего, их по закону... Переписали. У меня полный закон... вот... шас... Я ни при чем. Ищи, конечно, только на меня не тяни. У меня закон». И все порывался поискать, показать какие-то бумаги, перекладывал с места на место маленький грязный шприц (хотя, если вспомнить, так ничего и не показал). Но что бумаги? Сам-то Антон Андреевич мог что-нибудь предъявить? Ничего. Бумаги были ему выписаны, но на руки не получены, ордер его существовал лишь в принципе, как словесное обещание, а что там произошло в его отсутствие — головотяпство ли, махинация? — обещали разобраться в кратчайший срок. Во всех причастных учреждениях и кабинетах только ахали неподдельно, куда-то звонили, поселили его на первые дни хлопот в благоустроенной комнате общежития, считай, в гостиничном номере с удобствами, и все за казенный счет, правда на краю города, но сами же потом предложили временно, пока суд да дело, переселиться ближе к центру, в отдельную, хотя и небольшую комнату. Ему незачем было даже писать жалобы в высшие инстанции — низшие сами шли навстречу. И вещи оказались сохранены по описи как будто полностью: коробка с одеждой, посудой, бельем были опечатаны по всей форме, а если он потом не мог найти нескольких книг да кое-каких мелочей, распакованных преждевременно, так ведь при любом переезде не обходится без потерь; мог и забыть что-то.

Официальных лиц, с которыми столкнулся тогда Лизавин, упрекнуть было не в чем, никто в его деле виноват не был, а кто виноват, следовало еще разобрататься, но в соответствующем отделе успели прозойти перестановки, кто-то вовсе покинул должность, кто-то осведомленный был в отпуске. Лизавина с извинениями просили еще день-другой подождать, потерпеть, позвонить. Местком выделил ссуду, вмешались общественные организации. Ему иногда становилось даже совестно, что задал столько работы посторонним людям. Но с того дня, как Антон Андреевич оказался пристроен во временном, зато близком к центру жилище, тон разговоров стал как-то скисать. Какая-то пенка подсыхала поверх вежливых фраз, все более равнодушных, затем недоуменных и даже скупающе-вежливых. Ну, чего он от них хочет? — если сам, недотепа, вляпался в такую историю? Кто ему и что обещал? Помнит он хоть фамилию? А, только лицо и номер кабинета? Так лица сменились, номера перевесили, а бумаг что-то никак не найти. Может, и не было никаких бумаг? Зато очередной его собеседник вдруг стал потрясать перед ним целой кипой: вот, сотни очередников ютятся в коммуналках, шестером на двенадцати метрах, включая молодоженов, — что же, им отказывать ради него? Вправе ли он претендовать на преимущества перед ними, живя один в комнате, пусть и небольшой? Кстати, после смерти матери кандидат наук оказался еще и собственником целого дома в Нечайске, этот дом теперь мог считаться в документах дополнительной площадью. Справедливо ли, по-советски ли было бессемейному одинокому человеку требовать чего-то сверх предоставленной ему жилплощади, пусть и не в новом доме, но с водопроводом, газом и даже центральным отоплением? Люди опытные, они знали, что на таких вот интеллигентов с бородками напор подобных доводов в первую минуту действует. Особенно когда интеллигент ослаблен болезнью и склонен ценить, как дар, всякую житейскую мелочь, которую здоровый от привычки уже не замечает; в этом состоянии еще помнишь, что счастье и суть жизни отнюдь не в размере площади и даже не в наличии ванной. Когда еще сообразишь, что назначенную тебе квартиру занял отнюдь не многодетный очередник! Известно когда —

уже по пути из кабинета, может, даже уже на улице, в сквере с цветочками, с пением птиц, пусть даже и воробьев, с голосами детей, как шум листвы. Лучшие доводы всегда приходят задним умом, но не возвращаться же! Как выразился Кайф: не тяни макароны обратно. Надо отдать должное кабинетным чиновникам, им введомая серьезная наука, они знают, между прочим, что людей обиженных, жалобщиков нельзя заводить в тупик отчаяния, надо первым делом обнадежить их и обнадеживать сколько можно, а там и приоткрыть выход, пусть убогонький — но все-таки! Человек утвердился на ногах и, пошатываясь, идет дальше, первоначальный порыв незаметно остыл, решимости прежней нет. Время само доделывает работу. Решимость ведь надо лелеять, надо постоянно поддерживать ее температуру, а упустишь — глянь, рассыпалась, как оловянные пуговицы на залежалых мундирах. Взгляд на вещи переменялся физически, а уму остается лишь объяснять, что на свете все относительно — и приобретения и потери.

### 3

Короче говоря, он отступил? Сдался? Позволил себя обвести вокруг пальца? Ну, знаете! Смешно все это, глупо и, если уж на то пошло, возмутительно. Надоела уже эта непрактичность так называемых интеллигентных возвышенных типов. Не их это, видите ли, дело — ввязываться в житейские дразги, добиваться, пробиваться, отстаивать свое. Так и уступают проходимцам одну позицию за другой, оставляют им квартиры, должности, влиятельные посты, журнальные страницы, а сами ютятся в каморках, зарабатывают кое-как чуждой поденщиной, но что самое паршивое — еще отыскивают философские обоснования своей несостоятельности. Какой-то даже высший выискивают в ней смысл. Неудачники, слабаки, рохли — назовем же, наконец, вещи своими именами! Хотя имена можно бы применить и похлеще. Не свои ведь только позиции уступают, наши общие. Вот и пробавляемся кое-как, едим шницеля из керосина и уток из сточных вод, называем дачной местностью пригородный пустырь, а сарайчик из ржавой жести садовым участком, покупаем масло дезодорированное, дышим

вместо воздуха черт знает чем, слушаем с кафедр черт знает кого, читаем в печати черт знает что, алюминиевая саленная вилка с погнутыми зубцами стучит о край общепитовской тарелки, а мы называем это своей культурой, своей жизнью и не замечаем, как эта пища, духовная и телесная, исподволь меняет сам состав нашего существа.

4

Ну вот, хоть на Лизавине отвели душу. Нашли, что называется, козла. Не в зеркало же говорить. Будто не знаем сами, как это бывает. Словно вязкое сновидение обволакивает, парализует волю, оставляет одно желание — притаиться в обретенном закутке тихо, мирно, чтоб ни одна собака не обращала на тебя внимания. Студень прозрачной медузы. Так было уже однажды, в пору ухода из института: не хочется встречать никаких знакомых, и вроде не так их много — но вдруг, оказывается, все улицы ими кишат. Окликают в автобусе, подсаживаются в столовой, и уже на ходу рожи принимают выражение сочувственного любопытства. Люди тянутся услышать подробности похорон, автомобильной аварии, развода или тюремного заключения. Все время надо быть начеку, чтобы не наткнулся на тебя чей-то взгляд, чтоб вовремя свернуть за угол или просто поднять воротник. А уж если не удалось уклониться, — опередить, первому задать вопрос о делах и спрашивать подробно, пока человек не распоется вовсю, ибо какая тема интереснее для него, нежели он сам? Но конечно, и в таких рассказах ощутишь преувеличенную скромность, великодушное стремление не слишком уязвлять собеседника очевидным превосходством своей жизни: дескать, не так уж я преуспеваю, не так у меня все хорошо, опять же теща больна... Чем хороша была библиотечная работа — возможностью уединения: в щели между шкавами каталогов, считавшейся кабинетом научного сотрудника, имея для своих нужд и плитку, и чайник, Антон Андреевич действительно чувствовал себя как никогда свободным и защищенным — насколько вообще может быть свободен и защищен человек, конечно же не гарантированный ни от болезней, ни от других неприятных вторжений

жизни. Служебные отношения с коллегами здесь удавались минимальные; представить себе общение со студентами Лизавин просто сейчас бы не смог. Он, впрочем, для приработка подряжался иногда по старой памяти читать выездные лекции от общества «Хочу все знать», но разъезды ведь — тоже способ одиночества. Все-таки не перестаешь удивляться, — вновь подумал он как-то вечером, перебирая дома свои бумажки: какими только путями, через случайности, нагромождения, перепутья, срывы человек все же приходит к тому, к чему склонен заранее, по природе, для чего, может быть, создан — и вот тебе наконец хорошо. А, Симеон Кондратьич? Нет, кроме шуток, если научиться, в вашем духе, не сравнивать, не смотреть на себя глазами других. Отгородиться духовно. Неважно, где жить и что носить, мудрец постигает мир, не выходя за порог... Что?.. Чему вы все усмехаетесь?

Милашевич шурился с фотографии на столе: перепонка пенсне подвязана тесемочкой, большой рот улыбался грустно, взгляд казался уклончивым.

— Я?.. Нет, я ничего.

— Мы, кажется, можем теперь, как никогда, понять друг друга. Ведь извлек же я что-то из общего нашего опыта?

— Что вы считаете опытом, Антон Андреевич? Значит, загонят человека в конуру, дадут миску с пойлом, а он рад уверять — и сам уверен — будто живет в раю?

— Ну, заговорили! Во-первых, почему конура? Жилье у меня лучше прежнего — да-да, совершенно объективно. Топить не надо, батареи, туалет теплый. Кухня всего на две семьи, но я даже не хожу туда, у меня тут маленькая прихожая, я портативную плитку приспособил, с баллонами. Небольшой расход и нарушение, возможно, пожарных правил, но сосед не доносит, ему тоже удобно, а я зато сам по себе. Сосед у меня алкаш, но мирный, даже симпатичный, бывший слесарь, сейчас грузчик в магазине. Мы в добрых отношениях. Мальчик у него прелестный, такая, знаете, отрада...

— Н-да... А так живете, значит, затворником, монахом, опустившимся чудаковатым холостяком? В вашем-то возрасте!

— Отнюдь, Симеон Кондратьич! Разве не видно? И на жильё мое посмотреть, и на меня самого — ухожены все-таки, не запущены. Чувствуется присутствие женщины, разве нет? Вот рубашечку мне на днях подарила. Ткань, видите? называется лавсан. Занавесочки на окне новые. Вазу тоже она выбирала; цветов, правда, нет, но веточки пока поставили, а эта штукавина в горшке... Что?

— Как зовут?

— Женщину-то? Люся. Моя же, представьте, бывшая студентка. Не доучилась, правда, по жизненным обстоятельствам, в магазине книжном сейчас работает. Там с ней и познакомились, а где еще? Странная опять встреча. Что кому... именно. Говорит, что давно, еще в институте, была в меня влюблена. А я смотрел, экзамены у нее принимал — и невдомек. Милая вообще... и тронула меня чем-то: худобой ли, уязвимым видом...

— Похожа, что ли?

— Особенно когда уже на улице увидел, — не слышал вопроса Лизавин, — в брючках, знаете, как сейчас девушки стали ходить, в босоножках на высоком каблуке, кофточке облегающей, тонкая вся такая, трогательная... именно трогательная, больше не знаю как сказать. И элегантность эта трогательная, и желание нравиться. Только женщина знает, как это делается, да еще при их зарплате... ежедневное усилие поддерживать внешность и тело, и слабость скрывать ежесекундную. Жалко всех почему-то... женщин особенно. И девушек, конечно. Старух тоже. Баб, одним словом. Они ведь добрее нас. Милосерднее. Собачонку увидит, ребенка — уже улыбка. Правда. Что в жизни важнее? Последнее, на чем держимся. И готовит хорошо...

— Что-то вы разговорились так, Антон Андреевич. Погодите минуточку. Я про нее еще хочу спросить.

— А... Нет, так я ее и не нашел. В больнице мне дали адрес — оказался мнимым. Никто там не живет, я ходил. Дверь драная на замке, с притолоки смотрит котище вот такими глазами — жуть, никогда таких не видел. Какая-то старуха, говорят, раньше там обитала, но оказалась в психушке... в доме скорби, если выразиться слогом старинным. В справочном говорят, такая не прописана. Может, опять уехала... не знаю. Я написал на всякий случай до востребования. На



Меньшутину и на Андронову, не знаю ведь даже, какая у нее теперь фамилия. Вот как раз сегодня оба письма вернулись по обратному адресу. Ничего про нее не знаю... все зыбко... Ее тоже, конечно, жалко.

— Вас так смутило, что произошло у нее с этим спортсменом? Может, вранье.

— Не проверял и не собираюсь. Не мне судить. Я и не сужу. Люди разные, понять друг друга трудно. А может, и не нужно. Как вы об этом выразились?... ну, да ладно. Не до строгости. Я и ее по сути не знал. Просто что-то не так видел. Одним глазом одно. Другим — другое. Возможно, кто-то из нас выздоровел. Хотя не уверен... Сейчас, минуточку...

— Вы что это?

— Да ничего, сейчас.

Наклонясь, достал из нижнего ящика стола плоскую коньячную бутылку, отвинтил крышечку, налил в нее и выпил. Потом сразу повторил, завинтил крышечку. Симеон Кондратьевич укоризненно шурился со стола, даже как будто потянулся взглядом проводить бутылку до самого ящика, но, не сумев заглянуть через край, упал лицом вниз. Лизавин поднял его, слегка отер пальцами и уважительно вернул на место.

— Извините, так вышло. Тряхнул нечаянно.

— Ничего, это я сам. Значит, все-таки выпиваете? Этого я и боялся. Не стоило бы. Вид у вас...

— Да нет, разве это выпиваю? Вы же видели. Чуть-чуть. Для здоровья, мне даже полезно. Нервы малость успокоить.

— А что такое?

— Нет, ничего. Так, переутомился, наверно, слегка. Перенапряг силенки. Надо все же свою меру знать, именно свою, и жить по-своему, не по-чужому. А то я, знаете, какое-то время стеснялся признаваться сам себе, например, что старенькое простенькое танго волнует меня больше чего-нибудь эдакого. Тарам-тарам-парам.... Или труба вроде Костиной... как, бывало, любил слушать. У меня запросы, в общем, простые. Обывательские, если угодно. Мне нравится лежать на этой кушетке, читать детектив или фантастику... да-да. А что-то там другое... не знаю. Может, этого и ни у кого не бывает. Как не бывает, знаете, особенных страстей, нездешней мудрости, тайственных проявлений жизни, которые описываются в книгах. И пишу-

щие сами знают, что не бывает. Мы просто играем с такой условностью, нам приятно, как в кино, уходить на время из всегдашней жизни. Тоже нужно. На время. Жизнь сама о себе напомнит, все вернет на места.

— Да, она умеет о себе позаботиться. Иной раз просто диву даешься.

— Не говорите. Помните, я рассказывал про Эльфриду Потоповну? Которая под троллейбус провалилась? Представьте, оказалась жива и даже благополучна. А ведь каких наворотили подробностей: люк разверзшийся, черт те что!

— Все вышло вранье? Вот видите, цена бабьих рассказней.

— Да нет, может, и не вранье. Может, и был люк, из-под колес выкарабкалась, отошла. У самой-то не спрашивал. Только издали недавно увидел: в пальто новом, с норковым воротником, и сама как новенькая. Даже не похудела. Знаете, есть такие фильмы рисованные: человечка бьют по голове дубиной, вколачивают в землю, расплющивают асфальтовым катком, скручивают в узел — а наутро... как в этой вашей песенке?

— А наутро она уж улыбалась,  
Под окошком своим, как всегда,—

без охоты напомнил Милашевич.

— Да, да! Замечательно! Я полный текст недавно узнал; помните?

Однажды юная красно-о-тка  
Залезла в море погулять.  
Но киль большой подводной ло-о-дки  
Ее разрезал пополам.  
Кишки же слопал морской гад  
И тут же выплюнул назад.  
А наутро она уж улыбалась,

замечательно! Тут философская мудрость. Приставишь — срастется. Жизнь продолжается. Несмотря ни на что.

А наутро она уж улыбалась  
Под окошком своим, как всегда,  
И рука ее нежно изгибалась,  
И из лейки ее текла вода.

Вот фантик для финала, а, Симеон Кондратьевич? Для финала любой главы, если не книги. В книге финал

более условный. На самом деле ничто не кончается, вы правы. В катастрофах гибнут всего лишь отдельные люди, но рано или поздно им все равно умирать, речь только об отсрочке. Погибшие сто лет назад до наших дней так и так не дожили бы, странно о них горевать. Не надо преувеличивать исторических трагедий и неурядиц. Бывало, впрочем, и народы исчезали с лица земли, но и это был конец лишь для них, для жизни остались другие. Хотел бы я только знать, кто все у вас там смеется и не может остановиться? Вы сами-то знаете?

— Не нравится мне все это, Антон Андреевич,— тихо проговорил Милашевич.

— Что? Смех?

— Если вы это называете смехом.

— Да, что-то здесь иногда по коже скребет. Ведь и ваш комизм всегдашний, я чувствую, не совсем от хорошей жизни. Смеяться иной раз надо, чтобы страх отогнать, беду умалить. Чтоб жить было все-таки можно.

— Смех в каком-то смысле самой смерти противостоит,— напомнил философ с тем выражением, когда значительно поднимают вверх указательный палец — если б только была у него такая возможность.

— Да... Но почему же тут по коже скребет? Между прочим, у религии не зря, видно, со смехом сложные отношения. Скоморохов не зря палками гнали. Христос, говорят, никогда не смеялся.

— И заметьте на эту тему еще, Антон Андреевич: женщине почему-то не пристало быть смешной. Корчить рожи, заниматься шутовством. Это все для мужчин. В женщине-клоунессе есть что-то противоестественное; не правда ли? Как в пьяной женщине.

— Ишь вы как... интересно. Прежде я от вас таких разговоров не слышал.

— Мы слышим то, что способны услышать. Помните, как беседовали время назад? Какие вы глупости спрашивали про Александру Флегонтовну? Я без обиды, не смущайтесь. Все правильно. Каждый получает разговор, какого заслуживает. Представьте собеседника, который всю жизнь отвечает нам в меру наших вопросов.

— Как могу, Симеон Кондратьевич. Я уже говорил: больше мне, видимо, не дано.

— Что значит «дано», милый вы мой? Мы ведь и себя и возможности свои открываем, как открываем жизнь — усилием, подвигом, поиском.

— Может быть. Но с меня, право, хватит. Надо немного в себя прийти. Нервы чуть-чуть привести в норму и вообще... Я даже, знаете, со временем стал как-то пугаться. Недавно спросили в поликлинике, сколько мне лет, так я, представьте, задумался, стал поскорей вычитать из цифры цифру, но для этого пришлось сначала спросить, какой нынче год. Это прозвучало забавно, но было в образе. Образ человека, знаете, немного не от мира сего. У меня такая теперь репутация, я замечаю. И она вызывает даже симпатию. Хотя не знаю, что подумали врачи. Бывает, знаете, и похуже. Пугаться впору.

— Чего?

— Нет, ничего. Так... В основном заскоков собственной мысли. Ну, и другого всякого. Знаете, как-то в разгар квартирной своей эпопеи... Названиваю по делу из автомата. Отвечает мне женский голос: «Да, Владик!» — «Можно Павла Петровича?» — «Да, Владик». — «Не понял, это 68—80?» — «Да, Владик». Монотонно, печально. Можете смеяться, Симеон Кондратьевич, но мне как-то стало... Не только это. Если уж договаривать до конца, я хлопоты свои квартирные прекратил не только по объяснимым причинам. Снов своих стал пугаться. И не то чтобы кошмары... Иногда почти безобидные, но повторяются раз за разом, и не выберешься. Будто я опять и опять прихожу в школу, которую кончил давным-давно, и знаю; что кончил, но зачем-то опять добровольно сижу за партой, над какой-то математической задачей, способ решения которой давно забыл, и с мучительной неловкостью думаю о предстоящих экзаменах. А главное, не могу вспомнить, зачем мне вообще это надо: опять сидеть за партой, испытывать неловкость, бояться экзаменов. Кому-то хочу угодить? Мерещится в уме, что в любой момент можно просто все это отбросить. Аттестат-то у меня есть, я знаю, зачем же сижу и мучаюсь, когда могу просто уйти и не приходить больше?.. Максим почему-то снится. Будто мне обещано с ним свидание, надо передать ему несколько важных слов, важных для него, для его свободы. И вот я обнимаю его, он такой же, только очень уменьшился, я легко поднимаю его

в воздух. И вокруг еще люди за столом, надо поддерживать общую беседу, что-то про футбол, про фрукты почему-то, слово тянет другое, несет по течению, нет возможности вставить единственное, уже и вспомнить не могу, о чем оно, а время свидания истекает, просыпаюсь в поту, ни с чем. То есть как ни с чем! Мучение липкое остается, чувство стыда, забытых слов, унижения, невнятной вины. И память о страхе, неодолимом, непонятном. А бывает и просто кошмар. Кариатида эта в милицейской форме смотрит выпуклыми бельмами из большой бетонной трубы, той, что у забора лежала, за траншеей. Я зачем-то заглянул, наклонился: стоит на коленях, на подстеленной газете, а над ней, как наездник или как второй торс, голый могильщик. И все невероятно явственно: запах казарменных духов, шрифт газетного заголовка: «Выше темпы», — как сейчас помню конвульсию смеха — и страх, что она сейчас вскочит, погонится, настигнет или, не догнав, выстрелит... — знаете, вот в тот раз, еще не проснувшись, я вспомнил вдруг, чего много лет не вспоминал. Это было после войны, мама взяла меня в город на базар. То есть в областной центр, городом у нас называется только он. Повезла на попутной машине два бочонка с солеными огурцами и помидорами. Впервые я путешествовал так далеко, да еще на грузовике, впервые увидел пятиэтажные дома, трамвай... до сих пор в горле этот вкус пыли, базарные запахи, шум, многоголосоца... И вдруг крик, вопль истошный: а-а-а!.. Удивительно, выстрела я не услышал, а может, спутал его с другим звуком и почему-то всегда жалел об этом, даже постарался после, в воспоминании, озвучить выстрелом из кино. Но сам знаю, что это подмена, и женщину-милиционершу подменил потом мысленно, верней, бессознательно, я ее не видел за спинами взрослых, и мальчика убитого не видел, мама, конечно, не пустила. Но по разговорам чужим все так ясно стояло перед глазами, как будто прокрутили еще раз базарные декорации, и пацана в пиджаке не по росту, как он бежит мимо рядов с украденными деньгами (или, в другом варианте рассказа, с домашней свиной колбасой, изогнутой в кольцо), бежит через толчею, потом вдруг через опустевшее пространство, а милиционерша (тогда, после войны, в городах часто бывали милиционерши) — милиционерша эта кричит: «Стой, стре-

лять буду!» — и вдруг в самом деле стреляет, и он падает, как в кино, подкошенный, а она кидается к нему... Дальше я слышал сам, но вот этого именно крика не мог понять тогдашним своим детским умом. Чего она кричала, чего рыдала? Милицейские преследователи всегда стреляют в воров — таковы правила игры, и зритель понимает стрелявшего. Я хорошо помню эту странную ребячью жестокость, но не сострадание и даже не страх. Страх дошел потом, в этих вот снах, в этом топоте погони, и вдруг какой-то крик в воздухе, и пальцы Якова Ильича над грудной клеткой: а-а-а!

— Ну-ну, Антон Андреевич!

— Да, да, все в порядке. Это я так. Сейчас...

## 5

Отвернул Симеона Кондратьевича лицом к стене — как будто по звуку выдвигаемого ящика и плеску жидкости тот не мог догадаться, что совершается за спиной. Так что когда Антон возвратил его в прежнюю позицию, лицо философа выражало не столько укоризну, сколько обиду.

— Что вы, право, как ребенок. Дело ваше, как хотите. Но говорили: чуть-чуть.

— Да разве много? Ладно. Сейчас надо. Я, может быть, договорю уж, раз начал. В общем, что-то в моих ощущениях стало меня пугать необъяснимо. Стал ловить себя как бы на интонациях Якова Ильича. Не в крике, нет, в обычном разговоре, во всегдашнем голосе. Может, так и раньше было, но теперь стал подмечать. Бессмысленность каких-то слов, забот, действий, движений. И у других тоже. Спешись перебежать дорогу перед радиатором автомобиля, а сам вышел-то из дома слишком рано, даже ищешь, как растянуть время. Вещь покупаешь ненужную, становишься в очередь... ну, про очередь лучше не будем. Лучше сразу про одно впечатление расскажу. Знаете, я наконец впервые наведалься в места ганшинской усадьбы. Впервые, вы вправе недоумевать. Я ведь все там вокруг хорошо знаю, изъездил. А это — только представлял примерное расположение, от дорог в стороне, деревень там близких не осталось, заброшены, автобусы не ходят. Там местность с детства считалась у нас запретной; мама, конечно, не объясняла почему,

и спрашивать лучше не стоило, она не любила: нельзя в ту сторону даже за грибами ходить, и все. Без объяснений. Но мы, конечно, и так знали: лагерь там был для преступников. Иногда возникали разговоры, что кто-то бежал. В общем, страх перед той зоной был; может, и он подсознательно играл роль. К тому же я знал, что усадьба-то сама сгорела. И маршрутов нет попутных, удобных. От автобусной дороги далеко, ближе от железной, за Столбенец еще два перегона на любом пассажирском... да что я вам рассказываю! Просто объяснить, почему раньше не выбрался. А тут специально поехал из города не электричкой, а пассажирским. Схожу. У разъезда несколько строений хозяйственных, домик обходчика, другого жилья поблизости вроде нет. Спросил обходчика дорогу к усадьбе, он, как ни странно, сразу понял, показал, хотя посмотрел на меня с каким-то выражением непонятным, я потом оценил. Туда вела, оказывается, через лес заброшенная узкоколейка. Рельсы ржавые, полуразобранные, шпалы сгнившие поросли травой. Потом вовсе рельсов не стало, через ручей остатки моста разрушенного. Вдруг поваленный столбик с табличкой: «Стоять! Запретная зона! Без предупреждения стреляют!» Та самая, из детских страхов... даже немного сердце забилося. Лес кончился, открылся зеленый луг, холм. На холме... как вам описать это первое впечатление? Среди зелени проглядывают строения деревянные, вроде бы колонны и какое-то нагромождение, непонятное издали; все вместе выглядит нагромождением, будто где-то все это уже видел, в каком-то сне: холм и колонны... это оказался в самом деле остаток фронтона, к нему пристроен деревянный барак двухэтажный, приблизясь, я разглядел. И еще — развалины стены кирпичной, небольшой кусок, но с воротами железными, закрытыми, Симеон Кондратьич. И над всем небо густое, голое... Под холмом, ближе к ручью, увидел единственного человека. Немолодой, в рубашке хаки, в офицерских галифе, но в старых башмаках для работы, он что-то копал. Яму не яму — целый котлован, глубокий довольно и большой. Один совершенно. Наполнит тачку, увозит по деревянным мосткам, в низинке вываливает. Я подошел пообщаться. Вы, говорю, здесь живете? Пробурчал что-то не очень приветливо, но я понял, конечно, что здешний. А что, говорю, копаете? Он так глянул через плечо. Каспийское

море, говорит, а что? Отшил. Необщительный, думаю. Ну и не надо, посмотрю сам. А он мне уже в спину: если, говорит, без лопаты приехал, наверху спроси, дадут. Ничего себе, да? Ну, я поднялся туда, к воротам. Они, Симеон Кондратьич, не просто закрыты, на них замок ржавый, неснимаемый. Я стену обошел, там действительно развал кирпичный и, главное, всюду кучи земли, горы. Одни уже травой поросли, другие вроде свежие. Кое-как перебрался. Вижу, у строений невдалеке люди, один вроде за мной наблюдает, как я по этим горам ползаю. Ну, а я не спешу подходить. Потому что увидел еще одно сооружение. Остаток решетчатой деревянной вышки, широкий ярус основания из скрещенных бревен и досок, я ее узнал, я видел фотографию. В траве какие-то остатки догнивают. Наверх лесенка идет. Я осторожно поднялся. Вид просторный, яркий. Внизу этот тип копает, и я, присмотревшись, вижу, черт побери: его котлован действительно имеет точные очертания Каспийского моря. Спустился, а человек, что за мной наблюдал, уже внизу поджидает. Но не говорит ничего, как будто ждет, что я начну. А на меня уже вся эта атмосфера начинает немного действовать. Хорошо, оказались при себе сигареты: что ни говори, общенью они как ничто способствуют. Достать, предложить: вы курите? — спичку поднести — и уже разговор. Я смотрю, у вас всю копают? — начинаю. Да, говорит, приезжают все время. И этот, — показываю вниз, — тоже? — Нет, говорит, этот наш. Бывший полковник. — Прямо Каспийское море у него получается, — усмехаюсь на всякий случай: мол, с юмором. — Да, говорит, второй год старается, и все сам, никого не подпускает. А по мне, ради Бога, хорошая трудотерапия. Потом, может, мы ручей туда подведем, напустим воды, рыбу разведем для общего стола... До меня уже, как вы понимаете, начало понемногу доходить. И это, — показываю вокруг, — тоже ваши работали? — Нет, это приезжают. Своих мы в погреба не допускаем. Под землей все-таки, могут быть обвалы, мы за больных отвечаем. Да они и не интересуются кладами, всем своего хватает...

Милашевич вдруг засмеялся:

— Ну и закрутили вы, Антон Андреевич! Я все думал: к чему вывернете? У вас, право, художественный талант.

— Почему художественный? Вы хотите сказать,



я сочиняю? Ну, знаете, не вам бы пускать шпильки. Это я еще сомневался, не выдумка ли: рухнувшая стена и древние погребки под землей — а туда, оказывается, много лет приезжали искать сокровища, да иногда столько народу сразу, что местный персонал уже сам устанавливал порядок и, между прочим, собирал с искателей налог в свою пользу. Он и от меня дожидался обычного взноса, десять рублей, как я понял. Нормальному человеку сюда больше незачем приезжать. А здешним нечего искать в другом месте, им хватает обломка стены с воротами на замке. Но может, на время и отлучаются, их особенно не различишь. Меня стало преследовать это чувство, Симеон Кондратьевич. В библиотеке смотришь, сидит человек, перед ним книга раскрыта на репродукции. Вручение знамени, не помню, чья картина. Сидит, подпершись кулаком, смотрит. Потом вдруг начинает писать в тетрадке. Еще посидит, посмотрит — еще мысль запишет. Искусствовед небось... Нет, не могу этого объяснить. В автобусе заглянешь через чье-то плечо в газету, пробуешь угадать, к какому месту прикован так взгляд, луч проследить. На фронтах борьбы за мир, против церковного дурмана. Закаляясь в битвах и в труде. Какая мысль переливается из этих строк в мозг, как совмещается она со вчерашним смыслом, который уже стал недействительным, словно след на воде? Ведь у читателя газет, Симеон Кондратьевич, в мозгу ежедневно перестраивается какая-то ажурная конструкция, надо все время приводить свое умственное хозяйство в соответствие с новыми словами. Жизнь при этом как будто раздвоена: для одной — своя половинка ума, для другой — газетная, но обе прекрасно могут совмещаться. В одной, скажем, личная совесть, вера, знание, в другой — позывные трудовой вахты. Или притащит человек домой мешок ворованных материалов, садится читать газету и возмущается искренне: да, правильно пишут, пора поставить заслон. Одинаково искренни могут быть обе половинки, с противоположными знаниями, убеждениями. Удивительно целесообразная обыденная шизофрения. Я ведь уже и названия знаю. Вот, учебник раздобыл. И на каждой странице, Симеон Кондратьич, на каждой странице нахожу какие-нибудь знакомые симптомы. Раньше даже не подозревал, что это у всех.

— Ну-ну,— сказал Милашевич, и это прозвучало как: не увлекайтесь.

— Уверяю вас,— Антон стал открывать книгу на готовых закладках.— Вот: «Нарушения восприятия жизненной изменчивости. Все кажется мертвым, неподвижным и потому чуждым»... Это не про Ангела ли Ганшина? Или вот, например, из Кречмера о суррогате счастья. Про чиновника, который уверяет, что ему живется лучше, чем любому министру. Заменяем министра на царя — чем не Гена Панков?

— Вы смешиваете в кучу разные вещи,— опять покачал головой Милашевич.— Во-первых, это еще не болезнь. Прочтите, там рядом должно быть, как это называется. Во-вторых, то, что вы называете обыденной шизофренией, может быть действительно необходимо для существования общества как совокупности. Мы в этом с вами уже пробовали разобраться. Общество ищет устойчивости и равновесия. Для этого надо, чтобы отдельные личности ежедневно, ежечасно приводили, как выразились вы, свое умственное хозяйство в соответствие с общими формулами. Истина, как мы уже поняли, дело десятое. Можно построить общую жизнь на знании сомнительном и даже подмененном. На вере, которая обеспечит гармонию хоть с самой смертью. На мифе, который устроит всех больше, чем что другое.

— Тем более, еще вопрос, что есть истина,— усмехнулся Лизавин.

— Совершенно верно. Правильней говорить о воле к ней, о поиске, о стремлении приблизиться.

— Да, и тут мы сразу наткнемся на Бидюка,— подхватил Антон.— Вот кто доискивается до подоплеки всех мировых загадок, событий истории. И доискался ведь. Он мне открыл недавно догадку свою. Удивительно емкую, все вмещает. Своим умом установил. Что, по-вашему? Ну, конечно, инопланетных пришельцев. И ведь без всякого, знаете, сумасшедшего энтузиазма толковал. Хотя и намекал на встречу с неким удивительным существом, которое ему все объяснило. Главное — такая несомненная логика и связь выявились вдруг во всем: отказало ли зажигание сразу у колонны проезжавших грузовиков, сменилось ли внезапно районное руководство, вспыхнул ли кризис на любом Востоке — все вписывается в стройную схему

направленных действий. Даже деятельность тайных служб, которой он прежде увлекался. Даже сам Господь Бог получает толкование внутренне цельное и притом научно-материалистическое: взеземная цивилизация решила когда-то поставить эксперимент по зарождению жизни на нашей планете и продолжает внимательно следить за его ходом. Здесь и резиденты ею оставлены, их принимают за существа с необычными способностями. По этой причине, между прочим, нам не следует бояться окончательных катастроф вроде атомной войны,— он так мне и намекнул. За нами следят и в нужный момент вмешаются. Если не ради нас, подопытных, то ради своего научного успеха. Что, станем мы с вами отрицать здесь страсть к поиску? Еще какая! До самого доньшка.

— А зачем так насмешливо? Вы что, в это не верите?

— Симеон Кондратьич!

— Погодите, вот получит эта идея признание. Не говорю — подтверждение, это не обязательно, но ведь и не опровергнешь ее до конца.

— О да! — согласился Лизавин.

— Ну вот. А если большинство убедится, что она целесообразна, тогда посмотрим, кто выйдет безумен и заслуживает изоляции. Я где-то сформулировал это условие: безумие должно быть единообразно в пределах системы. Несоответствие... не помню, как дальние.

— Несоответствие ведет к разладу и столкновениям... Вы что, хотите сказать, что икс — это у вас пункт сумасшествия?

— А почему бы и нет? Попробуйте представить, поразмышляйте, выстройте. Важна общепринятая, общезначимая система ценностей, равновесие внутреннего и внешнего, желания и осуществления... Что вы на меня смотрите, как на фотографию?

— Я взгляд ваш пытаюсь поймать. Все ускользаете. А в профиль вас даже не представляю.

— Какой у меня профиль! На тюремной карточке и то не вышел.

— О, кстати, насчет этой фотографии. Я недавно стал ее рассматривать внимательней, с увеличительным стеклом, и мне показалось... нет, я на самом деле различил как будто штриховую фактуру. Она вызывает мысль о ретуши, но еще больше — о рисунке тонким

пером, с размывкой, имитирующем фотографию, очень искусно. Надо еще раз взглянуть на оригинал, да все пока нет возможности выбраться в тот архив. Если это действительно не фотография, то чья работа? Не ваша ли собственная? И зачем она? Почему угодила в дело, а фотографий обычных нет? С вами вконец перестанешь что-нибудь понимать, Симеон Кондратьич. Вот я вам рассказал только что про место, где побывал, действительно побывал, но рассказал и уже сам сомневаюсь: не привиделось ли все это мне? Бывало с вами такое чувство? Вот то ли сон видишь, то ли читаешь кем-то придуманное — вдруг больно по-настоящему, и шишку можно пощупать руками. Я главного-то все же не договорил, Симеон Кондратьич. Мне снятся не только свои сны. Я стену эту уже видел, и башню для полетов, надпись, вырезанную ножом по дереву, детский дом или колонию, ковчег Ионы... а среди детей вроде бы своего Колю Языка с белым личиком... все мешается. Там ведь в усадьбе уже после детской взрослая колония была, стену ганшинскую дополнили простым ограждением проволочным, остаток башни приспособили под вышку сторожевую. Чьи видения я досматриваю, Симеон Кондратьевич? Дымный воздух, горелый лес, среди крестов истощенные нагие люди стоят в ямах, держатся за руки... Макарьевцы. Мама мне как-то рассказывала про тогдашний голод, она девчонкой была, однажды в поле за ней погнались двое, она оступилась в рытвину, тогда и ногу повредила. Хорошо, знакомый мужик случился, спугнул их, да ее потом отчитал: ты что одна ходишь? В котел захотела? В котел... Вы знали про это? Чего только не было... И я везде как будто присутствую, только себя не вижу...

— А я иногда вас пробовал себе представить,— сказал вдруг Милашевич.— Человека, который когда-нибудь будет меня читать. Сидеть над бумажками, перебирать их пальцами... клеточки души моей, моей жизни, моего мозга. И знаете, примерно именно таким: с бородкой, в рубашке из неизвестной мне материи. Только думал еще, в очках.

— Ну, Симеон Кондратьич, с вами впрямь свихнешься. Этак вы дойдете до того, будто и меня вообразили — вместе вот с разговором нашим и со всем прочим.

— Что вы! Зачем? Ну, разговор, бывало, дейст-

вительно воображал, и выходил вроде как сейчас примерно.

— А ведь насчет очков вы не так уж ошиблись. Пришлось недавно сходить к врачу, прописал. Давно, говорит, надо было. То-то я до сих пор без стекла штрихов на портрете не разглядел. Еще немного, смогу видеть мир совсем как вы. Это, наверно, тот же процесс, что делает похожими мужа и жену и раскосыми — русаков, много лет живущих Китаем. Мог бы и пенсне обзавестись для полного тождества, но это вопрос моды, и где достанешь? Что вам еще обо мне приснилось?

— Вы как будто обиделись, Антон Андреевич. Я не имел в виду... Считайте, если хотите, наоборот, что выдумали меня сами. Пожалуйста. И мысли мои, и жизнь, и эти мои слова сейчас сами выдумываете. Я не держусь за авторство. Смешно, в самом деле. Может, нас обоих сейчас кто-то выдумывает, у вас не бывает порой такого странного подозрения? Вот кто-то пишет вашу жизнь, водит скверным пером по бумаге, мы стекаем с чернильного кончика, складываемся из букв. Вот сейчас, когда говорим. Или когда читаем. И нам впору тревожиться, что он еще с нами устроит. Но дело-то в том, что не только мы от него зависим, мы ему тоже зачем-то нужны. Нас творят наши творения. Он, который сейчас сочиняет нас — или думает, что сочиняет, — может, сам в этот миг начинает подозревать, будто его жизнь тоже пишется кем-то. Кто-то невидимый смотрит на него с ожиданием, надеждой, мольбой. Если б вы, Антон Андреевич, знали, как все мы друг от друга зависим. Я реален, если реальны вы, можете ли вы этим проникнуться?

— Вы как будто хотите подтвердить, Симеон Кондратьич, что мой рассудок действительно уязвим. У меня, конечно, уже немного шумит в голове, но не в этом дело...

— Бросьте, Антон Андреевич, я сейчас как никогда всерьез. Учебник этот ваш, конечно, полезен, только не путайте себя сами. Имейте в виду, кроме ощущений субъективных есть еще и объективные симптомы. Это я вам как недоучившийся медик напоминаю.

— Например?

— Да в книжке и посмотрите. Хотя бы почерк меняется. Иногда очень, до неузнаваемости.

— Да, да, как у пьяных.

— Или от наркотиков. Совершенно верно.

— Вроде как там у вас, в этой тетрадке... я все ею брезгую заняться.

— Естественное чувство. Но дайте договорить до конца. Мне сейчас показалось, вы и учебником этим обзавелись, чтобы от чего-то уйти, не додумать еще одной мысли. Как вы там про меня выразились однажды? Так сказочный хитрец метил крестами соседские дома, чтобы замаскировать единственный.

— Не понимаю?

— Почему вы не подумали поискать ее там?

— Где?

— Там... в доме скорби, как вы это назвали.

— Ну, знаете!.. Симеон Кондратьич, сейчас я, кажется, допью весь этот пузырек, и вы прекратите дозволенные вам речи.

— Подождите! Еще немного, ради всего святого! Я ведь не договорил. Нечаянно сбился. Ну, прошу вас. Мог бы — на колени бы стал.

— Ладно, чего там. Я ведь сам себе отдаю отчет, что эта навязчивая мысль о ней — из того же учебника. Заноза. И раз не можешь ее извлечь, надо не обращать на нее внимания. Почему, собственно, я? Есть другой. Вот, скоро выйдет, может, разыщут друг друга. Все устроится.

— Но ведь и он зачем-то хотел, чтоб вы прочитали его тетрадку?

— Не знаю. Я никому не должен; если в чем-то и был виноват — так не я один. В делах, где участвуют двое, каждый несет свою долю...

— Антон Андреевич, вы даже не представляете, сколько зависит от вас, именно от вас! Всякое чувство, всякая жизнь, всякая мысль, даже не запечатленная, рождает заряд, верно, и он может держаться где-то мгновение или века, даже незаметно влиять на живущих, постепенно ослабевая до исчезновения. Но чтобы осуществилось что-то, как молния, всегда нужен другой, способный понять, воспринять, услышать. Один наш мыслитель, тоже из провинциалов, все звал возрождать людей из частичек земного праха. Всерьез. Странное извращение идеи. Разве мы рожаем только тела? Разве ушедшие, исчезнувшие, почившие не продолжают существовать на равных

правах благодаря нашему живому чувству? Для этого чувства действительно нет смерти. Вот я недавно еще был мертв, безгласен, ни для кого не существовал — вы возрождаете меня своим усилием, трепетом, теплом своей жизни. И разве только меня? Дойдите же еще чуть-чуть... Ведь и вы не вечны, подумайте, и вы от кого-то зависите, от чьей-то мысли, чьей-то любви, чьей-то памяти. Напоследок, пока мы оба не стали незрячими и невидимыми...

## 16. Тетрадь без обложки

*если нарисовать молекулу она устроена как планетная система Или атом забыл Неважно Представим что на планетах невидимых как на нашей кишит жизнь Небеса с радугами и светилами и мелкие муравьи Друг о друге мы подозревать не можем от несоизмеримости Невозможно понять почувствовать себя всего лишь в зазорах громадного вещества В каждом из нас Вселенная и не одна в крови память звериная и рыба инфузории кристаллы и древняя соленая жидкость мирового океана и зародыш дальнейших миров Все вместе и невозможно вырваться Ключ был здесь Не могу понять Чем мельче ядра тем сильнее силы это закон я не виноват Ухватишь одно другое исчезло Чем мельче тем трудней предсказать метания Я вернулся чтобы исправить объяснить но сначала дописать до конца на бумажках у меня уже не осталось подобрал на земле последних красавиц Я хочу объяснить осторожно имени даже не назову а потом можно сжечь чтобы не навредить потому что здесь ядра шевелятся сами и притягивают другую жизнь надо всё следить все подправлять Трудно вспомнить Пересыпаются ядра шуришит кровь Горло пересохло воды нет в колодце одна грязь на дне чернила хоть слюной разводи так и слюны не осталось Вот нечем карандаш помусолить не обессудь Я эту тетрадку напоследок держал если придется тебе объяснить и вот сбилось Никто не виноват я тебе не в укор хотя зачем твоему личику хобот и эти глаза плоские Ей было не вынести Жизнь совершилась мгновенно почернела как будто обуглилась с кожей в омертвевших узлах и жилах В воздухе черные дыры как в кисее Нечем дышать Не сердись Я уехал с гробом среди*

гробов *Иначе не выбраться* Дальше не знал как Самому трудно и вот набрел пришел опять к гробу он был для нее и сказано было *Се явился возлюбленный ея* Первопророк наш *Котел кипит* всем доступно причастие Трудно поодиночке но если слиться сплестись растечься в яму Как я хотел с ними *Я видел восторг* и осуществление но это надо еще заслужить *Матери не позволил* ребенок и я понял что не смогу *Я там был не весь не сам по себе оставался ты и все что здесь Я нужен был* Назад никто не стерег вернулся закончить позаботиться объяснить дожидаться а теперь ничего не могу *Ноги ватные голоса нет и страха Шуришат* ядра холод ледяной нечем согреться но если завернуть в листок травки *Буквы с дымом входят в тело греют пальцы* могут писать вы поймете *Вот я теперь вспомнил кому и зачем я вижу вот выглядываете из кружочка И вы меня* Мелковато надо бы крупней но не хватит бумаги не осталось пальцы громадные зато понимаю *С кем я думал тягаться с кем спорить Но ведь не ради себя И сейчас надо позаботиться нельзя допустить дыр в воздухе* Мироздание может остыть *Страшная безобразная межзвездная пустота нагромождение камней* Нужна все время энергия

## 16. Ковчег, или Камень еще пригодится

— Но вы-то знали, что он вовсе не сын Солнца.

— Это вам теперь так видится. А тогда вера в него была не просто истиной. Ею выигрывались битвы, ею отнималась и даровалась жизнь

Наваждение, нетрезвость, болезнь. Но до этого наваждения, до этого безумия — что знали мы о жизни?

Нет истины без наваждения

пусть безответно, пусть от этого стреляются, сходят с ума — здесь угодное Замыслу

это как заряд электричества в туче, пусть и не возникло молнии



Когда это произошло? Наверное, не сразу, не в один миг; что-то помалу сдвигалось в уме этого невообразимого человека или в его душе (ведь мы говорим о болезни душевной, когда потрясен рассудок), накладываясь на потрясения эпохи и усугубляясь ими; что-то несомненно дрогнуло в нем уже тогда, на плоту, сделанном из старых ворот, среди мифической лужи, в миг, который однажды приблизился к нам в прозрачном изгибе времен, так что мы все подробнее можем вглядываться в разъезженный перекресток дорог и видим вновь запруженную низину, скамеечки вдоль заборов, в окошках бледные, мятые, осторожные пятна, видим белые от напряжения или холода костяшки пальцев и помертвелое лицо женщины, но с особой пристальностью всматриваемся теперь в другое, поражающее своим сходством, как портреты на фантиках, восковое в свете ноябрьской непогоды: слюнка тянется с полуоткрытой губы. Он-то наверняка никого не узнал и даже не понимал, что узнан через целую жизнь (или угадан по сходству). Знал ли он вообще достоверно о своем происхождении? Не считал ли отцом кого-то из мужчин, вмешавшихся в его жизнь? Интересовался ли этим вообще? — во всяком случае не тогда, в час торжества, когда для него началась поистине новая эра, и не только потому, что он впервые завладел переправой, до которой его прежде не допускали — малорослого, слабого, любимца взрослых, но изгоя среди обитателей левинсоновского пансиона. Кричат вороны в потревоженных небесах — пародия на трагический хор, но слов еще никаких не произнесено — не время и, пожалуй, не место, еще что-то не так сошлось, и не только потому, что один из плывущих на плоту — арестант, который по недоразумению будет до ночи заперт в остроге... он еще восхищен, как все сбылось, как осуществилось, он возвращается в потемках по грязи, по мостовой в свете фонаря, кружится голова, воздух настоян на винных парах, на гомоне и выкриках, черные ручьи текут по канавам, еще не осмыслена перемена, но что-то уже поколеблено в мозгу — или поколеблется на следующий день, когда он узнает, что мальчика в Столбенце уже нет, что семейное соединение придется отсрочить,

а пока надо заботиться о ней, уже больной, уже в лихорадке, о новом объяснении для нее, о новом обещании, новых словах и наполнять словами сундучок, прислушиваться, как они шевелятся, выстраиваются там, чтобы не сбилось опять — он убедился в их заклинающей силе. *Еще немного, еще чуть-чуть...*

2

Ибо не только ею был угадан мальш; с особым чувством на него смотрели в тот день еще одни глаза, воспаленные, до сырого мяса растравленные немецкими газами. Рябой маляр и художник в английских обмотках узнавал восхищенно черты, что впервые увидел когда-то на картинке и повторял потом столько раз; они как будто не изменились за все годы, неподвластные времени, они были живым осуществлением, надеждой, возможностью — для него тоже, для него тоже. Быть может, это он, Иона, отогнал от плота прежних корыстных владельцев и дал шест сироте в левинсоновской стеганой курточке, а тот, опасаясь последствий, старался потом держаться поближе к неожиданному заступнику, чуть сжимался, когда большая рука гладила его по макушке, принимал в ладошку подарок — липкую карамель, розовый сладкий сок окрашивал губы, и без того яркие, как на картинке; может, в ту первую ночь он и переночевал где-нибудь у Босого, в слободском доме или каком-нибудь временном месте, на постеленной шинели, пока солдат крушил прикладом бутылки на складах Сотникова и матерился, рукой прикрывая лицо от огня... Трудно видеть то, чего не видал Милашевич; нам никогда не узнать, в какой час и как — на обывательской ли телеге? посаженный ли верхом? полсотни верст по тряской лесной дороге уезжал мальчуган из Столбенца в Нечайск вместе с обретенным покровителем и заступником, человеком новой власти и силы, который теперь окончательно убедился, что прежние люди безнадежны, обречены, отравы прежней жизни въелась в них неистребимо, их не переделаешь, с ними не учредишь ничего похожего на мечту, как будто привидшуюся однажды — прошлое можно лишь отметить, расчистив место для новой жизни; ее уже сейчас надо было выделить, оградить от окружающей заразы;

в Нечайск, на новое место, Иона ехал учредить ковчег для достойных.

3

*Близок, близок этот час!  
Бездна вод обступит нас.  
Снарядим же в новый век  
Жизни будущей ковчег.  
Но зачем нечистой твари  
Сохраняться в нем опять по паре  
И своей отравы яд  
Впрыскивать в невинных чад?  
Надо прочистить мир огнем,  
Чтоб не осталось заразы в нем.  
Каждый шов в нем прокалить,  
Чтоб не выжил паразит.  
Порчи нам не одолеть,  
Тело тянет нас к земле,  
Мы уже обречены,  
Станем прахом у стены.  
Но ковчег наш по волнам  
Вознесется к небесам,  
И над маковками гор  
Детской песни вспыхнет хор.  
Вот среди других юнцов  
Вижу чудное лицо:  
Лоб, как нежный лепесток,  
Кудрей светлый завиток.  
Запах детства сладок нюху,  
Голос детства сладок уху.  
Юным пребываешь ты,  
Не переходя черты.  
Здесь, в ковчеге, средь сирот  
Твой начнется к солнцу взлет.  
Славлю я твою судьбу,  
Мысль, укрытую во лбу,  
Бугорок между лопаток —  
Крыльев будущих зачаток.*

4

Это были, несомненно, его стихи, стихи Ионы Свербева, они соединялись с напечатанными, как части

единой поэмы, которую каждый поэт пишет, наверное, всю жизнь — с этими, например, где он бестрепетно соглашался удобрить собой почву грядущего, только сперва хотел расчистить и устроить место для нового младенчества:

*Нам — с землею перегнить,  
Вам — под солнце воспарить.*

И даже с тем рукописным обрывком, что Лизавину показался строфой романса:

*Надо прежде забыть,  
Больше некого любить,  
Больше некого искать,  
Лишь друг друга приласкать.*

Здесь было то же чувство оборванной пуповины, сиротства под опустевшими небесами, без опоры под ногами... Для светлого своего видения Иона, похоже, так и не нашел слов — такое словам неподвластно — может, нарисовать пробовал, но где те картины? нам доступно лишь гадать, что он все же хотел осуществить на месте Нечайска. Да знал ли сам? и что имел в виду, когда годы спустя в бывшем ганшинском имении пробовал соорудить башню для полетов? — может, уже и помнил смутно, да и не считал, что это его забота; будущее устроят по своему разуму другие, те, кому жить в нем — его дело лишь предварительное. Он был скромней и, может, здравомысленней иных, не претендуя ни на мировой масштаб, ни даже на масштаб страны — он был лишь истовой, нетерпеливей, серьезней. Нечайской республикой, которую окутал такой необязательной таинственностью дым сгоревших в архиве бумаг, назывался всего лишь детский дом, учрежденный в стенах бывшего, уже опустевшего монастыря Назаретская пустынь; остальной город должен был пока обеспечить еду, утварь, одежду и все необходимое для его беспечальной жизни — происходившее же вне стен было для Босого второстепенно, он разве что заботился, чтоб поскорей возрастало число обитателей счастливого ковчега и чтобы сам он неуклонно ширился, в конечном счете совпав с Нечайском (а там, может, и дальше, это дело других); подробностями его растравленные, подслеповатые глаза не интересовались, они уставлены были в дальнюю перс-

пективу, мимо тех, кто был все равно обречен, а если порой и принимал их к сведению, то без особой враждебности, может, даже с сочувствием понимания — ведь он сам не выделял себя из общей участи, просто его очередь была поздней, как у метельщика, который должен после всех подмести площадь перед торжеством и уйти уже навсегда. Подробностями, наверно, было кому заняться и кроме него; бывший кладбищенский поп имел той зимой вдоволь работы для своих натруженных лопатой рук; обставлять эту работу писаниной Свербееву было и ни к чему, здесь не было интересного для потомков, лишь песок Козьего оврага запечатлел остаточные следы, и еще долго спустя переселенцы из других мест заселяли пустовавшие в Нечайске дома. Бумаги можно было слишком представить по другим, похожим; они, если где-то еще сохранялись, могли разве что дополнительно уточнить, как и почему пришлось Ионе покинуть Нечайск, перенося свой ковчег в другие места. Но это потом; а сейчас другая музыка пробивается к нам сквозь толщу, нам насущней выявить ее, утвердиться в чувстве, что еще долго и после Нечайска оставался с Ионой мальчик — отрада, надежда и обещание.

## 5

*Как он воспрям, пугливый, затравленный, последний из всех, как ощутил покровительство и новое свое место! Это могло быть о нем, как и стихи Свербеева. Херувим с зубами, порченными избытком сладости, новая кровь в жилах старого мира, первый в ковчеге будущего — он, которому в пансионе и вне его приходилось терпеть превосходство других, более сильных, рослых, потому что сам был неизменно слабей и меньше, так что даже огрызаться, даже мстить он мог только тайком — мальщ, который привлек к себе столько любви, но который приносил беду всем любившим (лишь детей отталкивало то, что притягивало нежность взрослых: слишком яркая красота, вечно влажные от слюны губы, повадка зверька, всегда ждущего прикосновения то ли для ласки, то ли для удара, уже готового согнуться, выставив горбик, и этим ожиданием, этой слабостью навлекающего ласку или удар — а иногда, может, он прямо-таки провоцировал*

обиду, чтобы потом пожаловаться защитнику — у него всегда были покровители — и удовлетворенно наблюдать за расправой), — он получил теперь долгожданное превосходство и силу, превосходство убожества, силу несчастья. Господи! Что же делать, если столько в нашей истории отдаёт бедой и болезнью — никуда не денешься; очевидность изъяна телесного, частного позволяет, конечно, называть здоровьем все остальное — благословенная возможность, милосердное право; но обольщаться слишком не следует — кого не корежит, когда корчится время? кто назовет себя ничем не затронутым? — и что же делать, если уже привязалось и не хочет исчезнуть злосчастное видение: остановленный в росте мальчик с едва намеченным бугорком на спине? — и все слова о лучших намерениях, о надежде и свернувшем с пути замысле, о своевольных творениях, о вине, ошибке, любви, ожидании, ужасе, боли, попытках укрыться от правды готовы уже соединиться не с историческими отвлеченностями, а с этой сгустившейся, как из сна, фигуркой, и всё новые подробности добавляют ей очертаний. Непристроенный экспонат музея: мерная линейка с насечкой. Иона установил ее в своем приюте, и проходивший под черту получал особую порцию сладости. Но рано или поздно все перерастали ее, становились похожи на взрослых, со щеками, испорченными волосом, с дыханием, отравленным табаком; время, увы, продолжало свой ход дальше, и неоткуда было взять существо поистине новое, небывалое, ведь всё в жизни составлялось из тех же наличных молекул. Лишь один продолжал тешить надеждой, не обманывал ожидания... Мы видим дрожащие пальцы контуженного на кудрявой головке, — и как они осторожно касаются почки нежных, нераспустившихся крыльев; сбитые с толку ноздри вдыхают запах болезни, не понимая его, губы бормочут стихи, шевелящиеся в уме — слагатель яростных пророчеств, он еще не заметил, что стал нелеп, ненужен, опасен, что поворот его ума перестал совпадать с направлением времени, скоро он обрушит палку на спину какого-то начальственного инспектора, которого застигнет с мальчиком в укромном уголке своего сиротского ковчега, эту «анархистскую выходку» припомнят ему годы спустя на суде как улику давно начавшегося разложения, и он разразится в от-

вет словами о непотребстве, но в подробности не станут вдаваться ни он, ни судьи — довообразим их в меру собственного разумения (если угодно, приставьте к изрытому оспой лицу гримасу небритого, неистового Кизильбаша). Но к той поре и мальчик покинет его, потерявшего силу, отставленного от всех дел инвалида; он найдет себе новое покровительство и новый особый путь — постепенно взрослевший, но вряд ли особенно прибавлявший в росте, разве что сапожки со скрытыми каблучками да высокая шапка делают его чуть повыше...

*Тов. Карл*

*губернский уполномоченный*

*по борьбе...—*

вот разве только этого еще не хватало, последней вспышки — имени на оборванном бланке, чтобы замкнуть вдруг цепь.

6

*Все бы ничего, да имя неосторожное. При таком-то росте!* Не прорвалось ли это на бумагу, как вздох любящего человека, который издали ловил вести о своем детище, любовался им, переживал за него, искал, как помочь, как оградить от опасности среди политических поворотов? Имя было наверняка благоприобретенным, взятым вместо собственного в пору повальных переименований, по чьей-то идейной подсказке или из собственного усердия. Время выявило или усугубляло в нем нечаянный оттенок, чуть ли не намек, а и на попятную было, наверно, нельзя, могли не так понять, и Милашевич у себя в Столбенце тревожился, может, даже писал своему малышу, предупреждал о переменах, которые он угадывал раньше иных (как улавливали его цветы перемены эфира); он переписывал для себя восхищенные стихи поэта, который разделял с ним ту же любовь, а иногда, не выдержав, обращался на листках к мальчику, — не произнося имени, тотчас осекаясь, не договаривая, как будто опасаясь последствий, потому что о столь дорогом не всегда позволено говорить. *Как я надеюсь, как жду, как люблю издали.* Можно было заново пройти,

словно по следу, по строчкам, носом к запаху, как чуткая собака Серп и Молот. Можно было поискать имя в реальных губернских списках, отождествить по приметам, что-то подтвердить, уточнить, поправить — но много ли добавит эта реальность? Милашевич сам долгие годы не видел своего малыша, он жил больше в его душе или уме, неизменный, прекрасный, вокруг него роились на фантиках мечты о блаженном непреходящем детстве, о восковом устройстве ума, способном усваивать из воздуха необходимую мысль и перестраиваться в счастливом согласье с ней, об остановленном и упраздненном времени. Да, бумажки помимо всего были словно принадлежностью магического действия, на них можно было преображать жизнь ради любимых — ради той неподвижной, безгласной, которая тогда на плоту потрясена была, пожалуй, не просто встречей и не просто узнаванием. Он не мог оставить ее надолго, не мог тотчас отправиться за мальчиком и возвратит — к кому возвратит? и как? какими словами? Надо было еще подготовить что-то, может, соединить сперва на фантиках, а до тех пор лишь обещать окончательное возвращение, последнюю встречу, отодвигая ее с года на год — годы незачем было, в конце концов, считать.

7

*Еще немного, еще чуть-чуть, и сойдется, сбудется, разрешится.* Что-то продолжало сдвигаться в его уме или душе, но даже Семека еще ничего не заметил, лишь странным смущением повеяло на него от речей этого шутника, от его дерганой, беспокойной улыбки. Больная женщина лежала за перегородкой, в затхлом воздухе тесного жилья, а он выстраивал вокруг нее подобие цветочного рая, записывал слова на обороте фантиков, где светловолосая красавица вышивала, поливала клумбу, разливала чай из расписного чайника — женственный символ провинции на гербе Столбенца или Нечайска. За всем виделась теперь безумная, обреченная попытка избавить, оградить любимую от общей человеческой судьбы — до самого конца он отказывался признать не поражение — крах, и может, не из одной только гордости твердил о своем счастье — он испытал его невыносимую полноту.



Сходились линии, встречались, переплетались под землей белые корешки в страшное лето холеры, засухи и пожаров. Горели торфяники под Сареевом, мгла заменяла воздух. Исчезли мухи и комары, зато появилось множество мелких белых мотыльков. Их густота еще больше затрудняла дыхание, они липли к стеклам и потной коже, рассыпались в пальцах, как жирная мука, на языке же оставляли язвы. Пересохла, чтоб уже не возобновиться, лужа на скрещенье трех низинных улиц, а Столбенецкое озеро ушло далеко от берегов, оставив вокруг себя зловонное болото с затверделой, но ненадежной коркой. Говорят, такое поминалось в летописях без малого четыреста лет назад. Из слоя донной грязи высывались облепленные илом, обезформленные предметы, в одном можно было узнать уроненный с лодки, торчком стоявший багор, в другом — лошадиный череп на запрокинутой шее со склеенными, нерассыпавшимися позвонками; торчал залепленным жерлом вверх ствол чугунной пушки, высунулся прямиком рыцарь в пластинчатых грязевых доспехах и польском шлеме, его трудно было разглядеть издали сквозь зыбкие испарения, в которых вдруг возникали и растворялись, как призраки, воспоминания, никем не опознанные, тени людей, исчезнувших, а может, никогда и не существовавших; воздух, иссушаемый солнцем, был для них губелен, и, чуть-чуть продержавшись в нем, поляк рассыпался, прежде чем до него попробовали добраться, — навсегда осталось загадкой, кто он, откуда мог живьем взяться в этих краях — и не было ли все же правды в легенде о Колтунове, уже давно исчезнувшем с камня. На его месте стоял теперь последний гипсовый человек, обрубленный с обеих сторон: правого соратника, увы, постигла та же неизбежная участь, что и уклонившегося в другую сторону, ведь причина была для всех общая, и даже оставшийся не мог рассчитывать на долговечность: все тот же фантик мог прийтись к любому году. *Должно быть, там внутренний в теле порок. Каверна, трещина. Скорей всего в голове. А там разошлось дальше... Вода себе путь найдет, ей все равно через кого течь... И так же, как всегда, вечный Вась Васич, несedeющий го-*

родской дурак, провожал гробы с мертвецами, только возили их теперь на телегах навалом, а хоронили за городом, и дальше заставы провожающих не пускали: из-за эпидемии закрыты были въезды и выезды, у шлагбаумов стояли солдаты, снабженные противогазами для дыхания среди дыма. А Вась Васичу дым был ничто, из выцветших глаз его текли слезы, но рот улыбался привычному торжеству: вот, всех провожаю, а сам все хожу, все живу.

9

Что ж, теперь и стихи о ковчеге можно было приставить к новому месту — пусть стал еще помельче масштаб: уже не монастырский приют, не ганшинская бывшая усадьба; из узнаваемых строк складывался угол в доме, где доживал свой уже недолгий срок отставленный от дел, но вовсе не спившийся инвалид в прожженной на спине шинели, с лицом в оспинах и зрачками, не желавшими принимать очевидностей. Наверное, Милашевич как-нибудь заглянул к бывшему знакомцу, чтобы поговорить, расспросить — было о чем. *Куда смотрят эти глаза? Мимо меня, мимо меня.* Уколы еще не просохшего чувства угадывались на листочках. *Свет сквозь немытое окно — как сквозь бутылку плохо очищенного самогона. В загоначиках за временными перегородками густо шевелилась живая плоть, колыхалась мякоть, соприкасалась с другой, вываливалась на улицу, росла, расплывалась, сохла, портилась, старела, переставала быть теплой и свозилась к оврагу.* Сюда, в последний ковчег, можно пристроить всех, не опознанных, не пристроенных по другим местам; тесновато, но всем угол найдется: и неизвестно откуда затесавшемуся на фантик узбеку в тубетейке и полосатом халате, — вот он сидит на топчане, покрытом рванью, с игральными картами в руках; и фельдшеру, который в доказательство своего мастерства хранит мешочек зубов, вырванных у горожан; и разной живности, пороссятам и козам, которых содержит, должно быть, кто-то в чулане: пахучие ручейки подтекают под дверь, их нужно переступить, проходя коридором; а может, и тараканов сюда, окруживших вензелем настенную лампу, и чуткого пса Серп и Молот, если он еще оставался жив, — но

непрерывно еще двоих, на фантики не попавших: неизвестных занятий особу по имени Катька и ее годовалого, для нас безымянного сына.

10

*Тельце, как от пузыря, произрастает от выпяченного животика с нежным узелком на месте, где он когда-то был связан с материнским существом,— может, вот это о нем? может, Симеон Кондратьевич успел повидать последнего, к кому привязался Иона, ради которого готов был отсрочить исполнение пророчества:*

Надо прочистить мир огнем,  
Чтоб не осталось заразы в нем.

Эти стихи вполне могли припомнить потом ему на суде, как произнесенную вслух угрозу поджога; перенесенные в новое время слова гнева против живущих в нем приобретали смысл недопустимый, даже опасный. И что мог на это ответить Свербеев? Он сам принимал свои слова всерьез и других предупреждал честно, зная, что все равно не будет услышан, что и предупрежденные не смогут ничего изменить в неумолимой судьбе — не призывать же их к покаянию, посту и последней молитве? — он не был врачом, который прописывает лекарства лишь по обязанности, понимая их бесполезность, — единственный верующий среди всех здешних держателей икон, единственный, способный принимать веру всерьез, как бы она ни называлась. Он готов был терпеть свою и чужую жизнь еще только ради ребенка, к которому привязался с нежностью старика; в этом ковчеге, кишевшем нечистью, он призван был оберегать малыша от его же собственной матери: из губернского ардома вот-вот должен был возвратиться после трехлетней отсидки Катькин сожитель (или муж) — она за свою жизнь боялась.

11

Близко, близко, уже совсем горячо. Бедственные времена рождают тьму призрачных страхов; люди падки на них и сами готовы их множить, как будто

призраки помогают отогнать ужасы настоящие. На серых, от пыли улицах шатались и падали, как пьяные, люди — на них уже смотрели бестрепетно, лишь определяли привычно: тихо лежит — значит, от голода, дергается — холерный. У стен, прислонясь спинами, сидели неподвижные, расслабленные, как из тряпья, фигуры. Из окон разило карболкой. Звук, похожий на тихий, монотонный вой, не утихал ни ночью, ни днем — его не замечали как беззвучный фон существования. Но вот смущение умов, вот соблазн: из глаз гипсового героя на камне сочилась влага, прокладывала грязные бороздки на запыленных щеках — откуда еще взялась? после месяцев-то засухи? в каких сохранилась порах? Смущение и соблазн. Уже замечена была на Столпье женщина, пробовавшая уловить в пузырек каплю — не простую, ах, не простую! Городские шепотки придавали всему окраску многозначительную и зловещую. Надо было снести вконец и эту фигуру с нелепыми культями обрубков по бокам, но в ней привыкли видеть образ покойного Перешейкина — рискованно было брать на себя ответственность, всяко могло обернуться. Разбежались прокаженные из специального поселения в бывшей усадьбе Храповых, они будто бы заходили в чужие дома и пользовались имуществом хозяев, которые боялись туда вернуться. В лесах совсем неподалеку обнаружили с самолета два поселения, не обозначенные ни на каких картах. Будто бы обосновалась где-то секта, бежавшая от властей; там поклонялись чудотворному телу во гробе, не мощам, но именно телу, некоторые уточняли — женщины, и женщина эта была живой, сияла красотой, но лежала, как во сне, безгласно, ибо познала тщету сотрясения воздуха, лежала, не подвластная времени, не меняя с годами ни одной черты, зная про себя тайное слово избавления от бед, только еще не пришел срок произнести его; а еще говорили: власти отняли ее у людей и где-то скрывали, но близок был час возвращения, истощенные обитатели голодавших деревень тянулись к пустовавшему гробу, где проповедовал ее именем близкое утешение благодостный проповедник из бывших попов...

Сходилось... сходилось... Еще немного. Не надо больше противиться, Антон Андреевич, не зря так схожа иконка с красавицей фантиков. *Вокруг дома густеют шепотки, слухи. Как не впустить их в дверь, как укрыться от этой надежды, мольбы, ожидания, требования, угрозы?* Нет, это не сюжет воспоминаний о давней поре, это возникло тоже в другом времени — почти дневниковая запись. Узнал ли ее кто? сама ли собой зародилась молва? Неисправимый, нелепый шутник, он мог способствовать этой молве словом неосторожным — например, объясняя источник своей политической пронизательности — с него бы случилось! Обманули дурака! а потом сам пытался от этих шепотков бежать в отдаленную усадьбу, где так кстати учреждался музей, а может, и дальше, до Нечайска добрался — по тракту, мощенному еще при Екатерине, на тряскую телегу или в розвальни уложив лишь скудные свои пожитки, узлы с одеждой, посудой да немудреной утварью, да семена в мешочках, да, может, еще горшки для рассады и еще сундучок с крышкой, оклеенной цветными фантиками, и фантиков полный; может, он и верно жил одно время в поповском доме у кладбища, но недолго, в Нечайске было ничуть не спокойней, наоборот, а убежать совсем далеко от опасных краев оба не могли или не желали, неизменно привязанные ожиданием. *Не вечно же бежать* — все та же, сквозь годы, мелодия его жизни. Но не было возможности укрыться, время неумолимо тикало — вот мы уже готовы увидеть, как в дом, притягательный для молвы (опасной, а то, глядишь, и враждебной), по ступенькам гнилого крыльца, походкой горбуна и посланца власти поднимается на коротеньких ногах, в сапожках с внутренними каблуками губернский уполномоченный по борьбе — долгожданный, желанный, возникший наконец после отсутствия... сбывалось все, сходились последние линии.

Нет, мы еще не видим его лица, лишь ребристый хобот противогаса, круглые, плоские, стеклянные глаза — маску уполномоченного, которая, может, казалась ему знаком отличия, принадлежности к тем, кому

положен по праву другой воздух; он готов был надевать ее без всякой надобности, тщеславясь по-детски, как тщеславится провинциал, нацепляя на грудь случайный значок, смысла которого даже не очень понимает — бедный, упивающийся чувством обретенной наконец, до конца еще не раскрытой силы; может, именно блокнот с титулом он даже придумал для себя сам, как сочинял для анкет происхождение и подробности славного прошлого, заказал в типографии, пока было такое возможно, но восхождение его по ступенькам совершалось все годы, пусть и в областях, не доступных прямому взгляду, пусть вначале он всего лишь помогал налоговому инспектору выявлять скрытые недостатки, заглядывая по чужим кухням в кастрюли или записывая у прилавка покупающих осетрину — но тем доказал свою пригодность и даже незаменимость вообще для дел деликатных, неявных, где человек другой внешности не проходил — все такой же, почти не подросток, с горбиком, почти незаметным, с личиком, располагавшим к жалости и к ласке... вот, наконец, он снял хобот, открыв улыбку, не до конца переосмысленный оскал; зубы, порченые сладостью, выдают внутреннюю работу времени, да, пожалуй, и кудерьки поредели... пахнет кремом «Олоферн» для раченья волос... мы готовы увидеть, как поднимается ему навстречу полубольной, истощенный недоеданием, давно потрясенный старик (как он добывал пропитанье в то лето, погубившее все посадки?), пенсне качается на шнурке, дрожащая рука пробует опереться на спинку стула, большой рот искривлен... Может, он еще пытался ему что-то сказать, задержать, не допустить за перегородку, за ситцевую занавеску, ведь он не так представлял эту встречу, и этот приход, и мальчика своего — карикатуру на замысел; но как он мог его не впустить! С ним входила в дом и в жизнь неумолимая материализованная правда, для нее не существовало ни наваждения, ни любви, ни Бога, ни вечности, нирая, ни ада — лишь застойный воздух убогого жилья без салфеток и вышитых подушечек, лишь запах болезни да невзрачных цветов в горшках, и женщина, полуприподнятая на железной кровати, застланной одеялом из лоскутов, вечная светловолосая красавица в платье минувших лет, пробудившаяся от сна наяву,—

словно ворвавшимся дуновением сквозняка вдруг опалило ее, совершив мгновенную перемену, потемнела, сморщилась тонкая кожа, незнакомую старуху с болезненными узлами вен, желто-лиловыми наростами на онемевших ногах увидел вошедший, и дыры с обугленными краями ширились в почерневшем, прожженном воздухе...

14

Дальше не разглядеть. Не надо. И слов ее нам так до конца не услышать. Подалась ли она навстречу? выговорила ли то, что давно для него хранила, лишь во сне своем повторяя? — чтобы потом откинуться на подушку, взбитую заботливыми руками, и уже не открыть глаз? Будем думать, что напоследок она облегчила мальчику своему задачу, смысл которой он так, наверное, и не понял (как не дано ему было понять свою жизнь, сколько бы она еще ни длилась). Обрывок бумажки остался от него в сундучке — но как она попала туда? Была ли случайно обронена и подобрана рукой безнадежно любящего? или даже выкрадена на память? оставлена для кого-то другого, но не передана?

Меринов Федот  
Загребельный Иван  
Губанов Илья  
Викулов Пров

*Обманули дурака на четыре кулака.*

*Саботажники в одной лишь деревне Сареево пытались укрыть от обложения четырех кулаков.*

15

Ну, знаете!.. Это уже похоже на истерический смех. Нельзя так. Не надо доискиваться еще и этого смысла. Как будто он обязательно должен существовать. Как будто нам дано понять логику и связь там, где властвует лишь направление общего потока — мы только знаем, куда он влечет: давно в ушах эта музыка, мелодия гибели и утраты... Похоже, Симеон Кондратьич сумел покинуть город вместе с гробом, несмотря на запрет, как-то спрятаться в скорбной телеге, но может, и так пропустили, не сразу заметили, а возвращать беглеца было незачем.

Заставы больше охраняли город от тех, кто пробовал проникнуть сюда из обесхлебевших деревень к милостыне, к слухам о хлебном пайке, о скрываемой чудотворице, к железнодорожной станции, к проезжавшим поездам; уходить отсюда в горелый пустой простор мог только безумец — вот назад бы его не пустили. Да он и не собирался назад, он знал, куда идет от свежезарытой могилы или от расширенного оврага, где в тот месяц гробы лишь присыпали песком, оставляя место для нового ряда: копать особо для каждого некому было, и не успевали... Вот идет человек, наклонясь, как против ветра, пошатываясь от слабости, замедленно, как в водоеме, опалая легкие дымным горестным воздухом, через обугленный сухостой, через кислый запах беды и гари, через пепельный цвет безразличия. Зловещий козел увязался за ним: на впалых боках грязная шерсть, рогатая голова с человеческими зубами, безумная желтизна в глазах, повадка хищного зверя; он держался на расстоянии, не приближался и не отставал, останавливался, когда останавливался человек, будто дожидался, не упадет ли.

*взгляд, обдирающий кожу*

*субъект истории — мясо на костях*

*жалобно торчит под кожей крестец, и весь скелет  
виден заранее: вот так и ляжет, изогнув позвонки,  
разваливаясь, с отдельным черепом*

*а ведь сколько надо было питаться, вбирать в себя,  
совершать внутренней трудной работы, чтобы полу-  
читься таким большим, таким совершенным*

*из глазницы торчит сучок.*

*Можно ли видеть дерево и не быть счастливым?*

*Дерево жило и зеленело только одной половиной,  
вторая отнялась, как у человека, перенесшего удар.*

Вот уже и зелень, холм в лесу, как остров, с живым воздухом наверху, и голос знакомый встречает прошедшего:

— Се явился возлюбленный ея.

Думал ли перед своим концом или преобразованием древний старец Макарий, крохотный старичок с дрожью



в перстах и голосом едва слышным, еще при жизни проросший мхом, не оставивший ни учеников, ни писанных книг, только дыхание мимолетной жизни, только трепет мысли да несколько растаявших в воздухе слов — думал ли он, что этот трепет духовный, ушедший в межзвездную пустоту, в ледяной мрак, вдруг волей случая соприкоснется через века с родственным умом и отзовется в нем, найдет почву, пустит корни, что слово его, возглас чувств, подобный междометию, будет переведено на бумагу, дополнено, истолковано и скажется на жизни, судьбе, смерти других людей? Мог ли Милашевич, уединенный, неосторожный, хотя и опасливый мыслитель, предположить появление секты макарьевцев в пору, когда наделил именем апокрифического старца малозаметного своего героя, придав ему черты кладбищенского священника, любителя-садовода, с которым обменивался семенами, опытом, а может, и кой-какими идеями? Может, он об апокрифе впервые узнал от батюшки; а может, наоборот, сам указал на завихренье странной еретической мысли этому природному вольнодумцу с мозолистыми мужицкими руками и редкой бородкой мордвина, человеку, который разочаровался в церкви прежде, чем был из нее изгнан, искателю с научным складом ума, который опубликовал под чужим именем две брошюрки: об успокоительных и целебных свойствах некоторых трав, специально им облагороженных и на себе испробованных, а также об особой чувствительности к водке людей с мордовской примесью в крови. Но как бы там ни было, не случайно сцепилось все это: имя давно исчезнувшего старца и плотная фигура современника в пыльных сапогах, сером подряснике, выцветшей от дождей шляпе, фантастика древних идей, потрясения нового опыта и поиск провинциального мыслителя — из обрывистых строк Милашевича возникала живая, во плоти, судьба и в то же время одна из возможностей собственной мысли, доведенная до предела, той самой мысли, что недаром противилась попытке прямых слов.

У нового Макария мысль эта соединялась с опытом церкви, куда — он это знал — приходят вовсе не обязательно из истовой веры, но из робости, слабости,

из осторожной привычки, чтобы опереться на что-то вне себя: но он знал также, как ненадежна была эта опора, воздвигнутая на недомолвках и обещаниях, не доступных проверке. Не довольствуясь такой полунадеждой, иные сами готовы были дойти до конца — в давние времена в здешних краях жили самосожженцы, самозакапыватели, те, что замуровывали друг друга землей и камнями, и с детьми на руках, с пением псалмов, медленно, терпеливо уходили сквозь муку и боль от земной юдоли к блаженству потустороннему. Новый Макарий знал, однако, что чересчур это страшно и не под силу другим, слабым, ради которых старались и Милашевич, и он, духовный двойник его или самозванный апостол. Ближе был путь тихого преобразования, подсказанный старцем — но его опыт следовало толковать лишь иносказательно, для прямого подражания нужна была святость, тоже не всем доступная. Новый Макарий внимал всему. Он понял и принял вместе со временем правоту тех, кто не слишком доверял блаженству потустороннему, кто готов был обещать полную осуществлению здесь. Перестав отпевать умерших и закрыв церковь, уклончиво-ложливую, он вначале старался найти слова для тех, кого время спустя ему предстояло закапывать; он закрывал им глаза, разглаживал им судорогу страдания на лицах и радовался, видя на них умиротворение. Он внимательно прочел писания современника, учившего думать о воскрешении мертвецов, и выделил у него призыв сделать погребальное место центром жизни, торжеств и священнодействия (но не собиравшись при этом возвращаться в кладбищенский храм). Он даже в Москву съездил посмотреть, постоять у новой, небывалой святыни — где-то у Милашевича мелькает бородач в странной хламиде, напоминающей подрясник, и широкополой шляпе; он неуверенно пробирается куда-то в столичной суতোлке, из любого места возвращаясь к единственному известному ему здесь обществу туалету на Ярославском вокзале, переминается в многочасовой очереди — не Симеон ли Кондратьич посоветовал ему внести в поминальный листок молитву о благополучии немца Фиге, самую неисполнимую из всех? не сам ли Федор Иванович дал на поездку денег и был помянут из благодарности? — несколько торопливых слов у раки с телом принесли

результат, превзошедший все ожидания; но столица, кажется, сама неточно себя понимала и не способна была пойти дальше. Он же, собирая идеи, как пыльцу с разных цветов, преображал их в единую веру. Много ли оставалось добавить? Разве что собственные опыты с успокоительными, способными дать блаженство травами. *Религия для народа...*

Нет, не надо больше перекладывать, Антон Андреевич; все, кажется, верно, все сходится. Выситя на деревянном помосте пустой гроб среди лесного селения, среди землянок и шалашей, крытых сухой корой, чтобы дать защиту не от дождя — от солнца, среди кладбищенских крестов, похожих на сухостой. Горит на поляне костер последнего священнодействия. Булькает в котле желанное варево. Полунагие истощенные люди смотрят на пришедшего наконец, истлевшая одежда вросла в грязные тела; разве что по волосам бороды можно узнать мужчину да женщину — по складочкам кожи на месте сосцов; лица в зеленых точках. Но в глазах разгорается свет внутреннего восхищения, близкой радости. Больше нечего ждать. Сладостный пар поднимается над котлом, от запаха кружится голова. Возрадуйтесь, исстрадавшиеся, долго терпевшие — всем дано будет отсюда испить, и узнаете миг блаженства, который окупит прошлую жизнь, и миг этот станет вечностью. Вся наша жизнь была невольным сопротивлением этой легкости и свободе. Страшен поиск, мучительна мысль, всякая вера грозит обернуться обманом, и не хватает собственных сил отказаться от себя, втиснутого в несчастную, брентную оболочку, приобщиться к сиянию, разлитому, как сок солнца или ночных светил. Здесь мы поможем друг другу, соприкоснемся руками, телами, страх и торжество смешаются, как в соитии, когда у мужчин и женщин оживает надежда дополнить себя. Будто неровное зеркало, возвращавшее нам до сих пор лишь искаженные поверхностные отражения, растворяется и пропускает в глубину, где нет никого прежнего, лишь растительная простота жизни, лишь шевеленье щупалец, сладость слизи, свобода растекающихся корешков. Остаться

там, остаться и не хотеть ничего больше — вот предел, вот блаженство... если бы только ты был весь здесь...

19

Каким усилием сумел он очнуться? Какая мать вдруг вспомнила о ребенке, которого нельзя было без себя оставить?

— *Я бы рад, я бы хотел, но не могу.*

— *Тогда уходи. Как знаешь.*

— *А разве можно?*

*Так просто. Как выход из сна.*

20

Он понял, что еще жив, потому что все помнил, только места не узнавал. Зеленел свежий подлесок. Лежали на земле пустые лапти и онучи, бурые от пота, как чья-то шкурка, сброшенная для превращения. Мельчайшие, меньше муравьев, существа, черные точки, проворно растаскивали что-то, возвращая земле вышедшее из нее.

21

*Тело внутри мертво, но по коже еще пробегает судорога последней самостоятельной жизни.*

22

Он знал, зачем должен вернуться в город, как будто не сомневался, что сможет в него войти, потому что заставам уже незачем оказалось его охранять; все исполнилось до конца, вышел из губернского ардома бритоголовый домушник-вор, и неверная сожительница его, обливаясь потом от страха, придушила ночью подушкой посапывавшего во сне младенца, и не для кого стало шадить обреченный притон. Он этого не знал, но шел к дому своему, к своему сундучку, будто не сомневался, что никакой пожар не может его тронуть. Ветер нес по мостовой, по дымящемуся пепелищу листки, унесенные из сгоревшей ганшинской фабрики, с фантиков улыбалась красавица, и рука ее нежно

изгибалась, и из лейки ее текла вода; он подбирал бумажки, отряхивал от золы, складывал в карман толстовки — последний запас, дома у него оставалась еще лишь тетрадка, отложенная для самого важного объяснения, но сперва надо было довести до конца линии жизненного сюжета, запечатлеть вспышки решающих мыслей или ощущений — не для себя, не для себя, надо было кого-то предупредить о том смертельно серьезном, что он под конец понял — и чему успел ужаснуться, надо было кому-то оставить ключ к осколкам разбитой мысли — он еще помнил кому, когда заполнял остатком чернил последние фантики — ум был уже потрясен, но почерк пока узнаваем — заполнял, подыскивая слова, а там пусть хоть уже и горят: ведь даже если бы не осталось у нас этих листков, в воздухе держались бы тени слов, частицы дыхания, прах отгоревшей жизни, и ум наш пытался бы восстановить их, стусить из неуловимого, но все равно подлинного вещества. Он еще помнил, кому пишет, когда почерком полубреда, чернилами, потом огрызком химического карандаша выводил неровные, без знаков препинания, строки на заветной тетрадке, может быть, пытаясь подстегнуть, освежить мутнеющий ум дымом благодатной травки, но из буковок уже проглядывало другое, как будто даже знакомое лицо — надо было договорить все равно кому, в пространство, не думая о надежде — тут было последнее доступное ему служение.

23

*как пленка над раной, затягивается земля*

*перегной забвения*

*дети, улыбаясь, ступают по тебе невинными пятками*

*куриная лапка — забава ребенка*

*хлопок рыбьего пузыря под подошвой*

*как непрочно это вещество, мякоть и слизь, как уязвимо для острия, как может измять и расплющить его любой удар*

*стойким и непреходящим оказывается другое, чего даже потрогать нельзя*

*разве мы рождаем только тела*

*нагроможденье камней, мрак и холод Вселенной,  
ужас и пустота*

*красоту и смысл вносит сюда лишь творец красоты  
и смысла*

*зачем-то это нужно, не только для нас*

*кто-то надеется на нас не меньше, чем мы на него*

## **18. Эфир, или Название цветка**

### **1**

Цветок на подоконнике пожелтел и засох. С наличника свисали сосульки, сочились, истекая прозрачным светом. Скоро снег сойдет, откроются на разоренном кладбище останки металлических машин, рычаги, пружины и фары вперемешку с обломками черепов и костей: в пустую глазницу закатилась разбитая лампочка, под ребрами усыхает аккумулятор с остатками питательной жидкости, торчит в небо выхлопная труба. И тут же прикроет их бурьян, разрастутся самосевом деревца, жилец восьмого этажа будет смотреть на живописную зелень. Но не я. И хорошо, что не я, — вяло подумал Антон. Это не для меня. На него навалилось опять состояние болезненной апатии, частое в последнее время. Серьезное усилие, умственное и физическое, давалось с трудом. Хотелось только лежать на кушетке, дочитывать фантастическую повесть. В ней рассказывалось про катастрофу, которая происходила на глазах у всех, но так не сразу, постепенно, что никто не осознавал ее до последнего момента, ибо не расположен был осознавать. Более серьезное чтение не давалось. Тут была не просто мозговая усталость — расслаблена казалась воля. Впрочем, и давление у него нашли повышенное, и к невропатологу направили; он все оттягивал. Даже подняться из лежачего положения бывало затруднительно — что-то не ладилось с равновесием: пол под ногами получал неудобный наклон, приходилось к нему приспособливаться, для начала держась за стенку, за попутные предметы, или уж сразу двигаться быстрее, как на велосипеде. Стоило бы, все-

таки пойти к врачу; но он не был уверен, что дело только во внутренних ощущениях. Время от времени Антон замечал, что и стулья будто помаленьку сдвигаются, сами собой елозят по полу, тарелки то и дело сползают к краю стола. Приходилось подкладывать под ножки куски фанеры. Может, фундамент оседал и перекашивался? После дня, проведенного дома, Лизавин успевал так привыкнуть к этому наклону, что, выйдя на улицу, испытывал неудобство — его пошатывало, как пошатывает матроса, когда он после привычной качки сходит на твердый берег.

2

Незаметно, с коробком под рукой, с очками на носу, Антон задремал. Ему приснился московский эскалатор. Ступил, чтобы подняться из подземного зала куда-то наверх. Мимо дворцовых колонн и арок, увитых южным плющом. Уже и небо над головой, наклон эскалатора все меньше заметен — просто проезжаешь, держась за поручень, мимо медленных зданий, вроде бы нечаяских домов, и люди внизу на земле казались как будто знакомыми, они провожали Антона с непонятным молчаливым сожалением во взгляде. Он легкомысленно помахивал им на ходу рукой: дескать, еду, — но никто не отвечал; тревога и грусть были в этом молчании. Там, внизу, как с высокого моста, он узнал маму, она тоже смотрела на него молча и напряженно. Можно было спрыгнуть к ней — не так даже страшно, но она, словно угадав его намерение, встрепенулась, весь вид ее говорил: не надо, не надо. Встал — не сходи, надо ехать до конца, не сворачивая. Куда? Зачем? Так далеко, и конца не видно. Может, где-то среди глазющих стояла *она*? Может, предстояло ее увидеть, доехав? Вдали, на вершине холма, прояснились от взгляда очертания знакомой каменной бабы. Как же не догадался сразу: там кладбище? Конечно, так и задумано было с самого начала, для того и ступил... Вдруг крики: спрыгнул, спрыгнул! Кто-то упал с высоты — глубоко вниз. Перегнувшись через каучуковые перила, можно было разглядеть внизу нечто страшное, правда, страшное лишь умственно, на деле всего лишь пятно, облегченное расстоянием. Ты куда же, сволочь, смотрел? О чем думал? Да можно ли так напиваться?..

Лизавин очнулся. Он лежал на кушетке. За стеной соседа Сережу материла жена. «Меру бы, меру бы хоть иногда знал, подлец ты долбаный!» Звук, каким сопровождается выбивание подушек, подкреплял ее речь. «Я меру... знаю... всегда...» — отвечал сосед с терпеливым достоинством и постепенно, в промежутках между подушечными ударами. «Какая же у тебя мера... у подонка... алкаша несчастного?» — вопрошала жена, поддерживая тот же размеренный ритм. «Алкашом... нет... не обзывай... Алкаш пьет... он пьет не глядя. А я смотрю». — «Ах, смотришь? Ах, смотришь? И куда ты... так тебя... и еще так... и еще... куда ты смотришь?» — «На мочу. Я смотрю на мочу. Как пойдет черная моча — стоп, значит, хватит. Народная мудрость». — «Ах, мудрость? — женщина, приостановившая было ритм на время этого объяснения, теперь компенсировала упущенное удвоенной частотой выбивания. — А кого ты вместо Сашки привел? Да ты смотри... смотри... смотри, пьянь ты такая. Это Сашка, да? Это Сашка?» До Антона постепенно доходила суть супружеского конфликта: сосед ходил, оказывается, в детский сад за сыном Сашей да спяну увел чужого мальчика, который, как можно было понять, спокойно наблюдал действие вокруг себя. «Ладно, чего шумишь, — пробовал пробиться Сережа — миролюбиво, как человек, знающий свою вину. — Чего такого? Завтра все равно отводить обратно. Обменяем». — «Завтра суббота», — напомнила жена. Руки у нее, видимо, были уже заняты пуговицами — она надевала пальто, что-то шумно искала; наконец, хлопнув дверью, так что во всем доме зазвенели окна, ушла. Время спустя сосед тихонько постучался к Лизавину с очевидным намерением облегчить душу. Тот не ответил, и Сережа спокойно ретировался — он вообще был смирный и всерьез боялся, как бы жена его не бросила. Месяц назад он рассказывал, как ездил хоронить алкашей, тех, кто без семьи, без дома замерзал где-нибудь на чердаках или в подворотнях, отравившись политурой или просто так, и порченые трупы их не представляли ценности даже для медицины. Их, по его рассказам, держали в особом холодильнике, пока не



набиралось пять-шесть тел, поскольку на похороны каждого отпускалось всего лишь двадцать казенных рублей, а за такие деньги никто рыть могилу зимой не стал бы. Другое дело за сотню: тогда нанимали команду из таких же пьянчуг, и они рыли в мерзлой земле на совесть глубокую братскую могилу, а потом на ней же и поминали собратьев. На Сережу эти похороны произвели впечатление, видно, он испугался и для себя похожей судьбы; хотел даже проситься на лечение, да все пока не собрался. Надо вставать, подумал Лизавин. Недавний ли сон, сцена ли за стеной, воспоминание ли о соседском рассказе наполнили его странной тоской. Скоро должна была прийти Люся. Вечером они собирались вдвоем отметить день его рождения, а он был не готов. Надо выходить из этого состояния. Что-то я хотел сделать, что-то решить... Или только почудилось? Ничего больше не хочу. Даже думать... А, вспомнил Лизавин. Пожениться, что ли, наконец, с Люсей?

4

Женщина принесла дорогой подарок: приемник «Спидола» рижского производства за сто пятнадцать рублей. Антон даже почувствовал неловкость, но потом вспомнил, что собирался сегодня сказать, и стало проще. Сразу включил приемник для пробы, стал вертеть ручку настройки и неожиданно для самого себя пришел в веселое расположение духа. «Начинаем жить как люди», — сказал вслух. Женщина смотрела на него как на любимого ребенка, которому сумела угодить — так старалась, так хотела, но не была уверена, угодит ли, не рассердит ли невзначай сурового непредсказуемого повелителя. Трогательна в ней была эта робость... Боже, сколько тихой, на все готовой любви светилось в ее взгляде! Какой-то новый влажный блеск появился в нем... похорошела, право... Нет, просто хороша, потому что любит. Все просто и правильно. Наряд, внешность, облако духов — все задумано природой и дополнено женщиной ради привлечения и отбора, все ради того же — ради продолжения жизни. Мужские порывы и разговоры, от искусства до космоса, от политики до футбола, в конечном счете тоже служат тому же, только не так прямо, они вторичны

и кажутся второстепенными рядом с бабьими заботами о детях и здоровье, о пище и нарядах. У всего оказывается общий знаменатель. Но простое общедоступней, это снижает ему цену. Воздух, вода и хлеб не равняются с бриллиантами. Чтобы иметь детей, кому ума недоставало — а попробуй раздобудь марку с редкой печаткой.

— С неба звездочка упала  
Прямо милому в штаны.  
Пусть отхватит что попало,  
Лишь бы не было войны,—

пел за стеной сосед, успевший к вечеру восстановить душевное равновесие.

— Хороший тост,— усмехнулся Лизавин.— Ну, выпьем, что ли?

Женщина покачала головой.

— Что такое? Я что-нибудь не так сказал?

— Нет. Просто я не пью.

— С каких это пор?

— С таких. Если бы вина немного. А водку я не пью.

— Почему? — опять спросил Лизавин — и вдруг понял сам. По ее лицу понял, по этой влаге в глазах, по сиянию смущенному.— А-а... Что ж ты об этом так. Даже не скажешь. Ведь это, надеюсь, имеет отношение ко мне? Я не заблуждаюсь?

— О чем ты? — раскраснелась она.— Как ты можешь думать.

— Что ж ты так,— повторил Антон и качнул головой: опять все устраивалось само собой, без его слов и решений.

— А мне ничего и не нужно,— сказала она.

— Ну-ну. Это неправильно. За кого же ты меня... Слушай, давай переселяйся сюда насовсем, а? Тесновато, конечно. Знаешь, давай сразу дадим объявление на обмен. На съезд. Большую однокомнатную получим за глаза, а может, и двухкомнатную.

— Двухкомнатную,— подтвердила она.

— Вот видишь. Все будет нормально.— Антон обвел взглядом комнату, будто прикидывая ей цену.— Кстати, все забываю спросить, как называется этот цветок на подоконнике?

— Этот?

— Да. Совсем, видишь, засох. Надо выбросить.

— Это обыкновенный столетник.

— Да, да. Странно, я ведь на самом деле знал. Слово знал и цветок, но как-то не соединилось.

— А что?

— Ничего,— сказал Антон.— Две комнаты, надо же! Я и доплачу, если потребуется.

5

...Сейчас, сейчас, только закрыть глаза, подумать о другой, увидеть ее. Иначе не получится. Что поделаешь. Нет любви, но есть жалость, и нежность, и мудрость слепого тела, и ухищренность бедного ума. Вот уже хорошо. Безглазая рыбка тянется во мрак маленькими ищущими губами. Надо, чтоб существовал человек, устроенный, как другая половина, которая дополнит тебя. Хоть так. Милосердное тело, в котором ищешь укрытия от слабости и тоски и держишься за него, как за опору. По всему городу в ячейках жилья мужчины прячутся в милосердное женское лоно, губами возвращают себе материнскую грудь. Тычутся друг в друга люди, надеясь обрести утраченную полноту, но редко догадываются об этом, а больше думая о тщеславии, наслаждении, торжестве, уступке, горечи, боли... Уловка жизни... вот она и взяла свое. В ней ничто не кончается, это лишь мужское чувство; женщина больше понимает о бесконечности... Пьяный голос послышался за окном, прошумел мотоцикл, и где-то залаяла собака.

6

Утром Люся ушла от него на работу. К Лизавину без стука, словно хозяин, явился соседский Сашка с кошкой в охапку. Пришел не с улицы, но принес с собой запахи свежести — запах арбуза, талой воды, запах белья, взятого с мороза. Кошка сразу пристроилась на кушетке. Нельзя было не залюбоваться целесообразностью ее движений. Сашка, взобравшись с коленями на стул, попросил бумагу рисовать. Лампа освещала щеку с коростой засохшей сопли, розовые нежные губы, чумазый кулачок со светлыми ноготками. Глядя на этого мальчику, Лизавин испытывал изумленную благодарность к силе, которая позволила

ему родиться и вырасти таким в этой семье, в этом доме, в этом дворе, по которому гулял глубокомысленный идиот Альберт, засунув в ноздрю трубочку из бумаги, среди пьяной ругани, драк и непотребства — как будто не приставала к нему грязь; жизнь вопреки всему умела, пусть до поры, оградить свое порождение, снабдив его, словно нежное семечко, защитной оболочкой. Только надолго ли ее хватит? Ведь разест в такой среде — как сохранить эти незамутненные глаза, эти крепкие доверчивые ресницы, пушок на румяной щеке? И все-таки — вот чудо, вот милость; это доходит лишь изредка, как изредка доходит синева божественного купола над скопищем мусорных баков, существование солнца, благословенность света, деревьев, трав, лиц. Невозможно ничего устроить и завершить, но от взгляда на это существо обновлялась надежда. Саша знал, что его здесь любяи. Дома напуганный и хитрый, он в комнате Антона держался с самодержавной уверенностью. Получив бумагу, стал рисовать самолет. Поставил на самолет стрелка. Стрелку дал в руки лук.

— А знаешь, Антон,— между делом рассказывал он,— Вовка из баракон нашел во дворе атомную бомбу. Правда. Он мне сам показывал.

— Да? И на что она похожа?

— На пемзу,— сказал Саша.

7

Столетник надо выбросить,— вспомнил Антон.— К чему это он увял? Праздная мысль. Но щепка, щепка в груди застряла, и сон о падении, необъяснимое чувство — как будто донеслось что-то из воздуха, невнятно, без слов. Зачем-то он взял в руки подаренный приемник, стал крутить ручки настройки. Вот и у меня есть,— подумал с усмешкой. В Нечайске одно время чуть ли не все население ходило по улицам с гомонящими «Спидолами» в руках. Первое увлечение теперь спало, зато нечаянно возник интерес к загранице. Случилось так, что оттуда стали передавать про Юрку, сына фельдшерницы Семеновой. Недоучившийся шалопай обосновался в Москве, получил с помощью женьтыбы прописку, дважды развелся и писал стихи, которые, конечно, нигде не печатали. В общем, тунеядец:

предполагалось, что его посадят. Тут имя его кто-то случайно услышал по американскому радио. Сначала сомневались, тот ли это самый Юрка Семенов, но в другой раз упомянули стихи и что посадить его действительно грозят. А через несколько дней он сам объявился в Нечайске просить согласия матери на отъезд за границу; согласие ее требовалось, поскольку он считался кормильцем. Кормильцем, как же! — не годовала фельдшерица. — Я же ему и посылаю. Согласия она ему, по ее словам, не дала. Лучше пусть сядет, в тюрьме хоть ума наберется, совести, говорила она соседям, но те подозревали в ее голосе неполную искренность и поверили вполне, лишь когда эти слова подтвердило радио. Его слушали теперь вместе, собираясь вечерами, как, бывало, на посиделки; интересно было узнавать нечайские новости из Америки.

— Антон, — говорил сам с собой Саша. — А знаешь, Америка, оказывается, не как наша земля, ее открыли...

Что хотел теперь услышать Лизавин? Зачем крутил ручки, не задерживаясь на музыке? — как будто искал чего-то определенного. Нет, просто так. Пробовал звуки эфира. Треск разрываемой бумаги, хрип, бульканье утопленников, пулеметное пускание ветров, точки и тире непонятной морзянки. В детстве он пробовал учить эту азбуку и однажды вообразил, будто услышал по старенькому своему приемнику тот самый сигнал SOS — хотя вряд ли мог разобрать достоверно чередование сигналов. Но вообразил, беря в себе литературно-трагические мысли: дескать, где-то гибнут люди, ты знаешь, слышишь это, но ничем не способен помочь. Он был из детей лживых, неискренних даже с собой — все от избытка воображения. Что он вообразил сейчас? Что искал среди многоязыкого гомона и звуков пространства? Трудящиеся района... хр-р... шшш... фик... шенрехтен сиверс. Нет, это у меня в мозгу, подумал он. Я начинаю бредить. К чьей смерти увядает столетник? Да в любой миг, наугад, вот сейчас, каждую секунду кто-то умирает, погибает, отрывается от каучуковых поручней, от подоконника на одиннадцатом этаже и летит навстречу асфальту, бомбы падают в постели спящих жителей, мы без всякого приемника пронизаны криками, голосами, уже совсем внятными: Сиверс. Нет, не почудилось, не вообразил, ты откуда-то это знал: Максим Сиверс. Подкончил.

Трещина расползается на белой стене, стакан, подвинувшись, завис над краем стола...

8

Замедленная съемка, растянутое мгновение взрыва, когда все летит вверх тормашками, но перемена положения в каждом кадре так незаметна, что мы продолжаем говорить, двигаться, устраивать дела, командовать армиями, производить потомство — и только время от времени, ненадолго удивясь странному неудобству очередного своего положения, меняем наклон, возобновляем равновесие, приспособливаемся, подкладываем чурбачки, завершаем фразу — не понимая, что все уже состоялось, кто-то первый, самый чуткий и уязвимый, опережая нас, сам падает с высоты вниз головой, и вечность хоть на миг перед ним распахнулась...

9

Это я. Я,— беззвучно и бессмысленно бормотал Антон, выдвигая за чем-то ящики шкафа, извлекая старый портфель, оглядывая его, словно примеривал, можно ли туда что-нибудь положить. Действия его были бессмысленны, как и бормотание, он отдавал в этом себе отчет. Я знал давно. Я чувствовал — и допустил. Теперь кроме меня некому. Он это мне хотел сказать. Не на кого больше надеяться. Он хотел передать мне это. Теперь только я. Может, еще не поздно найти. Все оттягивал, чтоб больше было шансов услышать: у нас такой нет. За дверью, которую открывают трехгранным ключом. Хорошо бы услышать, но все равно надо искать. Есть еще надежда. Надежда есть, пока кто-то пытается ее обновить. И некому, кроме тебя. Нет смысла, кроме того, что ты создашь сам. Мы обречены надеяться, мы должны жить так, словно от нас зависит начать сначала. Потому что едва позволишь себе чувствовать иначе, кто-то предан, вот уже летит, падает безвозвратно, и нет рядом тебя, чтобы удержать, и не избыть вины. Может, лишь это чувство связи зовется судьбой. Ты волен ее принять или не принять, но кто-то все равно тебя ждет. Одного тебя...

— Я знаю,— философствовал мальчик,— из воды получились водоросли, из водорослей всякие рачки,

головастики, рыбы, из них ящерики, из ящериц животные, из животного обезьяны, из обезьяны человек...

А бритвенный прибор зачем? Не похоже ли это на другой побег? Ведь и здесь тебя будут ждать, с зародышем в животе...

— Антон,— сказал Саша.— А из нас?

— Что из нас?

— А из нас что получится?

— Трудный вопрос. Не знаю. Что-то, наверное, получится.

Солнце, выйдя из-за облаков, светило теперь в окно. Пылинки толклись в широком луче, вверх, вниз, вбок, всегдашние неуследимые пылинки, только теперь они принадлежали лучу, им были выстроены, в нем светились. Какой свет, какая боль и какая ясность!

— А правда, Кощей не такой уж бессмертный? — продолжал рассуждать мальчик, выключая ненужную лампу.— Только у него смерть в иголке. Не в нашей иголке, не в маминой. Наши иголки простые. В другой.

От волос его пахло сладким дымом костра, туманным лугом над чистой рекой. Свет заполнял воздух, пронизывал занавески, растворял очертанья предметов, и беспорядочные частицы напрягались, поворачивались, подвластные невидимой силе.

1981—1985

## СОДЕРЖАНИЕ

РОДИВШИЙСЯ В ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОМ . . . . .	5
ЛИНИИ СУДЬБЫ, ИЛИ СУНДУЧОК МИЛАШЕВИЧА. <i>РОМАН</i> . . . . .	17



**Марк Сергеевич Харитонов**

**ИЗБРАННАЯ ПРОЗА**

**В двух томах**

*Том 1*

**Редакторы *Н. Боченкова, М. Холмогоров***  
**Художественный редактор *М. Кудрявцева***  
**Технический редактор *С. Сизова***  
**Корректоры *Т. Семочкина, М. Лобанова***

Лицензия № 010184 от 5.02.92 г.

Сдано в набор 13.07.93. Подписано к печати 09.02.94.  
Формат 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офсетная № 2. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,79. Уч.-изд. л. 19,75.

Тираж 10 000 экз. Заказ 3919.

Издательство «Московский рабочий»  
101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.  
Российский государственный информационно-издательский центр «Республика».  
Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,  
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

# МАРК ХАРИТОНОВ

ЛАУРЕАТ

ПРЕМИИ

БУКЕРА

1 9 9 2



Московский рабочий